
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

XXII

НЬЮ-ИОРК

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатель М. ЦЕТЛИН

THE NEW REVIEW

Под редакцией
М. М. КАРПОВИЧ

XXII

7-ой год издания

НЬЮ - ЙОРК
1949

О Г Л А В Л Е Н И Е

Г. Газданов. — Возвращение Будды	5
В. Чернов. — «Волга, Волга, мать родная ...»	80
М. Кригер. — Вечер в Сан-Франциско	92

СТИХИ:

О. Анстей, И. Елагин, Г. Иванов, Д. Кленовский, Е. Таубер	98
--	----

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:

О. Анисимэв. — Советское поколение	105
М. Коряков. — Мой ровесник из Калифорнии	127
И. Пантелеев. — Письмо о последнем Бердяеве	149

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

А. Шик. — Осенняя любовь Дениса Давыдова	157
К. Гершельман. — Тема «тайной свободы» у Пушкина	176

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:

Н. Тимашев. — Пути послевоенной России	196
А. Богданович. — «Я — гражданин Ленинграда»	203
П. Струве. — М. В. Челноков и Д. Н. Шипов	240
В. Орлов. — Из записок гвардейского политра- ботника	246
К. Солнцев. — «В преддверии орфографической реформы»	262

БИБЛИОГРАФИЯ:

- А. Петрункевич.** — «История права поземельной
собственности в России» В. Б. Ельяшевича 271
- Б. Бабкин.** — Воспоминания Тамары Карсавиной.. . . 285
- Н. Лосский.** — «Достоевский» К. В. Мочульского . . . 290
- С. Франк.** — «История русской философии»
В. В. Зеньковского 294
- М. Вишняк.** — Воспоминания Ф. А. Степуна. 299

ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДДЫ

(РОМАН).

Я умер, — я долго искал слов, которыми я мог бы описать это, и убедившись, что ни одно из понятий, которые я знал и которыми привык оперировать, не определяло этого, и то, которое казалось мне наименее неточным, было связано именно с областью смерти, — я умер в июне месяце, ночью, в одно из первых лет моего пребывания за границей. Это было, однако, не более непостижимо, чем то, что я был единственным человеком, знавшим об этой смерти и единственным ее свидетелем. Я увидел себя в горах; мне нужно было, с той абсурдной и непременной необходимостью, которая характерна для событий, где личные соображения человека почему-либо перестают играть всякую роль, взобраться на высокую и почти отвесную скалу. Кое-где, сквозь ее буровато-серую, каменную поверхность неизвестно как прорастали небольшие колючие кусты, в некоторых местах даже были высохшие стволы и корни деревьев, ползущие вдоль изломанных вертикальных трещин. Внизу, в том месте, откуда я двинулся, шел узкий каменный карниз, огибавший скалу, а еще ниже, в темноватой пропасти, горная река текла с далеким и заглушенным грохотом. Я долго карабкался вверх, осторожно нащупывая впадины в камне и хватаясь пальцами то за куст, то за корень дерева, то за острый выступ скалы. Я медленно приближался к небольшой каменной площадке, которая была мне не видна снизу, но откуда, как я это почему-то знал, начиналась узкая тропинка; и я не мог отделаться от тягостного и непонятного — как всё, что тогда происходило,

предчувствия, что мне не суждено больше ее увидеть и пройти еще раз по тесным ее поворотам, неровным винтом поднимавшимся вверх и усыпанным сосновыми иглами. Я вспомнил потом, что мне казалось, будто меня кто-то ждал наверху, чье-то нетерпеливое и жадное желание меня увидеть. Я поднялся наконец почти до самого верха, ухватился правой рукой за четкий каменный выступ площадки и через несколько секунд я был бы уже там, но вдруг твердый гранит сломался под моими пальцами, и тогда, с невероятной стремительностью я стал падать вниз, ударяясь телом о скалу, которая, казалось, летела вверх перед моими глазами. Потом последовал резкий толчок необычайной силы, после которого у меня смертельно заныли мускулы рук и захватило дыхание — и я повис, судорожно держась оцепеневшими пальцами за высохшую ветку умершего дерева, гнездившегося некогда вдоль горизонтальной трещины камня. Но подо мной была пустота. Я висел, глядя остановившимися и расширенными глазами на то небольшое пространство гранита, которое находилось в поле моего зрения, и чувствуя, что ветка постепенно и мягко смещается под моей тяжестью. Небольшая прозрачная ящерица на секунду появилась чуть выше моих пальцев, и я отчетливо увидел ее голову, ее часто поднимающиеся и опускающиеся бока и тот мертвый ее взгляд, холодный и неподвижный, взгляд, которым смотрят пресмыкающиеся. Затем, неувольнимым и гибким движением, она метнулась вверх и исчезла. Потом я услышал густое жужжание шмеля, то понижающееся, то повышающееся, не лишенное, впрочем, некоторой назойливой мелодичности и чем-то похожее на смутное звуковое воспоминание, которое вот-вот должно проявиться. Но ветка всё больше и больше оседала под моими пальцами, и ужас всё глубже и глубже проникал в меня. Он меньше всего поддавался описанию; в нем преобладало сознание того, что это последние минуты моей жизни, что нет силы в мире, которая могла бы меня спасти, что я один, совершенно один, и что внизу, на страшной глубине, которую я ощущал всеми своими мускулами, меня ждет смерть, и против нее я безору-

жен. Я никогда не думал, что эти чувства — одиночество и ужас — можно испытывать не только душевно, но буквально всей поверхностью тела. И хотя я был еще жив и на моей коже не было ни одной царапины, я проходил, с необыкновенной быстротой, которую ничто не могло ни остановить, ни даже замедлить, через душевную агонию, через ледяное томление и непобедимую тоску. И только в самую последнюю секунду или часть секунды я ощутил нечто вроде кошунственно-приятного изнеможения, странным образом неотделимого от томления и тоски. И мне казалось, что если бы я мог соединить в одно целое все чувства, которые я испытал за свою жизнь, то сила этих чувств, вместе взятых, была бы ничтожна по сравнению с тем, что я испытал в эти несколько минут. Но это была моя последняя мысль: ветка треснула и сломалась, и вокруг меня завертелись с невыносимой быстротой, как в огромном колоде, скалы, кусты и уступы, и наконец, через бесконечно долгое время, во влажном воздухе, на камнях над рекой раздался тяжелый хруст моего рухнувшего тела. В течение еще одной секунды перед моими глазами стояло неудержимо исчезающее зрительное изображение отвесной скалы и горной реки, потом оно пропало и не осталось ничего.

Таково было мое воспоминание о смерти, после которой непостижимым образом я продолжал существовать, если предположить, что я всё-таки остался самим собой. До этого мне много раз, как большинству людей, снилось, что я откуда-то падаю, и каждый раз я просыпался во время падения. Но в течение этого трудного подъема на скалу — и тогда, когда я встретил холодные глаза ящерицы, и тогда, когда под моими пальцами подломилась ветка, — у меня было сознание, что я не сплю. Следовало допустить, что в этой отчетливой и, собственно, прозаической катастрофе, совершенно лишенной какого бы то ни было романтического оттенка или призрачности, — существовало чье-то двойное присутствие, свидетеля и участника. Эта двойственность, впрочем, едва намечалась, и иногда переставала быть уловимой. И вот, вернув-

шись из небытия, я вновь почувствовал себя в том мире, где я до сих пор вел такое условное существование, не потому, чтобы этот мир вдруг внезапно изменился, а оттого, что я не знал, что же именно, в нестройном и случайном хаосе воспоминаний, беспричинных тревог, противоречивых ощущений, запахов, чувств и видений, определяет очертания моего собственного бытия, что принадлежит мне, и что другим, и, в чем призрачный смысл того меняющегося соединения разных элементов, нелепая совокупность которых теоретически составляла меня, дав мне имя, фамилию, национальность, год и место рождения и мою биографию, то-есть долгую смену провалов, катастроф и превращений. Мне казалось, что я медленно возникаю опять здесь, куда как будто бы я не должен был вернуться, — забыв всё, что было до сих пор. Но это не было потерей памяти в буквальном смысле слова: я только непоправимо забыл, что именно следует считать важным, и что незначительным.

Я чувствовал теперь, во всех обстоятельствах, необыкновенную призрачность моей собственной жизни, многослойную и непременно, независимо от того, касалось ли это проектов и предположений, или непосредственных и материальных условий существования, которые могли совершенно измениться на расстоянии нескольких дней или нескольких часов. Это состояние, впрочем, я знал и раньше — и это была одна из вещей, которых я не забыл. Мир состоял для меня из вещей и ощущений, которые я узнавал, — так, как если бы я когда-то, давным давно уже испытал их, и теперь они возвращались ко мне точно из потерявшегося во времени сна. Это было даже в тех случаях, когда мне приходилось сталкиваться с ними уже наверное в первый раз в моей жизни. Выходило так, словно в огромном и хаотическом сочетании самых разнообразных вещей я почти осязая искал тот путь, которым некогда прошел, неизвестно как и когда. Может быть, поэтому большинство событий оставляло меня совершенно равнодушным, и лишь некоторые редкие минуты, заключавшие в себе то или иное совпадение и казавшиеся мне

такими, с необыкновенной силой останавливали мое внимание. Мне было бы трудно определить, чем именно они отличались от других, — каким-то одним необъяснимым оттенком, какой-то случайной, но очевидной для меня замечательностью. Почти никогда они не касались непосредственно моей собственной судьбы или моих личных интересов, это были чаще всего непонятно как возникающие видения. Уже раньше в моей жизни бывало, что я годами как-то явно не принадлежал самому себе и принимал лишь внешнее и незначительное участие в том, что со мной происходило: я был совершенно равнодушен ко всему, что меня окружало, хотя это были бурные события, иногда заключающие в себе смертельную опасность. Но я знал о ней только теоретически и не мог проникнуться ее настоящим пониманием, которое, вероятно, вызвало бы ужас в моей душе и заставило бы меня жить иначе, чем я жил. Мне нередко казалось, — когда я оставался один и мне никто не мешал погружаться в бесконечную последовательность неясных ощущений, видений и мыслей, — что мне не хватает сил еще для одного последнего усилия, чтобы сразу, в одном огромном и отчетливом представлении найти себя и вдруг постигнуть наконец скрытый смысл всей моей судьбы, которая до сих пор проходила в моей памяти как случайная смена случайных событий. Но мне никогда не удавалось этого сделать и даже никогда не удавалось понять, почему тот или иной факт, не имеющий ко мне никакого, казалось бы, отношения, вдруг приобретал для меня столь же непонятную, сколь очевидную важность.

Теперь начинался новый период моего существования. Целый ряд необычайно сильных ощущений, многие из которых мне никогда не пришлось испытывать, проходили через мою жизнь: зной безводных пространств и нестерпимая жажда, холодные волны северного моря, окружавшие меня со всех сторон, в которых я плыл часами к далекому и скалистому берегу, горячее прикосновение смуглого женского тела, которого я никогда не знал. Я переносил иногда мучительные физические боли, характерные для неизлечимых недугов, опи-

сания которых я находил потом в медицинских книгах, — недугов, которыми я никогда не болел. Я неоднократно был слепым, я много раз был калекой и одно из редких ощущений физического счастья, которое я знал, это было возвращающееся сознание и чувство того, что я совершенно здоров и что, в силу непонятого соединения случайностей, я нахожусь вне этих тягостных состояний болезни или увечья.

Но, конечно, далеко не всегда я переживал именно это. То, что стало теперь совершенно неизменным, это всё та же странная особенность, из-за которой я почти не принадлежал себе. Как только я оставался один, меня мгновенно окружало смутное движение огромного, воображаемого мира, которое неудержимо увлекало меня с собой и за которым я едва успевал следить. Это был зрительный и звуковой хаос, составленный из множества разнородных вещей; иногда это бывала музыка далекого марша, обрамленная со всех сторон высокими каменными стенами, иногда это было безмолвное движение бесконечного зеленого ландшафта, перерезанного невысокими горами, который клубился передо мной с непонятной волнообразностью, иногда это была далекая окраина голландского города с неизвестно как возникавшими каменными корытами, куда с ровным журчанием стекала вода; и углубляя это явное нарушение голландской действительности, к ним шли, одна за другой, женщины с кувшинами на голове. Во всем этом не было никогда никакой последовательности, и этот движущийся хаос явно не нес в себе даже отдаленную возможность сколько-нибудь гармонической схемы. И соответственно этому, в те времена моей жизни, которые были отмечены таким постоянным присутствием хаоса, мое душевное существование приобретало столь же неверный и колеблющийся характер. Я не мог быть уверен в длительности того или иного чувства, я не знал, что придет ему на смену завтра или через неделю. И как в первых книгах, которые я прочел, научившись азбуке, меня поразило, что люди там говорят вполне законченными фразами с классическим расположением подлежащих и сказуемых и точкой на конце, в

то время, — казалось мне — как на самом деле никто никогда этого не делает, — так теперь мне представлялось почти непонятым, что тот или иной человек может быть бухгалтером или министром, рабочим или епископом, и быть твердо убежденным, что именно это важнее и постояннее всего, словно ряса епископа или куртка рабочего таинственно и точно соответствовали подлинному назначению и призванию тех, на кого они были надеты. Я знал, конечно, что в данный отрезок времени и в данных условиях рабочий так же не становился епископом, как епископ не превращался в рабочего, и это нередко продолжалось до тех пор, пока смерть не уравнивала их с неумолимым безличием. Но я чувствовал также, что мир, в котором одному из них суждено быть таким, а второму другим, может вдруг оказаться условным и призрачным, и тогда всё опять неузнаваемо изменится. Другими словами, то, в чем проходило мое существование, было лишено для меня резко ограниченных и окончательных в каком-то смысле очертаний, в нем не было ничего постоянного, вещи и понятия, его составлявшие, могли менять форму и содержание, как непостижимые превращения бесконечного сна. И каждое утро, пробуждаясь, я смотрел со смутным удивлением на те же рисунки обоев на стенах моей комнаты в гостинице, которые всякий раз казались мне иными, чем накануне, потому что от вчерашнего до сегодняшнего дня произошло множество изменений, и я знал, не думая об этом, что и я успел измениться, увлекаемый неощутимым и неудержимым движением. Я жил тогда в почти отвлеченном мире и никогда не находил в нем той логики мыслей или вещей, которая казалась некоторым из моих прежних учителей чем-то не переменным и окончательным, каким-то основным законом всякой произвольной эволюции и всякого человеческого существования.

И в эти же неверные и далекие времена я встретил человека, точно нарочно вызванного из небытия, чтобы появиться передо мной именно в ту эпоху моей жизни. Это был, собственно, не человек, — это было какое-то неузнаваемо искаженное напоминание о ком-то другом, некогда существовав-

шем. Его больше не было, он исчез, но не бесследно, так как после него осталось то, что я увидел, когда он впервые подошел ко мне и сказал:

— Excusez moi de vous déranger. Vous ne pourriez pas m'avancer un peu d'argent ?

У него было темное лицо, покрытое густой, рыже-седой шетиной, оплывшие глаза и дряблые веки, на нем была черная, порванная шляпа, длинный пиджак, похожий на короткое пальто или короткое пальто, похожее на очень длинный пиджак, темно-серого цвета, беловато-черные, лопнувшие во многих местах башмаки и светло-коричневые штаны, покрытые бесчисленными пятнами. Глаза его, однако, смотрели перед собой спокойно и ясно. Но меня особенно поразили его голос, который совершенно не соответствовал его внешнему виду, — ровный и низкий голос с удивительными интонациями уверенности в себе. В нем нельзя было не услышать звуковое отражение какого-то другого мира, чем тот, к которому явно принадлежал этот человек. Никакой бродяга или нищий не должен был, не имел ни возможности, ни права говорить таким голосом. И если бы мне было нужно неопровержимое доказательство того, что этот человек представлял собой живое напоминание о другом, исчезнувшем, — то эти интонации и эта звуковая неожиданность были бы убедительнее, чем любые биографические сведения. Это сразу же заставило меня отнестись к нему с большим вниманием, чем то, которое я уделил бы обыкновенному оборванцу, обращающемуся ко мне за милостыней. Второе соображение, побудившее меня насторожиться, это был неестественно правильный французский язык, на котором он говорил.

Это происходило в конце апреля, в Люксембургском саду; я сидел на скамейке и читал заметки о путешествии Карамзина. Он быстро посмотрел на книгу и заговорил по-русски — очень чистым и правильным языком, в котором, однако, преобладали несколько архаические обороты: «счел бы своим долгом», «сблаговолите принять во внимание». За очень короткое время он успел сообщить мне некоторые сведения о себе,

которые показались мне не менее фантастическими, чем его вид, — там фигурировало туманное здание Петербургского университета, который он некогда кончил, историко-филологический факультет и какие-то неточные и уклончивые упоминания об огромном богатстве, которое он не то потерял, не то должен был получить.

Я вынул десять франков и протянул ему. Он поклонился, сохраняя выражение идеально неуместного достоинства и сняв шляпу с какой-то такой волнообразностью движений, которой я ни у кого не видал. Затем он ушел неторопливой походкой, осторожно переставляя ноги в порванных башмаках. Но и в его спине не было той испуганной настороженности или той физической несостоятельности, которые характерны для людей этой категории. Он медленно удалялся от меня; апрельское солнце уже садилось, и мое воображение, спеша на несколько минут, как плохие часы, уже создавало — вдоль люксембургской ограды — то сумеречное освещение, которое должно было наступить немного позже и которого тогда еще не было. И мне запомнилась эта фигура нищего именно в сумерках, которые еще не наступили. Она двигалась и исчезала, окруженная молочной мягкостью уходящего дня и в таком виде, неверном и призрачном, напоминала мне некоторые образы моего воображения. Я вспомнил потом, вернувшись домой, что такое освещение, в котором точно чувствуется только что исчезнувший солнечный луч, оставший в этом воздухе почти неуловимый, но несомненный след своего медленного растворения, — такое освещение я видел на некоторых картинах, и в частности, на одном полотне Корреджио, которого, однако, я не мог восстановить в моей памяти.

Но усилия памяти незаметно для меня переходили в нечто другое, не менее привычное и только усилившееся за последнее время, — эту непрекращающуюся смену видений, которые преследовали меня. Я видел то женщину в глухом, черном платье, проходившую тяжелой походкой по узкой улице средневекового города, то полного мужчину в европейском костюме и очках, растерянного и несчастного, который искал

что-то, чего не мог найти, то высокого старика, идущего по извилистой пыльной дороге, то широко раскрытые и наполненные ужасом женские глаза на бледном лице, которое я почему-то давно и хорошо знал. И одновременно с этим я испытывал тягостные и чужие чувства, которые смешивались с моими личными ощущениями, связанными с тем или иным событием моей жизни. И я замечал, что некоторые душевные состояния, вызванные вполне определенными причинами, продолжали существовать уже после того, как эти причины исчезли, и я спрашивал себя, что же именно предшествовало чему — причины чувству, или чувство причинам; и если это так, то не предопределяло ли оно в некоторых случаях нечто непоправимое и существенное, нечто принадлежащее к тому материальному миру, над которым, казалось бы, властны лишь законы тяготения и соотношения чисел. И другой неизменный вопрос возникал передо мной: чем я был связан с этими воображаемыми людьми, которых я никогда не выдумывал и которые появлялись с такой же неожиданностью, как тот, кто сорвался со скалы, и в ком я умер не так давно, как эта женщина в черном, как те, кто еще несомненно ждал меня — с упорной жадностью кратковременного и призрачного воплощения во мне? Каждый из них был непохож на других, и их нельзя было спутать. Что связывало меня с ними? Законы наследственности, линии которых расходились вокруг меня такими причудливыми узорами, чьи-то забытые воспоминания, непонятно почему воскресавшие именно во мне, или, наконец, то, что я был частью чудовищно многочисленного человеческого коллектива, и время от времени та непроницаемая оболочка, которая отделяла меня от других, и в которой была заключена моя индивидуальность, вдруг теряла свою непроницаемость, и в нее беспорядочно врывалось нечто, мне не принадлежавшее, — как волны, проникающие с разбега в расщелину скалы? Я никому не мог рассказать об этом, зная, что это было бы принято, как бред или особенная форма сумасшествия. Но это не было ни тем, ни другим. Я был идеально здоров, все мускулы моего тела функционировали с

автоматической точностью, никакой университетский курс не казался мне трудным, логические и аналитические мои способности были нормальными. Я не знал, что такое обморок, я почти не знал физической усталости, я был как будто бы создан для подлинного и реального мира. И вместе с тем, другой, призрачный мир неотступно следовал за мной повсюду, и почти каждый день, иногда в комнате, иногда на улице, в лесу или в саду я переставал существовать, я, как таковой, такой-то и такой-то родившийся там-то, в таком-то году, кончивший среднее учебное заведение несколько лет тому назад и слушавший лекции в таком-то университете — и вместо меня, с повелительной неизбежностью появлялся кто-то другой. Этим превращениям предшествовали чаще всего мучительные физические ощущения, захватывавшие иногда всю поверхность моего тела.

Я помню, как однажды ночью, проснувшись, я явственно ощутил прикосновение к моему лицу моих длинных и жирных, неприятно пахнувших волос, дряблость моих щек и непонятно привычное чувство моего языка, касавшегося дыр в тех местах рта, где не хватало зубов. Через секунду, однако, понимание того, что я вижу это со стороны, и тяжелый запах, который я почувствовал сначала, исчезли. Потом медленно, как человек, постепенно различающий предметы в сумеречном освещении, — которое, кстати, было характерно для начала почти каждого моего видения, — я узнал то очередное и тягостное воплощение, которого я стал жертвой. Я увидел себя старой женщиной с дряблым и усталым телом нездоровой белизны. В душевной комнате, куда через маленькое окно, выходявшее в узкий и темный двор, теплыми, летними волнами вливалась тяжелая вонь нищенского квартала, это одряхлевшее тело, по бокам которого свисали длинные и толстые груди и которого живот закрывал жировой складкой начало таких же толстых ног, с неправильными и черными ногтями пальцев, лежало на серо-белой и влажной от пота простыне. Рядом с ним спал, закинув голову с тугими и частыми завитками черных волос, оскалив по-собачьи, в тяжелом сне, белые зубы,

мальчишка-араб, спина и плечи которого были покрыты прыщами.

Образ этой старой женщины недолго, однако, занимал мое воображение, она постепенно терялась в полутьме, — и я вновь находил себя на моей узкой кровати, в моей комнате с высоким окном, над тихой улицей Латинского квартала. Утром, когда я проснулся и потом опять закрыл глаза, я увидел — на этот раз совершенно отчетливо со стороны, — что араба уже не было в комнате, и в кровати оставался только труп старухи и запекшаяся кровь от страшной раны на шее. Больше я ее не видел, она исчезла навсегда. Но это было, несомненно, самое отвратительное ощущение, которое я испытал за всю мою жизнь, — ощущение этого старого тела, жирного и дряблого, и в этой мучительной мускульной несостоятельности.

С того дня, когда в Люксембургском саду я встретил впервые пожилого русского нищего, так отчетливо и неподвижно запечатлевшегося в моей памяти, — черная, порванная шляпа, щетина на лице, разваливающиеся башмаки, и это удивительное то ли пальто, то ли нечто похожее на пиджак, — прошло около двух лет. Это были длительные, почти бесконечные годы моей жизни, наполненные безмолвным роением бредовых видений, в которых скрешивались коридоры, ведущие неизвестно куда, вертикальные колодцы, похожие на узкие пропасти, экзотические деревья и далекое побережье южного моря, черные реки, текущие во сне, и непрерывная смена разных людей, то мужчин, то женщин, смысл появления которых неизменно ускользал от моего понимания, но которые были неотделимы от моего собственного существования. И почти каждый день я ощущал эту отвлеченную душевную усталость, которая была результатом многообразного и неотступного безумия, странным образом не задевавшего ни моего здоровья, ни моих способностей, и не мешавшего мне сдавать в свое время очередной экзамен или отчетливо запоминать последовательность университетских лекций. Иногда вдруг этот бесшумный поток прекращался без того, чтобы какой бы то

ни было признак указывал мне, что это вот-вот случится; и тогда я жил беспечно и бездумно, с наслаждением вбирая в себя зимний и влажный воздух парижской улицы и ощущая с животной силой восприятия вкус мяса, которое я ел в ресторане, разрывая жадными зубами его сочные куски.

В один из таких дней я сидел за столиком большого кафе на бульваре *Montparnasse*, пил кофе и читал газету. Позади меня уверенный мужской голос сказал, заканчивая, повидимому, — судя по финальной интонации — какой-то период, которого я не слышал:

— И поверьте, что у меня достаточный жизненный опыт, чтобы это утверждать.

Я обернулся. Мне показалось, что я уловил нечто знакомое в звуке этого голоса. Но человек, которого я увидел, был мне совершенно неизвестен. Я быстро осмотрел его: на нем было плотное пальто, крахмальный воротничок, темно-красный галстук, синий костюм, золотые часы-браслет на руке. Он был в очках, перед ним лежала книга. Рядом с ним сидела блондинка лет тридцати, художница, которую я несколько раз встречал у каких-то знакомых; она курила папиросу и невнимательно, казалось, слушала его. Затем он закрыл книгу, снял очки, — он был, вероятно, дальновзорок, — и я увидел его глаза. И тогда, не веря самому себе, я узнал человека, которому я дал десять франков в Люксембургском саду. Но я мог его узнать только по глазам и по голосу, так как в остальном между этим господином в кафе и тем оборванцем, который два года тому назад подошел ко мне и попросил денег, не было решительно ничего общего. Я никогда не думал, что платье может так изменить человека. В его превращении было нечто неестественное и неправдоподобное. Это было какое-то обратное движение времени, казавшееся совершенно фантастическим. Два года тому назад этот человек существовал только как напоминание, теперь это напоминание почти чудесным образом вернулось к тому, кто ему некогда предшествовал и чье исчезновение должно было быть безвозвратным. Я не мог прийти в себя от искреннего изумления.

Художница поднялась и ушла, помахав мне на ходу рукой в знак приветствия и прощания одновременно. Тогда я подошел к его столику и сказал:

— Простите, мне кажется, что я имел удовольствие с вами где-то встречаться.

— Садитесь, пожалуйста, — ответил он со спокойной вежливостью. — Это делает честь вашей памяти. Вы первый из всех, с кем я был знаком в прежнее время и кто меня узнали. Вы говорите, что мы с вами встречались? Это совершенно верно. Это было в тот период времени, когда я жил в трущобе, на улице Simon le Franc.

Он сделал неопределенный жест рукой.

— Вы хотели бы знать, что со мной случилось? Ну, что ж, начнем с того, что чудес на свете не бывает.

— Еще несколько минут тому назад я думал так же, как вы. Теперь я начинаю в этом сомневаться.

— Напрасно, — сказал он. — Нет ничего более неверного, чем внешний аспект вещей. Строить на этом какие-либо утверждения можно только, заранее допустив совершенную произвольность. Через пять минут причины моей метаморфозы будут вам казаться абсолютно естественными.

Он уперся локтями в столик.

— Не помню, говорил я вам в те времена...

И он рассказал мне, что именно с ним произошло, и в этом, действительно, не было ничего чудесного. В одном из балтийских государств, — он не сказал, котором, — жил его старший брат, сохранивший после революции довольно крупное состояние. По словам моего собеседника, это был жестокий и скупой человек, остро и заранее ненавидевший всех, кто мог или мог бы обратиться к нему с просьбой о деньгах. Он был одинок, и наследников у него не было. Некоторое время тому назад он утонул, купаясь в море, и наследство досталось его брату, которого в Париже на улице Simon le Franc разыскал адвокат. После того, как были выполнены формальности, он получил состояние, оценивавшееся во много сот тысяч франков. Тогда он снял квартиру на улице Молитор и

жил там теперь один, проводя время, как он сказал, в чтении и приятном бездействии. Он пригласил меня как-нибудь зайти к нему без предупреждения, в такие-то или такие-то часы. Если я хотел уже наверное застать его дома, я мог бы предварительно позвонить по телефону. На этом мы с ним расстались. Я еще оставался в кафе, а он ушел, и я опять, как два года тому назад, смотрел ему вслед. Был холодный, в отличие от прошлогоднего, апрельский день. Он шел по широкому проходу между столиками и медленно исчезал в мягком электрическом свете, в новом тугом пальто и новой шляпе, и теперь уверенность его походки не могла бы никому показаться неуместной, даже мне, которого она так поразила при нашей первой встрече.

Оставшись один, я задумался — сначала беспредметно и созерцательно; потом в этом бесформенном движении мыслей стали появляться более определенные очертания, и я начал вспоминать, что было в это же время, два года тому назад. Теперь было холодно, тогда было тепло, и тогда я так же остался сидеть на скамейке Люксембургского сада, как теперь в кафе, после ухода этого человека. Но тогда я читал Карамзина; и тотчас же забывая прочитанную страницу, я всё возвращался к размышлениям об особенностях девятнадцатого столетия и о резком его отличии от двадцатого. Я думал даже о разнице политических режимов, — мысль, вообще говоря, занимавшая мое внимание чрезвычайно редко, — и мне казалось, что девятнадцатый век не знал тех варварских и насильственных форм государственности, которые были характерны для истории некоторых стран именно в двадцатом столетии. Я вспоминал теории Дюркгейма об «общественном принуждении», *contrainte sociale*, и опять, отвлекаясь от университетского курса, переходил к суждениям более общего и более спорного порядка. Я думал, что глупость государственного насилия должна казаться современникам гораздо более очевидной, чем так называемым будущим историкам, которым должна быть непонятна именно личная тягостность этого гнета, соединенная с отчетливым пониманием его абсурдно-

сти. Я думал еще, что государственная этика доведенная до ее логического пароксизма, — как кульминационный пункт какого-то коллективного бреда, — неизбежно приводит к почти уголовной концепции власти, и в такие периоды истории власть действительно принадлежит невежественным преступникам и фанатикам, тиранам и сумасшедшим; иногда они кончают жизнь на виселице или гильотине, иногда умирают своей смертью, и их гроб провожают безмолвные проклятия тех, кто имел несчастье и позор быть их подданными. Я думал еще о Великом Инквизиторе и о трагической судьбе его автора, и о том, что личная, даже иллюзорная свобода может оказаться, в сущности, отрицательной ценностью, смысл и значение которой нередко остаются неизвестными, потому что в ней заключены, с предельно неустойчивым равновесием, начала противоположных движений.

Но теперь я был далек от этих мыслей, они казались мне темными и незначительными по сравнению с эгоистическими соображениями о моей личной судьбе, призрачная неверность которой не переставала занимать мое внимание, тем более, что моя сегодняшняя встреча совпала по времени с концом этого счастливого периода существования, в котором я тогда находился, и блаженность — я не мог найти другого слова — которого заключалась в том, что я жил эти недели, не видя снов и не думая ни о чем.

Уже за день до этого мной овладело смутное беспокойство, беспричинное, как всегда, и потому особенно тягостное. Оно усилилось через день и затем не покидало меня больше. Мне стало казаться, что мне угрожает какая-то опасность, столь же неопределенная, сколь непонятная. Если бы я не привык давно к неотступности этого призрачного мира, который так неизменно следовал за мной, я бы, может быть, стал бояться, что у меня начинается мания преследования. Но особенность моего положения заключалась именно в том, что в отличие от людей, пораженных подлинным безумием, которые были бы твердо убеждены, что их действительно преследует кто-то невидимый и неуловимый, у кого множе-

ство агентов, — кондуктор автобуса, прачка, полицейский, незнакомый господин в очках и в шляпе, — я знал, что моя тревога объясняется исключительно и всецело произвольным скачком воображения. Я знал, что живя так, как жил я, не располагая почти никакими личными средствами, не будучи связан ни с какими политическими организациями, не занимаясь никаким видом общественной деятельности, и вообще не выделяясь решительно ничем из анонимной многомиллионной массы парижского населения, я не мог быть целью преследования со стороны кого бы то ни было. Не существовало ни одного человека в мире, для которого моя жизнь могла представлять какой-либо интерес, не было никого, кто мог бы ему позавидовать. Я прекрасно понимал, что моя смутная тревога совершенно беспредметна и что для нее нет и не может быть никаких оснований. Но непостижимым образом я продолжал ее испытывать, и явная очевидность ее необоснованности не могла вывести меня из этого состояния. Однако, в противоположность маньякам, которых внимание бывает напряжено до крайности и от которых не ускользает ни одна подробность из того, что происходит вокруг них, и в чем они упорно ищут присутствия преследующего их врага, я жил и двигался точно окруженный легким туманом, лишившим предметы и людей резкой отчетливости контуров.

Я засыпал и просыпался с этим ощущением бесформенной тревоги и предчувствия. Так проходили дни, и это продолжалось до той минуты, когда я, — были сумерки парижского вечера, — бродя без цели по улицам незнакомой мне части города, свернул в узкий проход между домами. Было уже почти совсем темно. Проход оказался удивительно длинным, и когда я дошел до его конца, я очутился перед глухой стеной, откуда под прямым углом начинался поворот влево. Я направился к выходу, который по моим расчетам должен был находиться где-то близко. За поворотом было еще темнее. Я шел вдоль двух стен и смутно различал, что в одной из них время от времени попадались ниши, назначение которых мне представлялось загадочным. Я прошел так несколько десят-

ков метров в мутной темноте, над которой было беззвездное небо; стояла полная тишина, нарушаемая только звуком моих шагов по неровной мостовой. И вдруг, когда я поравнялся с одной из тех ниш, которые я заметил в начале прохода, сттуда с необычайной быстротой и совершенной беззвучностью рванулась чья-то черная тень, и я за одну короткую часть секунды успел испытать тот смертельный ужас, к которому давно уже был подготовлен этим непрекращающимся, многодневным состоянием тревоги. Затем я почувствовал на своей шее цепкие пальцы человека, который так неожиданно и необъяснимо бросился на меня. Как это ни покажется странно, с этого момента я перестал испытывать и отвлеченную тревогу, и непосредственный ужас. Для этого, впрочем, у меня не оставалось времени. Но в том, что происходило тогда, уже было нечто реальное и несомненное, была действительность, а не неотразимая абстракция. Инстинктивным движением я напряг мускулы шеи. По неистовому зажиму пальцев, охвативших мое горло, было очевидно, что они принадлежали взрослому и сильному мужчине, на стороне которого, вдобавок, была неожиданность нападения. Но одновременно с этим мне было ясно, что вопреки кажущемуся превосходству его положения и отчаянности моего собственного, преимущество в конечном итоге должно было остаться за мной. Я понял это в первую же секунду; я много времени занимался разными видами спорта и в частности борьбы, и мне нетрудно было определить, что нападавший на меня человек не имел об этом никакого представления и мог полагаться только на свою физическую силу. Он, вероятно, ожидал, что я схвачу его за кисти рук и попытаюсь их отвести от моей шеи, — естественная и чаще всего бесполезная защита неподготовленного человека. Но я нащупал в темноте, уже почти задыхаясь, его мизинцы и потом, резким движением обеих рук одновременно я отогнул их назад, ломая их нижние суставы. Он сразу ахнул и застонал, и мне стало непривычно легко дышать после того, как он отпустил мое горло. Теперь он безмолвно корчился передо мной в темноте, и в обычное

ремя это наверное вызвало бы мое сострадание. Но я находился в припадке внезапной и бешеной злобы, — так, точно этот неизвестный человек воплощал в себе причину той длительной тревоги, которую я испытывал всё это время, так, точно виновником этого был именно он. Я толкнул его в одно плечо, одновременно притянув к себе другое, и когда он, не успев понять этого, повернулся ко мне спиной, я сзади захватил правой рукой, согнутой почти под прямым углом, его шею. Пальцами левой руки я зажал кисть правой и стал затягивать этот мертвый угол, ни на секунду его не ослабляя. Словом, я сделал то, что должен был сделать он, чтобы попытаться меня задушить, и чего он не сделал, подписав этим свой смертный приговор. Он дернулся несколько раз, но я знал, что положение его было безнадежно. Потом, когда всякое сопротивление кончилось, я разжал руки, и его труп тяжело и мягко упал к моим ногам. Было так темно, что я не мог рассмотреть как следует его лица, я заметил голько, что у него были небольшие усы и черные, курчавые волосы.

Я прислушался. Попрежнему вокруг меня стояла совершенная тишина, и когда я сделал первый шаг, то звук его мне показался тревожно громким. Не оборачиваясь, я пошел вперед. Вдалеке наконец показался неверный свет, по всей видимости уличного фонаря, и я вздохнул свободно. Но в ту минуту, когда я почти дошел уже до выхода из этой лобушки, меня что-то ударило по голове с необыкновенной силой, и я потерял сознание.

Мне смутно казалось в забытии, что меня куда-то везут. Повидимому, ко мне был применен довольно сильный наркоз, потому что бессознательное или полусознательное мое состояние было неестественно долгим. Когда я наконец открыл глаза, я лежал на узкой каменной скамье, в небольшой камере с высоким потолком и тремя серыми стенами. Четвертой стены не было: на ее месте сиял огромный световой прорез. Я совершенно потерял представление о времени. За глухой деревянной дверью слышались шаги и раздались голоса, говорившие что-то, чего я не разобрал. Потом они удалились.

Я осмотрел камеру и только тогда увидел, что я был не один: справа от меня, на второй каменной скамье сидел, прислонившись к стене и поджав под себя ноги, какой-то человек в лохмотьях. Глаза его были закрыты, но губы беззвучно шевелились. Затем он повернул голову ко мне, веки его медленно поднялись, и я встретил его взгляд — прозрачный, пустой и холодный настолько, что мне сразу стало не по себе. Всё, что происходило потом, я помнил совершенно отчетливо, за исключением одной подробности, которой не могли восстановить никакие усилия моей памяти: я не помнил, на каком языке мы говорили, сначала он и я, затем все остальные. Мне казалось, что некоторые фразы были сказаны по-русски, другие по-французски, третьи по-английски или по-немецки.

— Позвольте вас приветствовать, — сказал человек в лохмотьях, и меня удивил тускло-невывразительный его голос. — Не имею удовольствия знать вашу фамилию.

Я назвал себя и спросил, не может ли он объяснить мне, где я нахожусь и почему я сюда попал.

— Вы находитесь в здании предварительного заключения.

— В здании предварительного заключения? — повторил я с изумлением. — Но по какому поводу?

В ближайшем будущем вам, вероятно, будет предъявлено соответствующее обвинение, — какое именно, я не знаю.

В световом прорезе, почти задевая его крылом, медленно пролетела огромная птица с голой шеей. Ее появление здесь и стветы моего собеседника показались мне настолько неправдоподобными, что я спросил:

В какой стране всё это происходит?

— Вы находитесь на территории Центрального Государства.

Почему-то я нашел этот ответ удовлетворительным; вероятно, это объяснялось тем, что действие наркоза еще не окончательно прошло. Я встал с некоторым усилием, сделал несколько шагов, приблизился к просвету, явно заменявшему окно, — и невольно отшатнулся: он выходил во двор, и каме-

ра была на необыкновенной высоте, вероятно тридцатого этажа. Против дома, отделенная от него расстоянием в сорок или пятьдесят метров, возвышалась сплошная стена.

— Бегство отсюда невозможно, — сказал мой сосед, следивший за каждым моим движением.

Я кивнул головой. Потом я сказал ему, что отказываюсь понимать, почему я сюда попал, что не знаю за собой никакой вины и что всё это мне представляется совершенно абсурдным. Затем я спросил его, за что он арестован и что ему грозит. Тогда он первый раз улыбнулся и ответил, что в данном случае речь идет о явном недоразумении и что ему лично не угрожает никакое наказание.

— А что именно случилось с вами? — спросил он.

Я подробно рассказал ему о тех малоубедительных фактах, которые так неожиданно привели меня сюда. Он попросил меня сообщить ему еще некоторые данные из моей биографии и, выслушав меня до конца, сказал, что он вполне удовлетворен моими объяснениями и что он ручается за мое освобождение. Мне должно было показаться, что такое заявление со стороны оборванного арестанта звучит по меньшей мере странно. Но я принял его всерьез; мои аналитические возможности еще не вернулись ко мне.

Через некоторое время дверь камеры отворилась, и два вооруженных солдата, один из которых прокричал мою фамилию, повели меня по длинному корридору с розовыми стенами и многочисленными поворотами. На каждом повороте висел громадный, всё один и тот же, портрет какого-то пожилого, бритого человека с лицом, напоминавшим лицо среднего мастерового, но с неестественно узким лбом и маленькими глазами. На человеке этом было нечто среднее между пиджаком и мундиром, увешанное орденами, якорями и звездами. Несколько статуй и бюстов этого же мужчины были расставлены вдоль стен. Мы дошли наконец — в полном безмолвии — до двери, через которую меня втокнули в комнату, где за большим столом сидел немолодой человек в очках. Он был в каком-то странном, полувоенном, полустатском костюме, напо-

минавшем по покрою тот, который был изображен на портретах и статуях.

Он начал с того, что вынул из ящика стола огромный револьвер и положил его рядом с пресс-папье. Затем, резким движением подняв голову и глядя на меня в упор, он сказал:

— Вам, конечно, известно, что только чистосердечное признание может вас спасти?

После длительной ходьбы по корридору — солдаты шли быстрым шагом и я должен был идти с такой же быстротой, — я чувствовал, что почти полуобморочное состояние, в котором я до сих пор находился, сменилось наконец чем-то более нормальным. Я опять ощущал свое тело так, как всегда, то, что было перед моими глазами, я видел совершенно ясно, и теперь для меня было очевиднее, чем когда-либо, что всё происходящее со мной — результат явного недоразумения. Одновременно с этим тюремная обстановка и перспектива произвольного допроса казались мне раздражающими. Я посмотрел на сидящего человека в очках и спросил:

Простите пожалуйста, кто вы такой?

— Здесь вопросов не задают! — резко ответил он.

— В этом есть какое-то противоречие, — сказал я. Мне показалось, что в вашем голосе, когда вы обратились ко мне, звучала явно вопросительная интонация.

— Поймите, что речь идет о вашей жизни, — сказал он. — Диалектикой заниматься теперь поздно. Но может быть вам полезно будет напомнить, что вы обвиняетесь в государственной измене.

— Ни более, ни менее?

— Ни более, ни менее. И не стройте себе никаких иллюзий: это — страшное обвинение. Повторяю, что только полное признание может вас спасти.

— В чем выражается моя государственная измена?

— Вы имеете наглость это спрашивать? Хорошо, я вам скажу. Государственная измена заключается уже в том, что вы считаете возможным допускать преступный принцип закон-

ности псевдо-государственных идей, которые противоречат великой теории Центрального Государства, выработанной лучшими гениями человечества.

— То, что вы говорите, настолько нелепо и наивно, что на это как-то неловко отвечать. Я хотел бы только вам заметить, что возможность допущения того или иного принципа есть теоретическое положение, а не факт, в котором можно обвинять человека.

— Даже здесь, в трибунале центральной власти, вы говорите таким языком, в котором каждое слово отражает вашу преступность. Прежде всего, представитель власти, а в частности следователь для вас непогрешим, и ни одно из его выражений не может быть названо ни наивным, ни нелепым. Но дело не только в этом, хотя теперь, после того, что вы сказали ваша вина усугубляется еще одним пунктом: оскорбление представителей центральной власти. Вы обвиняетесь в государственной измене, в заговоре на жизнь главы государства и наконец, в убийстве гражданина Эртеля, одного из наших лучших представителей вне пределов нашей территории.

— Кто такой Эртель?

— Человек, которого вы убили. Не пытайтесь этого отрицать: центральной власти известно всё. Полное сознание, это — последний жест, который вы можете сделать и которого от вас ждет государство и общественное мнение всей страны.

— Единственное, на что я могу ответить, касается Эртеля. Этот человек был наемным убийцей. Я находился в состоянии законной самозащиты. Эртель, повидимому, никогда до тех пор не имел дела с людьми, которые привыкли защищать свою жизнь, и его неловкость его погубила. Что же касается остальных обвинений, то это невежественный вздор, очень дурно характеризующий умственные способности того, кто его выдумал.

— Вы будете жестоко раскаиваться в ваших словах.

— Обращаю ваше внимание на то, что глагол «раскаиваться» составляет неотъемлемую часть понятий явно рели-

гнозного происхождения. Мне было странно его слышать в устах представителя центральной власти.

— Что вы скажете во время очной ставки с вашими сообщниками?

Я пожал плечами.

— Довольно! — сказал он и выстрелил из револьвера: пуля вошла в стену метра на полтора выше моей головы. Дверь отворилась, и те же солдаты, которые привели меня, вошли в комнату.

— Отведите обвиняемого в камеру, — сказал следователь.

Только тогда, возвращаясь в камеру, взглядывая время от времени на портреты и статуи, я подумал, что действовал неправильно и не должен был отвечать следователю так, как я отвечал. Мне надо было просто доказывать ему, что я никак не могу быть тем, за кого он меня принимает. Вместо того, чтобы занять именно эту позицию, я говорил с ним так, точно принимал какую-то абсурдную законность его аргументации и, не будучи с ней согласен, так сказать, диалектически, я всё-таки оставался в том же плане, что и он. Вместе с тем было очевидно, что я был совершенно чужд миру, в который я попал. Лица конвоировавших меня солдат отражали полное отсутствие какой бы то ни было мысли или какого бы то ни было душевного движения. Портеты были похожи на олеографии, выполненные мастеровым, которого художественное убожество невольно вызывало жалость и презрение; статуи были такими же. То, что говорил мне следователь, носило печать такой же свирепой умственной нищеты, и в мире, из которого я пришел, подобный человек не мог бы занимать никакого места в судебном аппарате.

Вернувшись в камеру, я собирался рассказать о допросе моему соседу, но меня тотчас же увели опять, на этот раз в другом направлении, и я попал ко второму следователю, который обращался со мной несколько иначе, чем первый.

— Нам известно, — сказал он, — что мы имеем дело с человеком сравнительно культурным, а не простым наемником той или иной политической организации, которая нам

враждебна. Вы знаете, что мы окружены врагами, и это вынуждает нас к сугубой осторожности и заставляет нас иногда принимать меры, которые могут показаться слишком крутыми, но которых не всегда удастся избежать. Именно так произошло с вами. Мы знаем, или во всяком случае хотим надеяться, что ваша вина меньше, чем это может показаться на первый взгляд. Будьте откровенны с нами, это и в ваших, и в наших интересах.

По тому, как он говорил, было понятно, что он, конечно, гораздо опаснее первого следователя. Но я был почти рад этому: с ним можно было разговаривать другим языком.

— Я понимаю ваше раздражение во время первого допроса, — продолжал он. — Произошла ошибка, чрезвычайно досадная: следователь, к которому вы попали, обычно ведет только самые простые дела, хотя неизменно стремится к вещам, явно превышающим его компетенцию. Он, видите ли, выдвинулся по партийной линии, к нему нельзя предъявлять особенно строгих требований. Но перейдем к делу. Вам известно, в чем вы обвиняетесь?

Я хотел бы знать, — сказал я, — за кого меня принимают. Для меня очевидно, что все происходящее сейчас — результат недоразумения, которое мне хотелось бы выяснить. Моя фамилия — я назвал свою фамилию — такая-то, я живу в Париже и учусь в университете, на историко-филологическом факультете. Я никогда — как это легко установить при самом поверхностном следствии — не занимался политической деятельностью и не состоял ни в какой политической организации. Обвинения в том, что у меня были какие-то террористические намерения, настолько абсурдны и произвольны, что останавливаться на них я не считаю нужным. Я допускаю, что человек, за которого меня принимают, мог быть и террористом, и вашим политическим противником. Но ко мне это не имеет никакого отношения. И я надеюсь, что ваш государственный аппарат окажется всё-таки достаточно рационально организованным, чтобы это установить.

— Стало быть, вы утверждаете, что Розенблат ошибся?

Если так, то дело принимает для вас действительно трагический оборот.

— Кто такой Розенблат? Я впервые слышу эту фамилию и никогда не видел этого человека.

— Я должен сказать, что вы сделали всё, чтобы никто и никогда его больше не увидел: вы его задушили.

— Позвольте, полчаса тому назад мне сказали, что его фамилия была Эртель.

— Это ошибка.

— Как, опять ошибка?

— Я никогда не ценил Розенבלата, я лично — продолжал следователь. — Когда вы назвали его наемным убийцей, вы были недалеко от истины. Несчастье заключается в том, что он был единственным, кто мог вас спасти. Вы лишили его этой возможности. У нас лежит его секретный рапорт о вас и о вашей деятельности. Приведенные там сведения слишком подробны и точны, чтобы быть вымышленными. К тому же этот человек был абсолютно лишен фантазии.

— Очень может быть, что сведения, которые заключаются в его рапорте, совершенно точны. Но единственное и самое важное соображение в данном случае, это что речь идет о ком-то другом, а не обо мне.

а, но как это доказать?

— Этот человек, в частности, не мог быть похож на меня как близнец. Кроме того, он носил, я полагаю, другую фамилию. Есть, наконец, отличительные признаки: возраст, цвет волос, рост и так далее.

— Рапорт Розенבלата, весьма обстоятельный во всем другом, не содержит, к сожалению, именно этих указаний. Кроме того, строго говоря, почему я должен верить вам, а не ему?

— Вы можете не верить мне. Но нет ничего проще, как навести справки в Париже.

— Мы всячески избегаем контакта с иностранной полицией.

Я начинал понимать, что мое положение безвыходно. Судебный аппарат Центрального Государства отличался пол-

ным отсутствием гибкости и какого-либо интереса к обвиняемому; функции его были чисто карательными. Тот примитивизм, который характерен для всякого правосудия, здесь был доведен до абсурда. Существовала одна схема: всякий попадавший в суд, обвинялся в преступлении против государства и подлежал наказанию. Возможность невинности обвиняемого теоретически существовала, но ею надлежало пренебрегать. Повидимому, в моих глазах отразилось нечто похожее на отчаяние, потому что следователь сказал:

— Боюсь, что доказать ошибку у вас нет матерьяльной возможности. Тогда вам остается или упорствовать в бесплодном отрицании и тем самым умышленно идти на смерть, или подписать признание и примириться с тем, что вы проведете некоторое время в заключении, после чего вас снова ждет свобода.

— Полагаете ли вы, что обвиняемый должен быть в первую очередь честен?

Несомненно.

В таком случае я не могу подписать признание в том, чего я никогда не делал: поступая так, я бы сознательно ввел в заблуждение судебные инстанции Центрального Государства.

Идеологически вы правы. Но вопрос не в этом. Вы вынуждены действовать в пределах ваших возможностей. Они, к сожалению, недостаточно широки, тут я с вами согласен. Определим их еще раз. Полное отрицание вины и возможность высшей меры наказания — с одной стороны. Признание и временное лишение свободы — с другой. Все остальное — теория. Советую вам подумать об этом. Я вызову вас в ближайшее время.

Вернувшись в камеру, я подробно рассказал своему соседу о первом и втором допросе. Он слушал меня, сидя всё в той же позе и закрыв глаза. Когда я кончил, он сказал:

— Это легко было предвидеть.

Я еще раз посмотрел на его лохмотья и на небритое

сего лицо и вспомнил, что этот человек обещал мне освобождение.

— Вы думаете, можно что-нибудь сделать?

— Видите ли, — сказал он, не отвечая, — я знаю эти законы лучше, чем любой следователь. Это, собственно, не законы, это дух системы, а не свод тех или иных положений.

Он говорил так, точно читал лекцию.

— Отсутствие элементарных правовых норм ухудшается еще тем, что рядовые работники судебного ведомства отличаются чудовищной некультурностью и смешивают свои функции с функциями некоего юридического палача. Вы можете разбить их аргументацию и доказать им как дважды два четыре, что они неправы и их обвинительный акт составлен с наивной глупостью, что чаще всего соответствует действительности. Но это не играет никакой роли. Вас всё равно приговаривают к наказанию, — не потому, что вы виноваты и это доказано, а потому что так понимаются задания центрального правосудия. Всякое рассуждение в принципе вещь наказуемая и отрицательная. Спор с юстицией — государственное преступление, так же, как сомнение в ее непогрешимости. Существует десяток формул, каждая из которых есть выражение особого вида невежественной глупости: в этот десяток формул втискивается вся многообразнейшая деятельность миллионов и миллионов людей. Бороться против этой системы, которую трудно определить в двух словах...

— Я бы сказал: свирепый идиотизм.

Прекрасно. Бороться, стало быть, против этого свирепого идиотизма рациональным путем невозможно. Надо действовать иначе. Какие методы борьбы вы применили, когда Эртель-Розенблат хотел вас задушить?

Те, когорым меня научили преподаватели спорта.

-- Хорошо. Если бы вы действовали иначе, вас бы уже наверное не было на свете.

— Очень возможно, — сказал я. И я вспомнил тьму, зажим пальцев на моей шее и то, как я начал задыхаться.

— В данном случае, зная, что вы ничего не достигнете

ни тем, что вы правы, ни тем, что вы можете это доказать, вы должны действовать другим путем. Я нашел этот путь; мне это стоило очень дорого, но теперь я не боюсь ничего. Мой способ действия непогрешим и поэтому я общал вам, что вас освободят. Я еще раз вам это подтверждаю.

— Извините меня, но если вы располагаете таким могущественным средством борьбы, то как могло случиться, что вы оказались там же, где я?

— Я вам сказал уже, что это — недоразумение, — ответил он, пожав плечами. — Меня арестовали ночью, когда я спал.

— Какое же это средство?

Он долго молчал, и губы его беззвучно шевелились, как впервые раз, когда я его увидел. Потом он сказал, не поднимая головы:

— Я гипнотизер. Заключение следователя ему диктую я.

А если он не поддается гипнозу?

— Такого случая я еще не встречал. Но даже если он не поддается этой форме гипноза, он поддается другой.

— Иначе говоря...

— Иначе говоря, я заставил бы его покончить жизнь самоубийством и дело бы перешло к другому, который бы мне подчинялся.

— Еще одно, — сказал я, удивляясь уверенности, с которой он говорил. — Следователь в ближайшее время вызовет меня, но вас при этом не будет. Вы можете подчинить себе его волю на расстоянии?

— Это было бы значительно труднее. Но нас с вами вызовут почти одновременно.

Как вы можете это знать?

— Когда вас допрашивал первый следователь, меня допрашивал второй.

Потом этот спокойный человек погрузился в полное молчание, которого не нарушал в течение тех трех дней, что длилось мое ожидание следующего допроса, на котором должны были произойти — если верить ему — такие невероятные

ГАЙТО ГАЗДАНОВ

события. Два раза в сутки нам приносили пищу, которой я не мог есть сначала, настолько она была отвратительна. Только на третий день я проглотил несколько ложек какой-то светло-серой жидкости и съел кусок плохо выпеченного и упруго-противного хлеба. Я чувствовал себя ослабевшим, но мое сознание оставалось совершенно ясным. Мой сосед за всё это время не притронулся к пище. Чаше всего он оставался неподвижным, и было непонятно, как его мускулы и суставы выдерживали это длительное напряжение. Лежа на своей каменной койке, я думал о том, насколько действительность была фантастической, и как во всем, что меня окружало, был ясно ощущаемый смысл непроницаемой безвыходности: геометрическая **совокупность** стен и потолка, заканчивающаяся открытым выходом в тридцатизатяжную пропасть, где-то светило солнце, то шел дождь, и постоянное, неподвижное присутствие со мной этого удивительного оборванца. Один раз, чтобы как-нибудь прервать это каменное безмолвие, я начал свистать арию из «Кармен», но мой свист звучал так тускло и дико и был так явно не к месту, что я тотчас же прекратил его. Я успел много раз обдумать во всех подробностях то, что со мной случилось, и констатировать, что несмотря на несомненное присутствие в этом известной последовательности, соединение тех фактов, которые я восстанавливал в своей памяти, должно было, конечно, показаться совершенно иррациональным. Меньше всего я думал об опасности, которая мне угрожала, и вопреки внешней неправдоподобности того, что обещал мне мой сосед, я верил каждому его слову.

Наконец, вечером третьего дня, за мной пришли. Я поднялся и ощутил в первый раз за всё время необыкновенный холод внутри, быть может, отдаленный страх смерти, быть может, темную боязнь неизвестности. Я знал во всяком случае, что я лично был лишен возможности защищаться. И я успел подумать о том, насколько всё было проще и насколько я меньше был в опасности тогда, в этом темном парижском проходе, когда руки неизвестного убийцы сжимали мне горло. Тогда спасение моей жизни зависело от меня, от эле-

ментарного присутствия духа и привычной для меня быстроты движений. Теперь я был беззащитен.

Меня ввели в кабинет следователя. Он предложил мне сесть и дал мне папиросу. Потом он спросил:

— Вы обдумали то, что я вам говорил в прошлый раз?

Я кивнул головой. Ощущение холода внутри непонятным образом мешало мне говорить.

— Вы подпишете ваше признание?

Мне потребовалось сделать над собой необыкновенное усилие, чтобы ответить на вопрос следователя отрицательно. Вместе с тем, я знал, что только слово «нет» могло меня — может быть — спасти. Мне казалось, что у меня не хватит сил произнести его, и я понял в эту секунду, почему люди сознаются в преступлениях, которых они не совершали. Все мускулы моего тела были напряжены, лицо мое налилось кровью. у меня было ощущение, что я поднимаю огромную тяжесть. Наконец, я ответил:

— Нет.

И после этого всё сразу ухнуло передо мной, и мне показалось, что я теряю сознание. Но я явственно услышал голос следователя:

— Нам удалось выяснить, что ваши показания, довольно убедительные на первый взгляд, — это отягчает вашу вину, — ложь. Тот, кто был вашей правой рукой в организации, которую вы возглавляли, выдал вас и подписал полное признание.

Я вдруг сразу почувствовал себя легче. Но у меня было впечатление, что мой голос звучал очень неуверенно.

— Ни человека, ни организации, о которых вы говорите, никогда не существовало. Ваша система обвинения абсурдна.

И в это время дверь открылась, и солдаты ввели моего соседа по камере. Потом они удалились. Я быстро посмотрел на него; мне показалось, что он сразу стал выше ростом.

— Вы не будете отрицать, что узнаете этого человека? — спросил следователь.

— Узнаю.

Он явно хотел еще что-то прибавить, но удержался. На-

ступило молчание. Он встал со своего кресла и сделал несколько шагов по комнате. Затем он подошел к окну и открыл его. Потом он зигзагами вернулся к своему месту, но не сел, а остался стоять в неестественной и неудобной позе полусогнутого человека. У меня было впечатление, что с ним происходит нечто необъяснимое и тревожное.

— Вы плохо себя чувствуете? — спросил я.

Он не ответил. Человек в лохмотьях пристально смотрел на него, стоя неподвижно и не произнося ни слова.

Следователь опять подошел к окну и высунулся из него наполовину. Потом он сел наконец за стол и начал писать. Несколько раз он рвал листы бумаги и бросал их в корзину. Это продолжалось довольно долго. Лицо его покрылось каплями пота, руки дрожали. Затем он встал и сказал сдавленным голосом.

— Да. Я понимаю, что вы стали жертвами чудовищной ошибки. Я обещаю вам, как вы того требуете, произвести по этому поводу строжайшее расследование и жестоко наказать тех, кто в этом виноват. Центральная власть в моем лице просит вас принять ее извинения. Вы свободны.

Он позвонил. Вошел офицер в голубом мундире. Он перелал ему пропуск, мы вышли из кабинета и опять углубились в бесконечные переходы и коридоры, стены которых были густо увешаны всё теми же картинами, и получалось впечатление, что мы идем вдоль какого-то портретного строя полуофицеров, получиновников, многочисленных и одинаковых. Наконец, мы дошли до огромных ворот, которые беззвучно распахнулись перед нами. Тогда я повернул голову, чтобы обратиться к моему спутнику, но чуть не остановился от изумления. Человека в лохмотьях больше не было. Рядом со мной шел высокий бритый мужчина в прекрасном европейском костюме, и на его лице была насмешливая улыбка. Когда ворота так же бесшумно затворились за нами и раньше, чем я успел сказать слово, он сделал мне приветственный жест рукой, повернул направо и исчез. Сколько я ни искал его глазами, я не мог его найти.

Был душный летний вечер, на улицах горели фонари, гудели проезжавшие автомобили, зажигались зеленые и красные огни на перекрестках. Испытывая счастливое чувство свободы, я думал одновременно о том, что я буду делать в этом чужом городе чужой страны, где я никого не знаю и где у меня нет пристанища. Но я продолжал идти. Автомобильное движение стало затихать. Я перешел неширокую реку по мосту, с обеих сторон которого были огромные статуи русалок, потом пересек какой-то бульвар и начал подниматься по улице, отходившей отсюда несколько вкось. Там уже было совсем тихо. Я прошел так двести или триста метров. На повороте этой улицы, за которой шла другая, вся застроенная одноэтажными или двухэтажными особняками, неяркий фонарь освещал металлическую синюю дощечку, прибитую к стене. Я подошел к ней вплотную — и тогда, с удивительной медленностью, точно из далекого сна, белые буквы латинского алфавита, сначала совершенно расплывчатые, потом затвердевающие и становящиеся всё более и более отчетливыми, возникли перед моими глазами. Они появились, затем стали мутными и снова расплылись, но через секунду появились опять. Я вынул папиросу и закурил, обжигая себе пальцы спичкой, — и только тогда я понял счастливую последовательность этих знаков. На синей таблице белой краской были выведены слова: 16 Arr-t. Rue Molitor.

Я давно привык к припадкам моей душевной болезни, и в том, что у меня оставалось от моего собственного сознания, в этом небольшом и смутном пространстве, которое временами почти переставало существовать, но в котором всё-таки заключалась моя последняя надежда на возвращение в реальный мир, не омраченный хроническим безумием, — я старался стоически переносить эти уходы и провалы в чужое или воображаемое бытие. И всё-таки, каждый раз, когда я отсюда возвращался, меня охватывало отчаяние. В невозможности победить этот необъяснимый недуг было нечто вроде сознания своей обреченности и какого-то нравственного увечья, которое делало меня непохожим на других, точно я не

заслуживал общедоступного счастья быть таким же, как все. В тот вечер, когда я прочел эти буквы на синей дощечке, — после нескольких секунд радости, — я испытал нечто похожее на тягостное чувство человека, которому еще раз был подтвержден неумолимый диагноз. Вечерний Париж казался мне иным, чем всегда, и, конечно, не таким, каким он был, и эта перспектива фонарей и листьев, освещенных фонарями, только оттеняла, с трагической убедительностью, ту непоправимую печаль, которую я ощущал. Я думал о том, что мне предстоит в будущем, и как сложится моя жизнь, мое единственное существование, которое мне было так трудно нащупать, и отыскать в этой массе болезненных искажений фантазии, преследовавших меня. Я не мог довести до конца ни одной задачи, требующей длительного усилия или для разрешения которой была необходима известная и непрерывная последовательность. Даже в мои отношения с людьми всегда входил или всегда мог войти тот элемент бредового затмения, которого я мог ожидать каждую минуту и который искажал всё. Я не мог быть целиком ответственен за свои поступки, не мог быть убежден в реальности происшедшего, мне нередко было трудно определить, где кончается действительность и где начинается бред. И теперь, когда я шел по Парижу, этот город казался мне не более убедительным, чем столица фантастического Центрального Государства. Я начал свое последнее путешествие именно с Парижа; но где и когда я мог видеть нечто похожее на тот воображаемый лабиринт, куда меня повлекло властное движение моего безумия? Реальность этого прохода была, однако, предельна, и я помнил его поворот и эти непонятные углубления его стен не менее ясно, чем все дома улицы, на которой я действительно жил в Латинском квартале. Я знал, конечно, что улица существует, а проход возник только в моем воображении; но эта бесспорная разница между улицей и проходом была лишена для меня той каменной и неподвижной убедительности, которую она должна была иметь.

Затем мои мысли приняли другое направление. Почему

именно я очутился здесь, в этом квартале Парижа, а не в другом, не на Монмартре, например, или на Больших бульварах? Вряд ли это могло быть случайным. Я не мог вспомнить, куда я направлялся, когда я вышел из дому, и что побудило меня предпринять это путешествие. Во всяком случае, я шел, не видя ни домов, ни улиц, потому что в это же время я находился в тюрьме Центрального Государства; но всё-таки я двигался в определенном направлении и, вероятно, не ошибся в маршруте, хотя было очевидно, что та часть моего сознания, которая вела меня всю дорогу, действовала вне какого бы то ни было контроля с моей стороны. Она должна была быть автоматически безошибочна, как это случается всякий раз, когда человек не думает о том, что он делает, и его движения приобретают быстроту и точность, которые были бы невозможны, если бы эти движения направлялись сознанием. Тот факт, что я оказался здесь, не был случайным. Но куда я мог идти? Несколько лет тому назад я часто проходил этой дорогой, потому что тут жила женщина, с которой я был близок, и в те времена я знал каждый дом и каждое дерево на этом пространстве. Но я расстался с ней уже давно, и после этого улицы, ведущие к ее дому, потеряли их прежний волнующий вид, и их ровные перспективы, в конце которых было здание и квартира на пятом этаже, где был сосредоточен для меня целый мир, одновременно прозрачный и теплый, — представляли передо мной неузнаваемо чужими.

Я не мог вспомнить и почувствовал себя настолько усталым, что решил прекратить эти бесплодные поиски и вернуться домой. В конце концов, это не имело особенного значения. Я долго ехал в метро, потом вышел оттуда на станции «Одеон» и направился к своей гостинице, побуждаемый одним непреодолимым желанием — лечь и заснуть; и когда я, наконец, оказался в постели, была уже ночь, на улице слышались редкие шаги, женский голос пел из незримого граммофона — «*Autrefois je riais de l'amour*» — я быстро погрузился в печальный мрак, беззвездный и теплый, как эта ночь, и вдруг, в последнюю секунду моего пребывания по эту сто-

рону сна, я вспомнил, что собирался быть сегодня вечером на Rue Molitor, у моего знакомого, того самого, который так чудесно и неожиданно разбогател.

Я попал к нему несколькими днями позже. На этот раз ни его квартира, ни телефон на письменном столе, ни книги на этажерках, ни необыкновенная чистота, которая была видна повсюду, не удивили меня. — во-первых, потому, что я не мог быть больше удивлен, чем тогда, когда встретил его в кафе, во-вторых оттого, что, прожив годы в нищенских приютах, он должен был естественно испытывать тяготение именно к вещам противоположного порядка: вместо апокалиптической грязи — чистота, вместо небрежности — аккуратность, вместо заплывающего каменного пола — блестящий паркет. Совершенно так же, в его манере держаться и во всех его движениях чувствовалась судорожная напряженность свежего барства, со стороны казавшаяся, особенно вначале, несколько стеснительной.

Когда я пришел к нему, — это было часа в четыре пополудни, — он был не один. У него сидел в какой-то выжидательно-унизительной позе, — и я подумал еще раз, насколько то, что в статьях об искусстве или о театре называлось «пластикой», насколько это находилось в жестокой и почти всегда непрременной зависимости от условий жизни, среды и состояния здоровья и как это было по-немому выразительно, — небольшой человек лет пятидесяти, с неопределенно-серыми волосами и маленькими глазами, избегавшими глаз собеседника. Он был очень бедно одет; он держал в руках помятую и грязную кепку, которая когда-то была светло-серой, — это можно было заметить потому, что у самого его козырька, защищенные кнопкой, виднелись светлые клетки материи. Когда я вошел, человек с кепкой, до этого что-то говоривший, замолчал и посмотрел на меня сердито и испуганно в одно и то же время. Но хозяин дома встал, поздоровался со

мной, — он был подчеркнуто любезен, — попросил у меня извинения и сказал своему посетителю:

— Вы можете продолжать, я вас слушаю. Вы говорите, что это произошло в Лионе?

— Да, да, в Лионе. Так вот, изволите видеть, после того, как я был арестован...

И он довольно складно рассказал, как он ехал на мотоцикле, сбил нечаянно с ног прохожего и как после этого началась длинная серия его несчастий. По тому, как он это говорил, без запинки и с удивительной невыразительностью, так, точно речь шла не о нем, а о каком-то третьем лице, участь которого, вдобавок, ему совершенно безразлична, было видно, что он повторял эту историю много раз, и она даже для него самого потеряла всякую убедительность. Я не знаю, отлавал ли он себе в этом отчет. Всё сводилось к тому, что после выхода из тюрьмы у него отобрали бумаги, и теперь он был лишен возможности поступить на какую бы то ни было работу и оказался таким образом в безвыходном, как он сказал, положении. Когда он произнес это, я вдруг вспомнил, что однажды уже видел его и слышал именно эти слова, интонация которых никогда, повидимому, не менялась. Я даже вспомнил, где и в каких обстоятельствах это происходило: это было возле Монпарнасского вокзала, и его слушателем тогда был грузный мужчина с полукупеческой, полуразбойничьей бородой и таким же лицом — широким, хамским и важным одновременно. После этих слов о безвыходности он сделал паузу и потом сказал, несколько отвернувшись и равнодушно всхлипнув два раза, что если ему не помогут, то ему остается только самоубийство. Он прибавил, взмахнувши при этом рукой, с небрежным отчаянием, что он лично давно потерял вкус к жизни, — он выразился иначе, но смысл был именно такой, — а вот жены ему жаль, она, быть может, не вынесет этого, она и так всегда тяжело хворает не по своей вине. Мне казалось, что упоминание о вине было по меньшей мере странным, но он тотчас же пояснил, что второй муж его жены — сам он был третьим — заразил ее сифили-

сом, и вот теперь это, как он сказал, всё время отражается на ее здоровье.

— Да, задумчиво сказал хозяин, — действительно...

И потом спросил совершенно другим голосом:

— Кто вам дал мой адрес?

— Как вы говорите?

— Я вас спрашиваю, кто вам дал мой адрес?

— Я, извините, проходил, так вот подумал, может, здесь русские живут...

— Одним словом не хотите говорить. Дело ваше. Только я-то знаю, что ваша фамилия Калиниченко, арестованы вы были не в Лионе, а в Париже, и не за то, что кого-то сбили мотоциклетом, а за кражу.

Человек с кепкой пришел в необыкновенное волнение и сказал, заикаясь от злобы, что раз о нем такое несправедливое мнение, то он лучше уйдет. Приниженность его исчезла, и маленькие его глаза приняли свирепое выражение. Он встал и быстро вышел, не попрощавшись.

— Вы его знаете? — спросил я.

— Конечно, — ответил он. — Мы все более или менее знаем друг друга, я хочу сказать, все, кто принадлежит или принадлежал к этой среде. Он только не думал, что Павел Александрович Щербаков, живущий в этой квартире, и адрес которой ему дал Костя Воронов, хотя он мне клялся, что никому его не сообщит, что этот Щербаков — тот же самый, который жил на **Rue Simon le France**. Иначе он, конечно, не стал бы мне рассказывать историю с Лионом и мотоциклетом, которую ему придумал и сочинил за тридцать франков Чернов, бывший писатель, потому что у него самого не хватило бы на это воображения.

— Он же изобрел больную жену?

— Не совсем, — сказал Щербаков. — Женат мой посетитель никогда не был, насколько я знаю, в этой среде многие юридические формальности не нужны, но женщина, с которой он живет, действительно, сифилитичка. Не могу вам сказать, впрочем, была ли и она когда-нибудь замужем, сомне-

ваюсь. Согласитесь, что это не имеет значения. А теперь, после всего этого, разрешите мне наконец сказать, что я рад вас видеть у себя.

И разговор тотчас же принял совершенно другой характер, подчеркнуто культурный; в нем, как и во всем остальном, чувствовалось желание Павла Александровича забыть о том, что предшествовало теперешнему периоду его жизни. Но начал он всё-таки — иначе он не мог — именно с этого сопоставления.

— Я так долго был лишен, — сказал он, — доступа к тому миру, который некогда был моим... Может быть, потому, что я плохой философ и уж наверное не стоик. Я хочу сказать, что для философа внешние условия жизни — вспомните пример Эзопа — не должны были бы играть никакой роли в развитии человеческой мысли. Но должен вам сознаться, что некоторые материальные подробности, во власти которых может оказаться человек, — насекомые, грязь, холод, дурные запахи...

Он сидел в глубоком кресле, курил папиросу, и перед ним стояла чашка кофе.

— ... всё это действует самым неприятным образом. Может быть, это закон душевной мимики, который идет слишком далеко. Это в конце концов, понятно: мы знаем иногда, какие обстоятельства обуславливают начало действия того или иного биологического закона, но мы не можем предвидеть, когда это действие прекратится, и не можем быть уверены, что оно во всем будет целесообразно. Почему, собственно, этого, что я живу в недостаточно хороших условиях, король Лир или Дон-Кихот теряют для меня значение? А между тем, это так.

Я слушал его рассеянно, перед моими глазами, упорно возвращаясь, всё вставал тот апрельский день позапрошлого года, когда я его увидел впервые, его декоративные лохмотья и темное, небритое лицо. Теперь над его головой стояли книги в тяжелых кожаных переплетах, и это медлительное щегольство его речи ни в какой степени не могло казаться неумест-

ным. Я провел с ним целый вечер и ушел, унося с собой воспоминание об этой неправдоподобной метаморфозе, которую я всё никак не мог переварить и в которой было нечто резко противоречившее всему, что я до сих пор, сознательно или бессознательно, считал приемлемым. Этот человек начинался в области фантазии и переходил в действительность, и в его существовании — для меня — был элемент роскошной абсурдности какого-нибудь персидского сказания, и я не мог к этому привыкнуть.

Через некоторое время после этого мне пришлось — совсем случайно — опять столкнуться с обитателями rue Simon le Franc. Я встретил одного из моих бывших товарищей по гимназии, которого я давно потерял из вида, но о котором время от времени читал в газетах, чаще всего по поводу его очередного ареста или судебного приговора. Это был удивительный человек, хронический алкоголик, который прожил целую жизнь в пьяном тумане и которого только необыкновенное здоровье предохраняло от могилы. В начале своего пребывания во Франции он работал на разных фабриках, но этот период продолжался недолго; он сошелся с какой-то состоятельной женщиной, проводил с ней время во всевозможных кабаре, затем уличил ее в неверности, стрелял в ее нового любовника, попал за это в тюрьму и, выйдя оттуда, стал вести уж совершенно беспорядочную жизнь, о которой было трудно составить себе сколько-нибудь связное представление. То он работал садовником на юге Франции, то ехал в Эльзас, то оказывался в какой-то пиренейской деревне. Но большей частью он жил всё-таки в Париже, в далеких его трущобах, от одной темной истории к другой, и когда он рассказывал об этом, в его повествовании всегда фигурировали освобождения за недостатком улик и выяснившиеся недоразумения. Впрочем, следить за его рассказом не было просто никакой возможности, нельзя было определить, где кончается его пьянство и где начинается его сумасшествие; во всяком случае, ни о какой хронологической последовательности того, что он говорил, не могло быть и речи.

Ты понимаешь, как-раз когда я приехал из Швейцарии, она мне говорит, что эта самая итальянская художница хотела уехать в Сицилию, но в это время приходит, можешь себе представить, полицейский инспектор по поводу того греческого журналиста и спрашивает меня, что я делал две недели тому назад в Люксембурге, а она говорит, что доктор, который лечил англичанина, подвергся ночью нападению, — голова вдребезги, понимаешь, тяжело раненый, решает прямо обратиться к моделистке, которая живет возле Porte d'Orléans.

Он говорил так, точно каждый его собеседник был подробно осведомлен обо всех, кого он упоминал. Вместе с тем я никогда не слышал даже от него самого ни о художнике, ни о греческом журналисте, ни о докторе и не был уверен, что они вообще существовали в том временном и случайном их облике, в каком они возникали из его слов. В постепенной атрофии его умственных способностей или, скорее, в невероятном их смешении понятие о времени исчезало совершенно, он не знал, в котором году мы живем, и какая-то внешняя последовательность его собственного существования казалась чудесно неправдоподобной. Так он бродил по Парижу, в многолетнем пьяном безумии, и было удивительно что он как-то попадал домой и кого-то еще узнавал. Но в последние годы он сильно сдал, был болен чахоткой и не мог уже жить, как раньше. Я как-то встретил его на улице, он попросил у меня денег, я дал ему то, что у меня было с собой, а через несколько дней получил от него письмо, в котором он писал, что лежит больной в своем номере гостиницы и что ему нечего есть. Я поехал туда.

Он жил на окраине города, недалеко от боен — и я нигде не видел более свирепой нищеты. Внизу, у стойки, небрежно споласкивал стаканы мутного стекла татуированный человек с ублюдоочно-уголовным лицом, сказавший мне, что Мишель живет в номере тридцать четыре. По лестнице, узкой и крутой, спускались и поднимались какие-то подозрительные субъекты, и на каждом этаже был свой собственный, особенный отте-

нок тяжелой вони, которой было, казалось, пропитано все здание. Мишка лежал на кровати небритый, осунувшийся и худой. Рядом с изголовьем постели сидела женщина лет шестидесяти, густо и неумело накрашенная, в черном пальто и ночных туфлях. Когда я вошел, Мишка сказал ей по-русски:

— Теперь ты можешь уходить.

Она поднялась, произнесла невыразительным голосом: «До свиданья!», — открыв рот, в котором нехватало многих зубов, и ушла. Я молча посмотрел ей вслед. Мишка спросил:

— Ты ее разве не помнишь?

— Нет.

— Это Зина.

— Какая Зина?

— Та самая, знаменитая.

Я никогда не слышал ни о какой знаменитой Зине.

— Чем знаменитая?

— Натурщица, красавица. Она была любовницей всех великих художников. Она была моей любовницей тоже, но сейчас, ты понимаешь, это дело прошлое, для меня женщины больше не существуют, мне дыхания нехватает. Это как раз незадолго до того, как я был в Версале, когда имел дело с этим албанским архитектором, у которого было недоразумение с моей швейцаркой...

— Подожди, подожди, — сказал я. — Расскажи мне лучше о Зине.

— Она теперь живет с таким стрелком, — сказал Мишка. Он был совершенно трезв, — вероятно в первый раз за очень долгое время. — Мелкая такая сволочь, у меня с ним было дело лет пять тому назад, он у меня деньги было украл, которые я получил тогда от этой англичанки, она как раз вышла замуж и...

— Украл или не украл?

— Он-то украл, да потом отдал, я его прикрутил. Такая мышастая сволочь, знаешь. Ну, она его, конечно, сифилисом заразила. Он-то вообще всегда был стрелок, он рассказывает историю с мотопиклетом, как его в Лионе арестовали. Я ему

ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДДЫ

говорю — какой там Лион, когда я тебя по версальской тюрьме помню, — а хуже нет тюрьмы, клянусь честью. тысячу раз лучше Сантэ, Боже тебя упаси попасть в версальскую, это я тебе товарищеский совет даю. А ему всю историю жизни написал Алексей Алексеевич Чернов, — вот это, брат, талант. У меня даже одна его вещь есть, напечатана на машинке.

И он, действительно, достал с полки грязно-серую тетрадку, углы которой были сильно обтрепаны, и протянул ее мне. Это был рассказ Чернова «Перед грозой». Я прочел первые строки:

«Над величественным, как всегда, Петербургом спускались зимние сумерки. Петр Иванович Белоконников, богатый человек сорока лет, принадлежавший как по своему происхождению, так и по образованию, которое он получил в панжеском корпусе, к большому свету северной Пальмиры, шел по тротуару, распахнув шубу. Он только что расстался с Бетти, которая была его любовницей, и из его головы не выходила мраморная белизна ее груди и жгучие ласки ее роскошного тела».

Я расспрашивал Мишку об этих людях, которых он хорошо знал. Несмотря на бессвязность его рассказа, я всё-таки выяснил, что Алексей Алексеевич Чернов был тот, болезненного вида оборванный старик, который просил милостыню у выхода из русской церкви и которого я видел много раз. Я узнал также, что у Зины была дочь, Лида, лет двенадцати шести, которая одно время была замужем за каким-то французом; он скоропостижно умер; подозревали отравление и у Лиды были неприятности. Я успел заметить, что на языке Мишки слово «неприятности» чаще всего значило «тюрьма». Теперь она где-то на улицах продавала цветы

Я вернулся в гостиницу Мишки через несколько дней, но там его больше не было, и никто не мог мне сказать, куда он делся. Только много позже я узнал, что он умер от чахотки приблизительно через месяц после моего свидания с ним, в одной из санаторий под Парижем. Примерно в эти же дни, проходя по бульвару Гарibaldi, я заметил группу, которая

шла по тротуару навстречу мне. Это были Зина, мышастый стрелок, тот самый, которого я видел у Павла Александровича в день моего визита к нему, и молодая женщина, очень бедно одетая, с нечесанными белокурыми волосами — Лида, такая, какой мне ее описывал Мишка. Они все шли почти рядом, Лида чуть-чуть позади. Я видел, что посередине тротуара лежал большой окурок, к которому они приближались. Когда они подошли к этому месту совсем близко, мышастый человек явно хотел уже нагнуться, но в ту же секунду, с необыкновенной ритмической точностью и быстротой, Зина толкнула его плечом так что он едва не упал. Затем, на ходу, небрежным и безошибочным движением она подобрала окурок и тем же шагом пошла дальше. Я невольно вспомнил джигитов, которые, сползая с седла, подхватывают платок, лежащий на земле, в то время, как лошадь продолжает идти прежним карьером. Я видел что Лида улыбнулась, и не мог не заметить, что в ее испитом и нездоровом, несмотря на молодость, лице была несомненная, но чем-то почти тревожная привлекательность.

А вечером того дня, когда я встретил эту группу и когда в моей памяти были свежи недавние события, — визит к Щербакову, посещение Мишки, соображения, связанные с мышастым стрелком, Зиной и ее дочерью, — вечером этого дня меня отделяло от них огромное расстояние, и всё это перестало занимать мое внимание. Днем я почувствовал непонятную усталость, вернулся домой и проспал три часа подряд. Затем я встал, умылся и пошел обедать в ресторан, а из ресторана опять домой. Было около девяти часов вечера. Я долго стоял у окна и смотрел вниз, на узкую улицу. Всё было как всегда: цветные стекла публичного дома, находившегося напротив, были освещены, и над ними легко было прочесть надпись «*Au premier fleur*», консьержки сидели на стульях, каждая перед своей дверью, и в вечерней тишине я слышал их голоса, переговаривающиеся о погоде и о дороговизне; на углу улицы и бульвара, возле витрины книжного магазина, то показывался, то скрывался силуэт Мадо, вышедшей на

свою работу и ходившей взад и вперед всё на одном и том же пространстве — тридцать шагов туда, тридцать шагов обратно; где-то неподалеку играло механическое пианино. Я знал на этой улице всех, как я знал ее запахи, вид каждого дома, стекла каждого окна и то убогое подобие существования, характерное для каждого из ее обитателей, в котором я никак не мог понять главного: что, собственно, вдохновляло этих людей в жизни, которую они вели? Каковы могли быть их желания, надежды, стремления и во имя какой, собственно, цели каждый из них послушно и терпеливо делал всё одно и то же каждый день? Что могло в этом быть — кроме темного биологического закона, которому они все повиновались, не зная его и никогда о нем не думая? Что вызвало их к жизни из апокалиптического небытия? Случайное и, может быть, минутное соединение двух человеческих тел однажды вечером или однажды ночью, несколько десятков лет тому назад? И я вспомнил, что говорил низенький сорокалетний мужчина в кепке, Поль, служивший шофером на грузовике и живший двумя домами ниже меня, — за очередным стаканом красного вина:

— J'ai pu connu mes parents, c'est à s'demander s'il ont jamais existé. Tel, que vous m'voyez, j'ai été trouvé dans une poubelle, au 24 de la rue Caulaincourt. Je suis un vrai parisien, moi.

И когда я один раз спросил Мадо, на что она рассчитывает в будущем и как может сложиться ее жизнь, она посмотрела на меня пустыми, сильно подведенными глазами и, дернув плечом, ответила, что она никогда не теряла времени на такого рода размышления. Потом она помолчала секунду и сказала, что будет работать до того дня, пока не умрет — jusqu'au jour où je vais crever, parce que je suis poitrinaire.

Я отошел от окна. Механическое пианино безжалостно продолжало играть одну арию за другой. Мне казалось, что я всё глубже и глубже погружаюсь в неопределенный душевный туман. Я старался представить себе наиболее полно все, что я мог объять своим воображением, — то, каким мир был

сейчас: темное небо над Парижем, огромные его пространства, тысячи и тысячи километров океана, рассвет над Мельбурном, поздний вечер в Москве, шипение морской пены у берегов Греции, горячий полдень в Бенгальском заливе, прозрачное движение воздуха над землей и время, неудержимо уходящее в прошлое. Сколько человек успело умереть с той минуты, что я подошел к окну, сколько их агонизирует сейчас, когда я думаю об этом, сколько тел корчится в смертельных судорогах, — тех, для кого уже наступил последний и неумолимый день их жизни? Я закрыл глаза, и передо мной вдруг возник «Страшный суд» Микель-Анджело и одновременно с этим я почему-то вспомнил его последнее письмо, в котором он говорит, что не может больше писать. Я вспомнил эти строки и ощутил холод в спине: эта рука, которая не могла писать, высекала из мрамора Давида и Моисея — и вот, гений его растворился в том же самом небытии, из которого он возник; и каждое его произведение, это была кажущаяся победа над смертью и над временем. Для того, чтобы эти понятия — время и смерть — появились передо мной во всей их непоправимости, нужно было проделать долгий путь медленного углубления, нужно было победить звуковую неубедительность этой последовательности букв «р», «е», «м», и только тогда проявлялась эта бесконечная перспектива моего собственного умирания. Строки письма Микель-Анджело звучали в моих ушах, я отчетливо видел печатную страницу, дату «Рим, 28 декабря 1563 года», и адрес: «Лионардо ди Буанорроти Симони. Флоренция». «Я получил в последнее время много писем от тебя и не ответил. Если я так поступил, то это оттого, что моя рука мне больше не повинуется». Через два месяца после этого, в феврале 1564-го года, он умер. Вспомнил ли он еще, о трагической грандиозности этой волны мускулов и тел, которые его неумолимое влечение так повелительно сталкивало в ад, — бесчисленными и безошибочными движениями единственной в мире руки, той самой, которая потом отказалась ему служить, — в дни когда стала так беспощадно очевидна иллюзорность его не-

человеческого могущества и земная напрасность его неповторимого гения? Я сидел в кресле и думал с холодным иступлением о том, что, в сущности, несостоятельно всё и, в частности, любая отвлеченная мораль и даже недостижимое духовное величие христианства — потому что мы ограничены временем и потому что есть смерть. Я, конечно, давно знал эти мысли, всю мою жизнь, как их знали миллионы людей до меня, но лишь изредка они переходили из теоретического понимания в ощущение, и тогда всякий раз я испытывал особенный и ни с чем не сравнимый ужас. Всё, в чем я жил, и всё, что окружало меня, теряло всякий смысл и всякую убедительность. И тогда у меня появлялось неизменное и странное желание — исчезнуть и раствориться, как призрак во сне, как утреннее пятно тумана, как чье-то далекое воспоминание. Мне хотелось забыть всё, что я знал, все, что составляло, собственно, меня, вне чего нельзя было, казалось, представить себе мое существование, эту совокупность абсурдных и случайных условностей, — так, точно мне хотелось бы доказать себе, что у меня не одна жизнь, а несколько, и стало быть тем, в чем я живу сейчас, вовсе не ограничены мои возможности. Я видел, в теоретической и умозрительной перспективе, целую последовательность постепенных моих превращений, и в этой множественности обликов, возникавших передо мной, была надежда на какое-то призрачное бессмертие. Я видел себя композитором, шахтером, офицером, рабочим, дипломатом, бродягой, в каждом превращении была своеобразная убедительность, и мне начинало казаться, что я действительно не знал, каким меня застанет завтрашний день, и какое пространство будет отделять меня после этой ночи от сегодняшнего вечера. Где буду я и что будет со мной? Я прожил, как мне казалось, столько чужих жизней, я столько раз содрогался, испытывая чужие страдания, я столько раз чувствовал с необыкновенной отчетливостью то, что волновало других людей, нередко умерших и далеких от меня, — что я давно потерял представление о своих собственных счертаниях. И в этот вечер, как всякий раз, когда я долго

оставался один, я был окружен точно чувственным океаном неисчислимого множества воспоминаний, мыслей, переживаний и надежд, которым предшествовало и за которыми следовало смутное и непреодолимое ожидание. Под конец подобное состояние так утомляло меня, что всё начинало путаться в моем воображении, и тогда я либо уходил в кафэ, либо старался сосредоточить внимание на какой-нибудь одной и вполне определенной идее или системе идей, либо, наконец, вызывал в своей памяти какую-нибудь спасительную мелодию, за которой заставлял себя следить. Я лег в совершенном бессилии на кровать — и вдруг вспомнил «Неоконченную симфонию»; она звучала в вечернем безмолвии моей комнаты и через несколько минут мне стало казаться, что я вновь в концертном зале: черный фрак дирижера, сложный воздушный танец его палочки, за движениями которой, в побежденной тишине, идут музыкальные переливы, — струны, смычки, клавиши, — очередной и в сущности почти чудесный возврат далекого вдохновения, остановленного много лет тому назад тем же слепым и беспощадным законом, в силу которого рука Микель-Анджело стала неподвижной. Наступала ночь, на небе появились звезды, внизу спали консьержки, светилась вывеска “*Au panier fleuri*” и на углу двигалась, как маятник, Мадо, и всё это проходило сквозь «Неоконченную симфонию», не омрачая и не нарушая ее, постепенно расплываясь и исчезая в этом движении звуков, в этой прозрачной победе воспоминаний и воображения над действительностью и над очевидностью.

Я бывал у Павла Александровича почти каждую неделю и подолгу с ним разговаривал. Мне всё хотелось выяснить, в частности, как он мог дойти до этого состояния, в котором находился, когда я его встретил, и как, дойдя до этого состояния, он сумел сохранить то, что так резко отличало его от товарищей по несчастью. Я знал, что человеку, ставшему нищим, обычно путь назад отрезан навсегда, не только в

смысле возвращения к материальному благополучию, — многие нищие были сравнительно богаты, я неоднократно видал таких, — но главным образом в том, что называлось общественной иерархией: оттуда люди не поднимались. Я никогда, конечно, не ставил этого вопроса прямо, я даже не намекал на это. Но сопоставляя некоторые из почти всегда случайных высказываний Павла Александровича, я составил себе об этом представление, не лишенное правдоподобности. Что-то произошло в начале его жизни за границей, я никогда не мог узнать, что именно, какая-то катастрофа, связанная, как мне казалось, с женщиной. После этого он начал пить и спился совершенно. Так продолжалось много лет, и вероятно ничего не могло бы его спасти, если бы он не захворал. Он свалился однажды ночью на улице и пролежал так несколько часов, пока его не подобрали и не отвезли в госпиталь. Там его подвергли всестороннему осмотру, сделали все анализы, которые были необходимы, лечили несколько месяцев и когда он наконец почувствовал себя значительно лучше, врач ему сказал, что он может существовать только при одном условии — полном воздержании от алкоголя. Павел Александрович тотчас же убедился в том, что доктор говорил правду: выпитый стакан вина немедленно вызывал у него рвоты и мучительное заболевание. Он отказался от всяких напитков и через некоторое время стал почти нормальным человеком. Его встрече со мной в Люксембургском саду предшествовало полтора года его жизни, в течение которых он не пил. Он давно уже понимал тягостный позор своего положения; но он был немолод, физически слаб, в его прошлом было много лет того существования, какое и теперь вели его товарищи, и он полагал, что если в ближайшем будущем ничего не изменится, то ему остается только один выход — самоубийство.

Таково было внешнее объяснение того, что с ним произошло. Но было, как мне казалось, и другое — постоянное и пассивное сопротивление той несомненной культуры, которая была для него характерна, этому глубокому падению, какой-то внутренний, быть может почти бессознательный,

почти органический стоицизм, который он сам так упорно отрицал.

Я не мог, конечно, не заметить, что в его квартире живет женщина, хотя я ее ни разу не видел, и Павел Александрович никогда не обмолвился об этом ни одним словом. Но я неоднократно замечал следы ее присутствия: в пепельнице лежали окурки, на которых отпечатались накарминенные губы, едва ощутимый запах духов иногда оставался в комнате. В конце концов, что могло быть более естественно? И вот однажды, когда я пришел, как всегда, к восьми часам вечера, на столе было не два, а три прибора.

— Мы сегодня будем обедать троим, — сказал Павел Александрович, — если вы ничего не имеете против этого.

— Наоборот, наоборот, — поспешно сказал я. В эту же секунду я услышал шаги, повернул голову — и вздрогнул от удивления и необъяснимо тягостного чувства, мгновенно меня охватившего: я увидел молодую женщину, в которой тотчас же узнал дочь Зины, хотя с того дня, что я встретил ее на улице вместе с ее матерью и мышастым стрелком, она изменилась совершенно. Она была хорошо одета, на ней было синее шелковое платье, довольно широкое, в крупных складках, белокурые волосы были завиты, губы накарминены, глаза немного подведены. Но в ее лице оставалось то же самое, что я заметил, когда увидел ее впервые, и что было чрезвычайно трудно определить нечто притягательное и неприятное одновременно.

Она подала мне руку и извинилась, сказав, что ей не всегда легко говорить по-русски. Она картавила и во время разговора действительно все сбивалась на французский язык — и тут она была беззащитна. Она говорила приблизительно так, как говорят на улицах бедных парижских окраин, и я опять вздрогнул, услышав эти знакомые интонации, эту движущуюся звуковую массу, убогую и вместе с тем чем-то неподдельно трагическую. Впрочем, она больше молчала, изредка поднимая то на Щербакова, то на меня свой взгляд, несколько раздражавший меня выражением какой-то вздор-

ной, как мне казалось, значительности. Ей было двадцать шесть лет, на вид ей можно было дать, однако, больше, потому что кожа ее лица успела потерять упругую свежесть ранней молодости, и оттого, что в ее голосе слышалась легкая хрипота, когда она его понижала. Но и в этом была своеобразная привлекательность...

В тот вечер я не знал о ней почти ничего. Я мог бы узнать всё, но Мишки уже не было в живых. У меня, впрочем, оставались другие источники осведомления, которыми я воспользовался несколько позже: я пригласил в кафе одного из русских бродяг, которого знал по виду, и на третьем стакане вина он рассказал мне многое об ее жизни. Но это произошло через пять или шесть дней после нашего обеда втроем.

Павел Александрович, как всегда, не прикоснулся к вину, я выпил несколько глотков. Зато Лида выпила четыре стакана. После ужина Павел Александрович спросил меня, люблю ли я цыганские романсы. Я ответил утвердительно.

— Тогда я приглашаю вас на небольшой любительский концерт, — сказал он.

Мы пошли на другую половину квартиры, где мне до сих пор не приходилось бывать. На полу лежал бобрик, стены были оклеены синими обоями. В гостиной стояло пианино. Павел Александрович сел перед ним, несколько раз дотронулся до клавиш и сказал:

— Ну, Лида...

Она начала петь вполголоса, но сразу же было видно, что она, конечно, музыкальна, что она неспособна сфальшивить или ошибиться в ритме. Через минуту она, казалось, забыла о нас и пела так, точно была одна в комнате, — одна или перед многочисленной аудиторией. Я знал почти весь ее репертуар, довольно обширный, в который входили французские песенки, цыганские романсы и множество других вещей самого разного и случайного происхождения. Но до этого вечера я не представлял себе, что это может звучать именно так. В свое исполнение, которому никак нельзя было

отказать ни в некотором искусстве, ни в музыкальной убедительности, она вносила никогда не изменяющую ей, никогда не прерывающуюся, тяжелую чувственность, которой эти вещи были чаще всего лишены. В звуках ее голоса, то протяжных, то коротких, то глубоких, в самых разных его оттенках повторялось всё одно и то же, с такой неотступной настойчивостью, что под конец это перерастало и пианино, и пение, и последовательность рифмованных слов и становилось просто тягостным. В этом было необъяснимое звуковое бесстыдство, и когда я закрывал глаза, передо мной сразу возникала белая пропасть воображаемой кровати и в ней голое тело Лиды и смутный и неверный силуэт мужчины, склоненный над ней. Но самым неприятным в этом было нечто, похожее на личное напоминание, — на то, что каждый ее слушатель тоже не был и не мог быть совершенно чужд этому чувственному миру, в котором было нечем дышать. И уже тогда я понял, слушая ее пение, что было бы достаточно, быть может, одной случайности, и меня неудержимо потянуло бы к ней, и против этой притягательности могли бы оказаться бессильны и мое невольное к ней презрение, и упорная моя душевная болезнь, влекущая меня в то холодное и отвлеченное пространство, от которого я не мог уйти. Я думал обо всем этом, и мне вдруг стало бесконечно жаль Павла Александровича; надо было полагать, что в том мире, которого она была живым и непреодолимым напоминанием, ему была суждена печальная роль ее бледного спутника, — как в этом звуковом соединении рояля и голоса он мог быть только аккомпаниатором. Я внимательно смотрел на Лиду, — на ее красный рот, на ее глаза, принимавшие время от времени какое-то сонновлажное выражение, на ритмическое покачивание ее узкого тела, которым она сопровождала свое пение.

Проглянет солнца луч сквозь запертые ставни,
И снова, как вчера, кружится голова,
Мне слышится твой смех, наш разговор недавний,
Как струнный перебор, звучат твои слова.

И вдруг я вспомнил Зину, ее мать, старое, неумело накрашенное ее лицо, беззубый рот и потухшие глаза и ревматические ноги в ночных туфлях. Затем я перевел взгляд на Лиду, черты ее лица на секунду расплылись и удалились, и тогда, со внезапным холодком в спине, я увидел мгновенно исчезнувшее сходство Лиды с ее матерью. До этого, однако, было пока-что далеко — и надо было думать, что в течение нескольких долгих лет еще много раз узкое тело Лиды будет двигаться в этом колеблющемся ритме и чьи-то другие глаза будут смотреть на нее с таким же жадным вниманием, с каким я смотрел на нее теперь. Когда она кончила петь, у меня было впечатление, что я пьян; почти тотчас же после этого я ушел, сославшись на необходимость готовиться к экзамену, и только на улице я почувствовал себя свободным.

Несколькими днями позже я разыскал одного из моих старых знакомых, пожилого русского стрелка, которого я издали узнал, — потому что его нельзя было спутать ни с кем: волосы на его лице росли отдельными и разрозненными пучками. Мне пришлось два или три раза видеть его бритым, и тогда он становился похожим на других людей. Но в обычное время, когда он был нормально небрит, в этой странной растительности его лица было нечто почти ботаническое, что-то похожее на пятна серого мха, пробивающегося кое-где сквозь камень. Я пригласил его в небольшое кафе, заказал ему красного вина и сэндвичи, — он очень мало ел, как все алкоголики, — и спросил его, знает ли он Зину, ее мужа и дочь. Сначала он отвечал уклончиво, но вино на него быстро подействовало, и он рассказал мне всё, что ему было известно об этом, как он выразился, семействе. Мне, однако, стоило большого труда заставить его говорить именно о том, что меня интересовало, потому что он всё сбивался на бесконечное повествование о какой-то княгине, бывшей его любовнице, которую он, по его словам, никак не мог забыть и которая сделала такую прекрасную карьеру в Париже, что, впрочем, было понятно, так как она была вообще женщиной исключительной. Я всё не мог взять в толк, что это была за карьера, тем

более, что, как сказал мой собеседник, нужны были долгие годы терпения и осторожности, прежде чем княгиня достигла своей цели. Под конец это всё-таки выяснилось: княгиня, оказывается, служила горничной у богатой старухи, которая плохо видела и плохо слышала и которую она систематически обкрадывала. И когда старуха умерла, оставив свое состояние каким-то дальним родственникам, у княгини оказались очень порядочные деньги. Именно тогда она пренебрегла, как он сказал, его любовью и всецело ушла в свою личную жизнь. Он явно искал моего сочувствия, я покачал головой и заметил неопределенно, что бывает всякое и что лучшая участь не всегда есть удел наиболее достойных людей. ● Он пожал мне руку с пьяным и искренним чувством и перешел наконец, к Зине и Лиде. Их историю он рассказывал мне с такими подробностями, которых, казалось бы, никто не мог знать, но он говорил о них так, точно они всем были известны. Прежде всего, по его словам, Зина сама не знала, кто именно был отцом Лиды, потому что вела в эти времена крайне рассеянное существование. До двенадцати лет Лида жила в деревне и только потом приехала к матери. Когда ей было четырнадцать лет, она стала любовницей мышастого стрелка; Зина это узнала, был страшный скандал, она набросилась на своего сожителя и ранила его ножницами — в припадке женской ревности — сказал стрелок. Потом, однако, всё «вошло в колею», особенно после того, как Лида сбежала из дому и пропала на четыре года. Как именно она их провела, не знал никто, даже мой собеседник. Один из его друзей, Петя Тарасов, правда, говорил ему, что видел, как Лида в Тунисе что-то продавала на набережных; но Пете Тарасову нельзя было верить до конца, так как онпил мертвую, и о нем вообще стрелок отзывался неодобрительно, утверждая, что он человек неверный. Впоследствии, однако, оказалось, что Лида действительно была в Тунисе. Затем она вернулась домой, и по ее виду можно было подумать, что она долго болела.

— Они все жили тогда на улице Simon le Franc ? — спросил я.

Нет, они, оказывается, никогда там не жили: у них была постоянная квартира на rue de l'Église St. Martin.

— Квартира? — сказал я с удивлением. Я помнил эту улицу, мне казалось, что там вообще не могло быть квартир, там стояли деревянные бараки, где жили польские чернорабочие, арабы и китайцы, а на углу был «Bar Polski», один из самых мрачных притонов, какие я видел в своей жизни. Правда, по описанию моего собеседника, в квартире Зины, состоявшей всё-таки из двух комнат, не было ни воды, ни газа, ни даже электричества. Мне было неловко спросить, откуда Зина брала деньги на бедное свое существование, я знал, что в этой среде подобные вопросы неуместны. Но стрелок мне объяснил, что Зина и Лида хорошо зарабатывали, потому что ходили по дворам и пели, а мышастый стрелок им аккомпанировал на гармонике. Это продолжалось до тех пор, пока Зина не охрипла навсегда по неизвестной причине. Деньги, однако, у них не держались, так как Зина пила, а ее сожитель играл на скачках, и то, что Зина не успевала пропить, он проигрывал. На Лиду нельзя было рассчитывать, она жила дома только временами, а не так давно вышла даже замуж за молодого француза, от которого отреклись родители, и который вскоре умер, впрыснув себе слишком большую дозу морфия, после чего Лида была арестована, но выпущена через несколько дней. Затем мой собеседник сообщил мне, что теперь Лида живет с Пашкой Щербаковым, про которого он тоже рассказал довольно обстоятельно, и в общем то, что он говорил, соответствовало действительности. Я не мог не подивиться необыкновенной осведомленности этого человека. Он знал также биографию мышастого стрелка и злополучную историю с мотоциклетом, сочиненную Черновым, произведения которого ему тоже были хорошо известны. ● мышастом стрелке он сказал, что тот в России был когда-то бухгалтером не то в Астрахани, не то в Архангельске, с начала войны служил по интендантству и приехал за границу с кое-какими деньга-

ми, но быстро разорился, проиграв большую часть их в Монте-Карло, а то, что осталось, — на скачках. И даже с Зиной он познакомился на скаковом поле Auteuil, в тот исторический день, когда он поставил чуть ли не всё что у него было, на знаменитого и несравненного Фараона Третьего, лучшую лошадь, когда-либо скакавшую во Франции. Жокей, однако, был подкуплен завистливым конкурентом и, ведя Фараона в хлысте, проиграл на финише, так что к этому нельзя было придраться. Когда мой собеседник рассказывал мне об этом, он явно волновался. Он обнаружил кроме того такое знание скаковой терминологии, что его компетентность в этой области не могла вызвать никаких сомнений, — и я подумал, что, в сущности говоря, количество причин, которые доводят людей до Rue Simon le Franc, довольно незначительно и причины эти почти всегда одни и те же. — Я потерял состояние, но я приобрел Зину, — произнес будто бы мышастый стрелок после этого дня. — Это тоже наверное Чернов придумал, — сказал я, не удержавшись.

На этом мы расстались, и мой собеседник ушел, выразив надежду, что всё рассказанное останется между нами. Это была, казалось бы, ненужная и автоматическая фраза, не имевшая никакого смысла, хотя бы потому, что, как он сказал мне в начале разговора, события, о которых шла речь, «были известны всем». Правда, я не принадлежал к числу этих «всех», и в моем интересе к этому миру было нечто незаконное и быть может даже неопределенно-враждебное. Так, во всяком случае, могло ему казаться. Это было в какой-то мере понятно, и если бы я был на его месте, я тоже вероятно подумал бы о бесцеремонности и неуместности того, что молодой человек, прилично одетый, вдруг вторгается почему-то в ту область, которая отделена от него безвозвратной последовательностью падений — скачки, алкоголь, морфий, тюрьма, сифилис, милостыня, — бессильный разврат и грязь, болезни и физическая слабость, ежедневная перспектива смерти на улице и совершенное, не допускающее ни малейшего намека ни на какую иллюзию, отсутствие надежды

какого бы то ни было улучшения. Я думаю, что он хотел сказать именно это, когда произнес фразу о том, что наш разговор останется между нами. Но он, конечно, не мог знать, что, несмотря на внешнюю разницу между нами, мое положение было, быть может, не менее печальным, хотя и по другому, чем то, в котором он находился.

Но никто вообще, ни один человек на свете, кроме Катрин, не знал о том, что я был болен этим своеобразным душевным недугом, сознание которого так неизменно угнетало меня. Особенно мучительным было понимание неравенства и превосходства других людей надо мной. Я знал, что в любую минуту я могу потерять ощущение действительности и погрузиться в тягостный бред, становясь на это время совершенно беззащитным. К счастью, я обычно чувствовал приближение такого припадка, но иногда он обрушивался на меня внезапно, и я с тревогой думал о том, что могло бы случиться, если бы это произошло в университетской аудитории, в библиотеке, на улице или во время экзамена. Я делал всё, чтобы избавиться от этого, я усиленно занимался спортом, каждое утро принимал холодный душ и мог сказать, что физически я был идеально здоров. Но это ничему не помогало. Может быть, думал я, если бы я пережил землетрясение или крушение корабля в открытом море или вообще какую-то трудно вообразимую, почти космическую катастрофу, может быть, это было бы спасительным толчком и позволило бы мне сделать первый, самый трудный шаг на том обратном пути к действительности, которого я так тщетно искал до сих пор. Но ничего подобного не происходило и, казалось, не могло произойти, по крайней мере в ближайшем будущем.

Я продолжал бывать у Павла Александровича, и если бы не постоянно угадывавшееся присутствие Лиды, — хотя ее я видел сравнительно редко, — я мог бы сказать, что только там я находил настоящий душевный отдых. В спокойной уютиности той жизни, которую теперь вел Павел Александрович, было нечто усыпляюще-приятное, и это чувствовалось во

всем, начиная от теплых интонаций его голоса и кончая удивительной мягкостью его кресел. Мне казалось, что даже в его обедах было то же самое: я нигде не ел до сих пор такого бархатного супа, таких котлет, такого шоколадного крема. Я относился к нему с самым искренним расположением и испытывал тягостное чувство, когда думал о том, что с ним может случиться что-нибудь нехорошее. Вероятно, эта мысль не преследовала бы меня, если бы я мог забыть о Лиде. Я, конечно, не позволял себе задавать Павлу Александровичу какие бы то ни было вопросы, касавшиеся этой стороны его жизни; он в свою очередь тоже никогда не говорил об этом. Но однажды, во время одного из моих очередных визитов, он сказал мне, — это происходило в пятницу вечером, — что завтра, в субботу, он уезжает из Парижа. Он хотел снять на лето дачу возле Фонтенбло и собирался поехать туда, чтобы неспеша осмотреть окрестности, побродить по лесу и окончательно решить, стоит ли там поселиться в летние месяцы.

— Я много лет не был в лесу, — сказал он. — Но я не забыл о чувстве, которое я всякий раз там испытывал, чувство временности всего существующего. Посмотришь на дерево, которому несколько сот лет, и вдруг особенно ясно ощутишь свою собственную кратковременность. Я вам потом расскажу о своих впечатлениях. А Лида остается одна в Париже. Пригласили бы ее в кинематограф, а?

— Да, да, конечно, с удовольствием, — сказал я. И в ту же минуту подумал, что непременно сошлюсь потом на недостаток времени и сделаю всё, чтобы от этого уклониться.

Но на следующий день, к вечеру, мне стало казаться, что нарушить обещание, данное Павлу Александровичу, было бы с моей стороны просто некорректно. Я смутно отдавал себе отчет, что это было оправдание столь же искусственное, сколь несостоятельное. Но я не задержался на этой мысли и позвонил Лиде по телефону. Она ответила, что ждет меня, и я поехал к ней после обеда. Она была готова, и мы отправились в кинематограф.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДДЫ

Я хорошо запомнил фильм, который мы видели, фамилию артиста, игравшего главную роль, и его многочисленные приключения. Это было тем более удивительно, что через несколько минут после начала сеанса я случайно коснулся горячей руки Лиды, и всё помутилось в моих глазах. Я понимал, что происходит нечто непоправимое, но не мог остановиться. Я обнял правой рукой ее плечи, которые мягким и гибким движением приблизились ко мне, и с этого момента я совершенно перестал владеть собой. Когда мы вышли из кинематографа и свернули в первую улицу, — я не мог говорить от волнения, она тоже не произносила ни слова, — я прижал к себе ее талию, ее губы приблизились к моему рту, я почувствовал прикосновение ее тела под легким платьем и ощутил нечто вроде влажного ожога. Прямо над моей головой горела вывеска гостиницы. Мы вошли туда и поднялись по лестнице вслед за горничной, которая была почему-то в черных чулках. — «Номер девять», — сказал внизу мужской голос.

Над кроватью было вделано в стену большое прямоугольное зеркало, против кровати стояли зеркальные ширмы, несколько в глубине — зеркальный шкаф, и через несколько минут во всех этих сверкающих поверхностях отразились наши тела. В этой фантастической множественности отражений было что-то апокалиптически-концунственное, и я подумал об Откровении святого Иоанна.

— *On dirait de la partouze* — сказала Лиды.

У нее было сухое и горячее тело, и всё то же ощущение ожога не покидало меня. Мне казалось, что я никогда не забуду этих часов. Я начинал терять себя в этом неожиданном богатстве физических ощущений и в неизменной притягательности ее тела было нечто почти беспощадное. Слова, которые она произносила сквозь жадно стиснутые зубы, казались до удивительности странными, — так, точно в этом горячем воздухе им не было места, они звучали бесполезным напоминанием о том, чего больше не существовало. Теперь я находился в ином мире, которого я, конечно, не знал до сих пор во всей его женской неотразимости. Вот о чем она пела

в тот вечер, когда я ее слушал! Как бледно теперь, едва слышным музыкальным лепетом, звучал в моей памяти аккомпанимент пианино! Обрывки мыслей проносились в моей голове. Нет, я никогда не представлял себе, что могу быть всецело захвачен физической страстью, такой сплошной, что она почти не оставляла места ни для чего другого. Я пристально смотрел вниз, на лицо Лиды, иступленное и одухотворенное, на полуоткрытые, широкие ее губы, чем-то напоминавшие мне изуверские линии рта какой-то каменной богини, которую я видел однажды — но я забыл, где и когда. В зеркалах попрежнему двигались многочисленные руки, плечи, бедра и ноги, и я начинал задыхаться от этого впечатления множественности.

— Мой дорогой, — сказала Лида невыразительным голосом, и мне казалось, что этим звукам было трудно пробиться через густую чувственную муть, — я никогда не любила так, как тебя.

Она лежала теперь рядом со мной, усталая и точно изматая длительным напряжением. Но постепенно ее голос становился глубже и звучнее.

— *Je n'ai pas eu de chance dans ma vie* — продолжала она, — потеряла невинность, когда мне было четырнадцать лет.

Она переходила всё время с французского на русский и с русского на французский.

— Ты не знаешь любовника моей матери? Он уже тогда был старик, он мягкий, как тряпка, он не мужчина. Мне было больно и скучно, мне хотелось плакать от того, что всё так отвратительно. *Est ce que tu me comprends? Dis moi que tu me comprends.*

Я кивнул головой. Она лежала голая, — рядом со мной, надо мной и подо мной, — отражаясь в неподвижном блеске зеркал. И мне опять стало казаться, как это иногда случалось, — что из страшной, стеклянной глубины на меня смотрят пристальные и остановившиеся глаза, в которых я с холодным отчаянием узнаю свой собственный взгляд.

Мне нужны были необыкновенные усилия, чтобы победить охватившее меня отвращение к Лиде и к себе самому. Ее, впрочем, я был склонен обвинять меньше, чем себя. В моем поведении был элемент такой явной подлости, которой я до сих пор за собой не знал. После этого кто мог сказать, на что я был еще способен, и какая другая низость остановила бы меня? Всё, что во мне было — как я думал — отдаленно положительного, оказалось сметено одной случайностью, и стало быть, какова же была ему цена? Другие, более непосредственные соображения занимали меня. Я думал, что если бы речь шла только обо мне, никто — и в первую очередь Павел Александрович — не узнал бы об этом вечере с Лидой. Но в ней я не мог быть уверен. Она была способна рассказать это следующему своему любовнику, она могла, в конце концов, признаться Павлу Александровичу, и это поставило бы меня в безвыходное положение. Как я мог сделать это несуществующим и сколько бы я дал, чтобы вернуть то, что было в начале вечера? Я лежал рядом с ней и думал об этом. Чтобы не видеть ее, я закрыл глаза, и передо мной явилась привычная мягкая тьма, та самая, из которой я столько раз уходил и в которую столько раз возвращался, переходя из одного мира в другой и вновь находя себя в этой беззвучной пропасти, после каждой душевной катастрофы. Я погрузился в знакомое безмолвие, пустое и мертвое настолько, что там глохли отзвуки даже едва минувшего несчастья, потому что там больше ничто не имело значения. Еще какой-то свет, слабее, мерцал передо мной, где-то далеко умирали последние смутные звуки, доходившие до меня. И рядом со мной, в этом безмолвном пространстве, лежало голое тело Лиды, неподвижное, как труп.

— *Monsieur, la seance est terminée* — сказал издали чей-то женский голос.

Потом он приблизился и повторил:

— *La seance est terminée, monsieur.*

Я открыл глаза. Я сидел в опустевшем зале кинематографа, полотно потухшего экрана было уже закрыто занаве-

сом. Служащая, сказавшая мне эти слова, смотрела на меня с удивлением и сочувствием.

— Excusez moi — сказал я. — Merci de m'avoir réveillé, m-lle

Я вышел из кинематографа. На небе были звезды, ночь была теплая и тихая. Стояли настоящие каменные дома, с железными, запертыми ставнями, видны были неподвижные повороты улиц, окна кафе были ярко освещены. И кажется, в первый раз за всё время мое возвращение к действительности было не только лишено того печального оцепенения, которым обычно сопровождалось, но в нем было нечто почти мажорное. Я думал, что усилия воли когда-нибудь восторжествуют над моим недугом и всё, что так неотступно преследует меня теперь, исчезнет не на время, а навсегда. И тогда начнется, конечно, настоящая жизнь. Позже, всякий раз, когда ко мне возвращались видения, связанные с воображаемой встречей, Лидой, гостиницей и зеркалами, я тотчас же начинал думать о другом, хотя я знал и не мог себя обманывать: то, что мне казалось отвратительным, в сущности, произошло, и если это не было облечено в осязаемую форму свершившегося факта, то это была случайная и лишенная значения подробность. Но именно отсутствие факта было моим геопровержимым доводом, моим бесспорным оправданием — и в тот вечер эта обманчивая очевидность казалась мне счастливым разрешением вопроса.

Через некоторое время после этого я опять обратился к моему осведомителю, которого найти было нетрудно: если это происходило днем, нужно было идти в кафе возле **Place Maubert**, где бывали обычно собиратели окурков; ночью надо было отправляться на Монпарнас. У этого человека, в его бесконечных странствиях через Париж, были места, куда он неизменно приходил, как другие люди приходят в клуб. После второго стакана вина он готов был рас-

сказать всё, что угодно, — то, что он действительно знал, то, что он слышал, и даже то, чего он не знал, но что составляло предмет его размышлений. Правда, о чем бы ни шла речь, начинал он всегда с одного и того же, со своей княгини, которой он всё не мог простить ее измены.

— Вот мы с вами тут беседуем, — сказал он, вытирая губы не без некоторой, очень своеобразной кокетливости, мизинцем правой руки, — а она, стерва, нежится под атласным одеялом в своей квартире. Она не знает, что она у меня в руках.

— Почему она у вас в руках?

— Милый человек, да пойдя я куда нужно, да скажи кому следует: месэ, ву саве арижин са ришес?

Он очень бегло говорил по-французски, произнося, однако, твердо все носовые звуки и ставя всюду русское «а» вместо французского «о».

И он пристально смотрел на меня своими выпуклыми и пьяными глазами.

— Но только она подозревает, конечно, что Костя Воронов всегда был д ж е н т е л е м е н и это слово он выговаривал совсем по-своему, — и что он неспособен это сделать. Вы знаете, как мое прозвище?

Я ответил, что не имею об этом представления.

— Вот это прозвище мне и дали, — сказал он — джен-телемен. Вот он, перед вами стоит — Костя Воронов, джен-телемен, поручик императорской армии. В приказе было написано: «отличился» — как сейчас эти слова помню — «неустрашимым мужеством, подавая пример офицерскому составу и подчиненным»... Вот какому человеку она изменила. И почему? Потому что Костя Воронов не захотел себя скомпрометировать, милый человек, вот почему.

Я плохо представлял, что он, собственно, хотел этим сказать и чем он мог себя скомпрометировать с княгиней, но не настаивал, боясь слишком длительных объяснений. Он смотрел на меня и явно искал сочувствия, как это бывало всякий

раз, когда разговор касался его личной жизни. Я опять сказал несколько слов о превратностях судьбы.

— Судьба, это, знаете, одна видимость, — сказал он. — То-есть, понимаете, вот какой-нибудь человек живет и думает, что всё замечательно, а на самом деле — дурак дураком.

Я спросил Джентльмена, следует ли рассматривать это утверждение как чисто философскую мысль, или в нем содержится какой-нибудь намек.

— И то, и другое, — сказал он. — С одной стороны, это вообще правильно, а с другой, вот, возьмите Пашку Щербак-кова, например. Я ничего не говорю, я его, слава Богу, давно знаю. Он человек неплохой, интеллигентный, нашего круга.

Я быстро взглянул на него. Он стоял передо мной, в засаленном и обтрепанном пиджаке, в удивительно узких и дырявых штанах, небритый и мрачный; желтый окуроч, прилипший к его губе, слегка дымился.

— Вот он живет теперь как барин, — харч, конечно, квартира и девочка, как полагается.

Он покачал головой и выпил остаток вина. Я подозвал гарсона и заказал ему следующий стакан.

— Люблю, когда человек понимает, — сказал Джентльмен, — русские же мы люди, в конце концов. Да, так вот Пашка. А девочка-то его едва-едва переносит, потому что любит Амара.

— Какого Амара?

— Который ее любовник. А вы не знали?

— Нет.

— А вы ее как-нибудь о нем спросите. Она с ним еще в Тунисе спуталась.

— Он что, араб?

— Хуже. — сказал Джентльмен. — Значительно хуже. Отец его араб, мать полька. Он в Тунисе попался в каком-то грязном деле, сел, конечно, в тюрьму. — «У него были неприятности», — сказал бы Мишка. — Она его оттуда и написала.

— Кто?

— Лида, конечно. А вы что, удивляетесь?

— Да нет, это понятно.

— Только всё это между нами.

— Можете быть спокойны.

Во всем, что рассказал мне Джентльмен, не было, конечно, ничего неожиданного; наоборот, казалось бы скорее удивительным, если бы это было иначе. Но я не мог отделаться от неприятного чувства за Павла Александровича. Как случилось, однако, что он так мало, повидимому, знал о Лиде? Как могло быть, что имея вполне определенное представление о мышастом стрелке и о Зине, он пропустил в этом самое главное — биографию Лиды? Я знал со слов Джентльмена, что Павел Александрович только слышал об ее существовании, но увидел ее впервые совсем недавно, на улице, и его тронуло то, что она была так явно бедна и несчастна, — и с этого всё началось. Она, вероятно, рассказала ему о себе только то, что нашла нужным рассказать, скрыв от него всё остальное. Он, кроме того, был на тридцать лет старше ее, и против этой разницы в возрасте оказались бессильны и его постоянное недоверие к людям, и его личный душевный опыт. Но всё-таки — не мог же он в такой степени обманываться на ее счет? Я всегда предполагал, что дочь Зины не должна быть мечтательной девушкой с далекими глазами, а после того, как я ее увидел и услышал ее пение, у меня не оставалось больше никаких сомнений в ее нравственном облике. И то, что таких очевидных вещей не знал — или делал вид, что не знал, — Павел Александрович, оставалось только объяснить его невольным и катастрофическим ослеплением.

Прошло несколько недель. И вот, так же случайно, как в тот раз, когда я встретил на бульваре Гарибальди Зину, мышастого стрелка и Лиду, — я оказался однажды вечером на площади Бастилии. Я очень давно не бывал в этом районе. Я поехал туда потому, что в одном из больших кафе этого квартала должен был выступить с речью знаменитый испан-

ский революционер, высказывания которого давно привлекали мое внимание отсутствием в них наивной глупости, столь неизменной в обычных речах политических ораторов. Он читал лекцию о социализме и пролетариате; он был талантливый человек, и в его изложении эти вещи приобретали какое-то человеческое содержание, и, слушая его, я невольно думал о том, в какой степени подлинный смысл этих проблем был искажен и изуродован десятками невежественных и неумных политических чиновников, которые почему-то считались представителями рабочего класса и стояли во главе синдикатов, партий или правительств. Лекция кончилась немного позже одиннадцати часов вечера. Когда я проходил по площади мимо знаменитой своими повсеместно рекламируемыми прифонами *Rue de Lappe*, на углу остановилось красное такси, и из него вышла Лида, а вслед за ней человек среднего роста с темным, худым лицом, — в сером костюме и серой шляпе, надвинутой почти до ушей. Он отдаленно напомнил мне хозяина Мишкиной гостиницы, но не потому, что был на него похож, а оттого, что в его лице — насколько я успел его рассмотреть за несколько секунд, — было тоже нечто ублюдочное и преступное. То, что еще подчеркивало такое впечатление, это его выражение тяжелой глупости; было видно, что этот человек не привык и не умел думать. Тонкое лицо Лиды рядом с ним казалось почти отвлеченным. Мои глаза встретили ее взгляд, я сделал вид, что не вижу и не узнаю ее; она тоже как будто меня не узнала. Я быстро прошел мимо них, но потом остановился и посмотрел, куда они направились, — к освещенному входу в дансинг. Я заметил с некоторым удивлением, что Амар, — я не сомневался, что это был он, — шел не очень быстро и слегка волочил левую ногу.

Это происходило в среду. В субботу вечером я должен был обедать у Павла Александровича. В четверг, когда мы с ним улаживались об этом по телефону, и он спрашивал меня, как идут мои дела, я ответил, что почти не выхожу из дому, так как у меня спешная работа. Это точно соответствовало действительности: я писал длинную статью о трид-

ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДДЫ

патилетней войне, заказ на которую получил один из моих товарищей, передавший его мне. Статья эта должна была быть подписана фамилией одного очень известного публициста и писателя, человека со средствами, заработавшего крупные деньги книгами о диктаторах и министрах разных государств. Я не был уверен, что он сам мог бы написать такую статью, хотя я его лично не знал, и мог бы сослаться только на категорическое утверждение моего товарища, сказавшего мне, что знаменитый автор «не был обременен знаниями в какой-либо области, за исключением благороднейшего скакового спорта». Но дело было даже не в этом, а в том, что у знаменитого журналиста был бурный роман с не менее знаменитой кинематографической артисткой. Он ездил с ней по всем модным почным кабаре, возил ее на Ривьеру и в Италию, — одним словом, у него совершенно не было времени думать о каких бы то ни было статьях. Впрочем, это случалось не впервые в его жизни. Но так или иначе, возможность этого заработка была для меня слишком соблазнительна, чтобы ее пропустить. Несколько дней я провел в Национальной библиотеке, делая длинные выписки из разных книг, потом принялся за работу дома. До заключительных страниц, однако, мне еще было далеко, и я думал о Вестфальском мире с неменьшим нетерпением, чем Ришелье, но с той разницей, что мне были известны его последствия, которых французский кардинал, как, впрочем, любой его современник, предвидеть не мог, и в свете которых вся политика Франции начала семнадцатого столетия приобретала совершенно другое значение, чем то, какое ей придавал и сам кардинал, и *Père Joseph*, страшный своим личным бескорыстием, по крайней мере внешним. Но чем больше я думал об этом старом, босом капуцине, тем больше мне казалось несомненным, что только безмерное и скрытое честолюбие предопределило и его политику, и его жизнь. И мне представлялось чрезвычайно убедительным утверждение одного из историков этого периода, который писал, что самые опасные люди в политике, это те, кто презирает непосредственные выгоды своего положения, кто не стре-

мится ни к личному обогащению, ни к удовлетворению классических страстей, и чья индивидуальность находит свое выражение в защите той или иной идеи, той или иной исторической концепции. К сожалению, я лишен был возможности высказывать свои собственные соображения по поводу тридцатилетней войны, и необходимость писать в совершенно определенном духе мешала мне и тормозила мою работу. Участь Густава-Адольфа, в частности, должна была быть оставлена без сколько-нибудь обстоятельного комментария, так же, как роль Валленштейна, которого, однако, грандиозные и хаотические замыслы заслуживали, как мне казалось, большего внимания, чем политика Ришелье. Мне особенно мешало еще и то, что в отличие от журналиста, именем которого должна была быть подписана статья и которому была вполне безразлична участь любого исторического лица, точно так же, как любая историософская идея, меня интересовала судьба всех политических деятелей и полководцев, участвовавших в этой войне. И несмотря на трехсотлетнюю давность, отделявшую меня от них, я ловил себя на том, что по отношению к каждому из них я испытывал чувства, которые способен был бы испытывать их современник, — хотя я не мог не понимать, что в изложении разных историков образы этих людей были искажены и стилизованы не меньше, чем они были изменены вдохновением Шиллера. Мне казалось, что нельзя было относиться к Ришелье иначе, чем с презрением, как нельзя было не питать некоторого уважения к *Père Joseph*. В судьбе Тилли, в убийстве Валленштейна и особенно в смерти Густава-Адольфа я искал некий скрытый символический смысл — и конечно, все эти соображения были вовсе неуместны для той работы, которую я делал. Когда потом мне пришлось встретиться с фиктивным автором этой статьи, — он оказался толстым, лысым человеком средних лет, с одышкой и мутными глазами, — он искренно удивлялся, читая страницы, которые я написал. Я думаю, что его расхождение со мной по поводу разных исторических оценок было бы еще более резким, если бы он имел сколько-нибудь связанное представле-

ние о том, что было темой его статьи. Он немного ее переделал, но так как у него нехватало времени, то он должен был ограничиться чисто поверхностными, по его убеждению, изменениями: он поставил всюду, где мог, многоточия и восклицательные знаки, что придавало моему изложению претенциозно-назидательный вид и вносило в него тот оттенок дурного вкуса, которого, как мне казалось, по началу не было, но который был неизменно характерен для этого невежественного и развязного человека.

Но всё это произошло несколько позже, а в пятницу, часа в три дня, когда я сидел и писал, в мою дверь постучали. Это меня удивило, так как я никого не ждал.

— Войдите! — сказал я.

Дверь отворилась, и я увидел Лиду. На ней был серый костюм, белая, очень декольтированная блузка и серая шляпа. Глаза ее сразу же так пристально уставились на меня, что я испытал некоторую неловкость. Я подвинул ей кресло. Затем я спросил ее, чем я обязан удовольствию ее видеть у себя.

— Я пришла к вам потому, что я считаю вас порядочным человеком.

— Очень польщен, — сказал я с некоторым нетерпением. — Но всё-таки вероятно ваш визит имеет какую-нибудь более непосредственную цель? Не пришли же вы ко мне только для того, чтобы поставить меня в известность о вашей личной оценке моих моральных качеств?

Она продолжала смотреть на меня в упор, это раздражало меня.

— Мы с вами недавно встретились, — сказала она.

— Вы говорите о том вечере, когда мы обедали у Павла Александровича?

Она взглянула на меня глазами, в которых было выражение скуки и упрека, и тогда я впервые подумал, что она может быть по-своему умна.

— Вы непременно хотите разговаривать со мной таким ироническим тоном, явно давая мне понять, что считаете меня душой?

Она перешла на французский язык; по-русски такая фраза была бы для нее слишком трудна.

— Боже сохрани!

— Вы видели меня на площади Бастилии, куда я приехала с моим любовником.

— Извините меня, ваша личная жизнь меня не касается.

— Да, да, я понимаю, — сказала она с нетерпением.

После ее слов о том, что я видел ее на площади Бастилии, было ясно, зачем она пришла ко мне.

— Я думаю, что вы напрасно теряете время, — сказал я. — Вы надеетесь, что я никому не расскажу об этой встрече, не так ли?

Она сделала гримасу, точно проглотила что-то невкусное.

— Да.

— Слушайте, — сказал я, — я буду с вами совершенно откровенен. Вы не хотите, чтобы Павел Александрович это узнал, потому что вы боитесь потерять ваше положение. Мне тоже не хотелось бы, чтобы это ему стало известно, но по другой причине: мне его жаль.

— Но вы меня понимаете?

— Не будем на этом настаивать, это было бы для вас невыгодно.

И тогда она заговорила с неожиданным и злобным воодушевлением.

— Да, конечно, вы этого не понимаете. *Parce que, vous savez, vous êtes un monsieur.* Вас никто никогда не хлестал по щекам. Вас никто не называл девкой.

— *On se tromperait de sexe.*

— Молчите, дайте мне сказать. Вы не таскались по тротуарам, вы не жили неделями, не зная, где вы будете ночевать. Вас не толкали полицейские. Вы не ночевали со вшивыми арабами. Вы не знаете, что значит туземный квартал, вы не дышали этим воздухом. Вы не понимаете, что значит зависеть от толстого, слюнявого клиента.

Она говорила отрывисто, низким и почти хриплым голосом.

— Вы не знаете, что значит ненавидеть собственную мать. Вы не знаете, что значит жить всю жизнь в нищете. Вы ходите в университет, слушаете лекции, спите в чистой постели, отдаете ваше белье в прачешную. *On m'a trainé tout la vie dans la boue. moi.*

Она остановилась, на ее лице было выражение усталости.

— А когда я оставалась одна, я плакала. Я плакала от отчаяния, от нищеты, оттого, что ничего нельзя было сделать. Когда я была девочкой, я плакала, потому что мою мать бил ее любовник, и она плакала вместе со мной. Что вы знаете обо мне? Ничего. Но когда вы говорите со мной, в вашем голосе явно чувствуется презрение, вы думаете, я его не слышу? Да, да, я понимаю: мы принадлежим к двум разным мирам. — *nous appartenons à deux mondes différents.*

— Эту фразу вы где-то прочли, — сказал я без всякого раздражения.

— Может быть. Но вы всё-таки обо мне ничего не знаете.

И она стала говорить о своей жизни. По ее рассказу выходило, что она действительно никогда ничего не знала, кроме унижения и нищеты. Ее мать посылала ее собирать окурки на троттуарах. Сожитель Зины бил их обеих. Они гели на улицах и во дворах, откуда их выгоняли, — пели осенью, под дождем и зимой когда дул холодный ветер. Они нередко питались тем, что подбирали на Halles. Первую ванну Лида приняла, когда ей было пятнадцать лет.

Потом, когда всё стало совсем невыносимо, она ушла из дому и уехала в Марсель. Денег на билет у нее не было, но она платила за всё «иначе», как она сказала. Из Марселя она попала в Тунис.

Там она прожила четыре года. Она рассказывала мне о душных африканских ночах, о том, как она голодала, о том, чего требовали от нее арабы, — она называла вещи своими именами. И по мере того, как она говорила, я понимал то, о чем только подозревал до сих пор, — что она была насквозь пропитана пороком и нищетой и что, действительно, она провела свою жизнь в каком-то смрадном аду. Ее били много

раз по лицу, по телу и по голове, у нее было несколько ножевых ран. Она расстегнула блузку, и я увидел под ее грудью, затянутой в бюстгальтер, беловатые шрамы. Она никогда нигде не училась, но у нее была хорошая память. В Тунисе, в течение некоторого времени, она служила горничной у старого доктора, в квартире которого была большая библиотека, по вечерам она читала книги, которые брала оттуда, и чем больше она читала, — сказала она, тем безотраднее ей казалась ее собственная жизнь. Тогда же она встретила Амара, который был болен и несчастен, как она. У него была чахотка в острой форме, он не мог больше работать. Она продолжала служить у доктора и тратила все, что у нее было, на Амара, который, благодаря ее уходу и заботам, стал поправляться. Но во всяком случае, к своей прежней работе он вернуться не мог.

Я слушал ее, не прерывая. Но в этом месте я спросил:

— А где он работал раньше? Что он делал?

— Не знаю, — сказала она, — кажется, на какой-то фабрике.

Она сказала, что любит этого человека больше всего на свете и готова отдать за него жизнь

— В таких вещах редко возникает необходимость, сказал я, — разве что в либретто какой-нибудь оперы. А почему он волочит ногу?

— Откуда вы знаете?

— Я видел, как он шел.

Она опять пристально посмотрела на меня, и в первый раз за всё время я заметил в ее глазах угрожающее выражение.

— У него был несчастный случай, — сказала она.

Затем доктор ее рассчитал, и она вернулась в Париж. Здесь она встретила Павла Александровича. Это было на улице, в сумерках; она сидела на скамейке и плакала оттого, что Амар остался в Тунисе и у него не было денег, чтобы приехать сюда. Павел Александрович спросил ее, почему она плачет. Она объяснила ему, что чувствует себя несчастной. Но она

не сказала об Амаре. Он предложил ей пойти в кафе и говорить с ней так, как никто и никогда с ней не говорил. Потом он дал ей денег и сказал, что если ей еще что-нибудь будет нужно, то она может придти к нему или позвонить ему по телефону. О дальнейшем догадаться было нетрудно. Павел Александрович, по словам Лиды, водил ее в Лувр, объяснял ей многие вещи, которых она не знала, давал ей читать книги, которые он находил интересными.

Несмотря на то явное усилие, которое она делала, чтобы говорить о Павле Александровиче доброжелательно, ее враждебное отношение к нему невольно угадывалось. Я думаю, она презирала его за доверчивость и ей была неприятна мысль о превосходстве Павла Александровича над Амаром. Она выразилась несколько иначе, сказав, что испытывает по отношению к Павлу Александровичу благодарность, но что, конечно, она его любить не может. Она не может его любить — и я должен это понять — и она не может в то же время жить без любви.

— А теперь скажите мне: разве я не заслужила хоть немного счастья — даже ценой обмана?

Меня несколько раздражала — в патетических местах — ее склонность к книжным оборотам, заимствованным из плохих романов. Когда она рассказывала о Тунисе, о том, что ненавидит свою мать, о побоях, обо всей своей невеселой жизни, она говорила простыми и верными словами.

— Теперь я в вашей власти, — сказала она. — Вы знаете обо мне всё, и моя судьба и судьба человека, которого я люблю, зависят от вас. Вы знаете, что можете требовать от меня всего, что я могу дать, и вы знаете, что я не могу отказать вам.

И тогда я впервые посмотрел на нее так, как не смотрел до сих пор. Я увидел ее ноги в обтянутых чулках, сгиб ее тела в кресле, ее тяжелые глаза, тонкое лицо, красный рот и белые волосы, спускавшиеся на плечи. Я отчетливо вспомнил вечер в кинематографе и то, что было потом, и ее голое тело, отраженное во множестве зеркал. Мне стало душно и холод-

но в одно и то же время. Потом я закрыл глаза, думая о других вещах, — и мне на секунду стало ее искренно жаль. Она могла платить за всё только одной ценой и была готова на это, чтобы сохранить то, что она называла любовью и что было непреодолимым тяготением к этому больному ублюдку, Амару. Я вспомнил его лицо и подумал, что оно было необыкновенно выразительно, в том смысле, что на нем как будто была написана его судьба. При взгляде на него становилось ясно, что это лицо обреченного человека, и что жизнь, которая ему предстоит, не будет долгой; либо он умрет от туберкулеза, либо сгинет от другого недуга, либо будет убит при сведении счетов, и его труп подберут полицейские — с пулей в груди или перерезанным горлом. Во всяком случае, таково было мое впечатление и ничто не могло его изменить. И жизнь Лиды была связана с его судьбой. Но ни та, ни другая не были в моих руках, в этом она ошибалась.

Если бы мое внимание не было занято недавними соображениями о Валленштейне и Густаве-Адольфе, соображениями, прерванными приходом Лиды, размышлениями по поводу Амара и неотступной мыслью о том, что он был ее любовником, даже если бы не было всего этого, ее слова, — «вы знаете, что я не могу отказать вам», — всё равно подействовали бы на меня расхолаживающе, так как звучали слишком недвусмысленно. Я подумал, невольно пожав при этом плечами, что в моей личной жизни Вестфальский мир играет тоже некоторую роль, несколько меньшую, чем зрительное воспоминание о лице Амара, но всё же несомненную.

Затем Лида расплылась я увидел на ее месте мутное, белое пятно, в ушах начался легкий звон и я почувствовал, что всё окружающее меня становится невесомым и несуществующим. Это было похоже на приближение душевного обморока и в этом было чем-то соблазнительное ощущение надвигающегося и почти сладостного небытия. Я сделал над собой усилие, закурил папиросу, затянулся несколько раз и сказал:

— Не буду вас задерживать. Я хочу, однако, сказать

вам несколько слов. Во-первых, мне от вас ничего не нужно, запомните это раз навсегда. Во-вторых, мы действительно, как вы выразились, принадлежим к разным мирам, и в том мире, где существую я, люди не шантажируют других, не пишут анонимных писем и не занимаются доносами ни при каких обстоятельствах. Может быть, если бы они прожили такую жизнь, как вы, это было бы иначе. То, что вы имеете право на счастье — ваше дело. Мне кажется, что это очень убогое счастье. Но, если этого вам достаточно, остается только вам позавидовать. Если бы мне предложили переселиться в тот мир, где живете вы, я предпочел бы пустить себе пулю в лоб.

Потом я встал и прибавил:

— Желаю вам всего хорошего. Можете быть спокойны, ваш визит ко мне и этот разговор останутся между нами.

И после ее ухода что-то дрогнуло и исчезло; несколько секунд было пусто и тихо, затем я услышал безмолвный и бесформенный грохот — и понял, что слежу за сражением, исход которого давно был решен, и его нельзя было ни изменить, ни отсрочить, тем самым сражением при Лютцене, которое играло такую значительную роль в истории тридцатилетней войны.

Гайто Газданов.

(Продолжение следует).

„ВОЛГА, ВОЛГА, МАТЬ РОДНАЯ“...

(ГЛАВА ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ).

Я родился в Заволжье, в краю необозримых степей — в городе Новоузенске, Самарской губернии. Недалеко отсюда же, на широком приволжском водоразделе между губерниями Самарской и Саратовской, в городе Камышине, провел я большую часть детства, всё отрочество и пору зеленой юности. Мой родной город лежал на правом, высоком берегу Волги, при впадении в нее обмелевшей реки Камышинки. Еще на памяти старожилов она представляла собою неглубокое, но широкое водное пространство, покрытое густыми зарослями камышей. Когда-то в них легко укрывались целые гребные флотилийки «удалых добрых молодцев», искавших в приволжском безлюдии приюта, освобождения от тягот старой власти и закона, возможности дерзко стать самим себе единственным законом и единственной властью. С миром, от которого оторвались, они были в состоянии непрерывной войны. Подстерегая в укрытии камышей отдельные купеческие суда и целые караваны, они стрелою вылетали на быстрый стрежень, оглашая водные просторы туземным, нерусским диким кличем: «сарынь на кичку!» (выходи на корму!), что означало безусловную сдачу на милость нападающих.

Иные камышинские старожилы, следуя ли темным, уже в дни их юности ветхим преданиям, или же давая волю фантазии, брались даже указывать излюбленные места притонов вятизей речного абордажа, и сыпали именами Васьки Чалого, Еремы Косолапа, Кузьмы Шалопута... По-своему бесспорен был, однако, лишь западнее Камышина лежавший очень большой курган, в форме сильно усеченной пирамиды, с плоскою и довольно широкою ровною вышкой — такой одинокий и не-

обычайный среди окружающей его со всех сторон степной глади. Предание не упускало связать его с именем Стеньки Разина; но, надо думать, он был много древнее. Его давно уже собирались раскопать заезжие археологи, но дальше разговоров дело почему-то не двигалось. Из этих речей, звучавших важно и авторитетно, сыпались слова — хазары, куманы, узы... На украдкой прислушивавшихся детей, кажется, речи эти производили больше впечатления, чем на занятых своими делами стцов. Для нашего слуха особенно сказочно звучало свистящее имя «узы»; мы их представляли себе всадниками, неразлучными со своими конями, почти-что людьми-кентаврами, и мы любили «играть в узов» взбираясь с помощью конюхов на неоседланных лошадей, которых они водили на берег Волги, на купанье и водопой. Мы наслаждались, учась дико гикать и стараясь придать нашим смирным четвероногим вид полудиких степных летунов.

Прислушиваться к разговорам старших было, вообще, одним из любимейших моих удовольствий. Я многое бы дал, чтобы присутствовать на уроках старших сестер, но меня, как малыша, заботливо удаляли, ни за что мне не веря, будто я могу сидеть, «как в рот воды набравши». Тогда я пошел на хитрость: задолго до начала урока потихоньку забирался в заветную комнату, где что-то читали и учили втайне от меня, залезал под широкий и длинный учебный стол и высиживал там часами, ни разу не кашлянув, не чихнув и не шевельнувшись. Память у меня оказалась редкая, что-то вроде «абсолютного слуха» в музыке; скоро я, не умевший читать, «с голоса» запоминал почти всё, что старшим объясняли и задавали, особенно стихи, и мог бы даже сестер поправлять или даже им подсказывать там, где они спотыкались. Но переполненный всем этим багажом, я удержать его в себе уже не мог, и как-то раз, когда сестер заставили шегольнуть своими знаниями в обществе родных и близких друзей, я пришел в азарт и вступил с ними в соревнование. Успех я имел превеликий, но еще больше было всеобщее недоумение: откуда у неумеющего читать малыша могло «всё это взяться», вплоть до длинных стихов

Пушкина? Удовлетворительного ответа я дать не мог. Тут стали обращать внимание на то, что в часы уроков я где-то куда-то исчезаю; начали догадываться и, наконец, меня «открыли» и торжественно, с хохотом извлекли из-под стола. Тут уж и мне было разрешено присутствовать тоже на уроках, но чинно и молчаливо. После этого, однако, охота моя к их слушанию сильно охладела. Запретный плод был слаще.

Волга в моем детстве играла огромную роль, — впоследствии думая о ней, я не раз мысленно сравнивал ее с той ролью, которую играла она в младенчестве самого русского народа. Не повторял ли я в своей «маленькой жизни», в миниатюре, его больших судеб, его поисков, блужданий и скитаний?

Я рос в значительной мере беспризорным, предприимчивым, своевольным бродягой.

Пара весел, лодка, несколько удилиц были моей хартией вольностей. Забежав на кухню, я получал старый котелок, краюху хлеба, две-три луковицы, побольше картошки и еще — вот что легко забывалось, и о чем ни за что не надо было забыть — маленький сверточек соли. Рыбы я налавливал вдоволь, предаваясь этому занятию с редким фанатизмом и даже, кажется, воображая, что в нем не имею себе равных. Уха выходила у меня крепкая, наварная, костер весело трещал под котелком, а в оставшейся после костра горячей золе свежеспеченный картофель был слаще всех яств. Но если клёв был хороший, то случалось, что об еде я вообще позабывал и привозил нетронутым домой все матерьялы моей незатейливой кухни. Моим честолюбием было — найти способ излавливать крупную рыбу там, где все довольствовались частым клёвом мелочи. Я в совершенстве изучил способ клёва всех водящихся у нас сортов рыб и обычно по первым же движениям поплавка верно догадывался, с кем имею дело — с жадным ли окунем, с медленным ли линем, ленивым, солидным лещем или сильным и упорным сазаном. Чтобы поспеть к наилучшему клёву, я выезжал с расчетом угодить в излюбленное место задолго до восхода солнца; и там, спрятавшись в тальнике

или камыше, присутствовал при незабываемом таинстве пробуждения от сна непуганной людьми, доверчивой природы. Легкой балериной, едва касаясь листьев кувшинок, пробегала водяная курочка; ухитрившись однажды поймать ее, я узнал ее тайну: у нее почти нет тела, — как будто один пух и перья. Потом выплывала с заботливо снующей молодью осторожная утка. За ними с берега хищно следил длинный, тонкий, грациозный хорек; а когда он принимался играть на солнышке — то грации и легкости его забавных пробежек, кувырканий и прыжков, клянусь, я не знал ничего равного. Но это редкое зрелище надо было подкараулить, и я знал мало людей, которым это удавалось. Вихляясь во все стороны, часто проплывал мимо уж; поднимала любопытно из воды тупую голову черепаха. Ближе к берегу, подстерегая змей и мышей, подходила степенная ежиха, ведя за собой свору своих маленьких, на которых иглы были еще совсем мягки и не серо-стального, а буро-зеленоватого цвета. Рыбная ловля учит двум вещам: бесконечной терпеливой выдержке и величайшему живому чувству природы.

Мне же город был искони душно тесен и неприятен, семейный дом — более чем наполовину чужой. Я был сознательным «бегуном» от них. И вот, теперь я спрашиваю себя: а разве наш народ не был таким же странником, бегуном, «землепроходцем»? Разве не в привольи безлюдного севера, не в горах и лесах Урала, не в степях Понизовья, Закаспия, Сибири развивалась его вольная душа, развertyвалась его фантазия, цвела песня и легенда, крепла «воля вольная», широкий размах души? И то, что переживал я — не было ли глухим, бессознательным отголоском тайного зова родовой жизни?

Но всё это — вопросы, родившиеся после. В детстве я обходился без них, и всё, что могла мне дать Волга, брал просто, свежо без размышлений и рефлексии.

Какое это было счастье — улизнуть из стен скучного, неприятного дома, после сумерек забраться в большую лодку, выехать на середину реки и отдаться на волю ее мощного

течения, фантазируя о том, что может быть нас и несет как раз сейчас над занесенными речным песком дворцами и гробницами хазарских владык, полными тайн и несметных богатств, о сокрытии которых отводом реки из ее прежнего русла я слышал поразившую мое воображение легенду? А в полнолунную ночь что могло быть лучше, как очарованно любоваться феерическим колдовством месяца, наискось, через всю ширь реки бросавшего блистательную, едва вздрагивающую и колеблющуюся по краям серебряную дорогу? А какое чувство невообразимой бодрости вливалось в сердце, когда большой четырехугольный парус выпукло надувался ветром и нес против течения, заставляя мелькать поспешно и убегать куда-то назад берега, деревья, поля, дома, колокольни церквей!

Но Волга не всегда баловала не всегда послушно служила. Спокойная и волшебная тихой ночью, она становилась суровой и грозной, когда на нее налетала м о р я н а. Так звался у нас упористый, обычно многодневный ветер с моря, «с Каспия широкого». Он дул с юга, но не по-южному. Он вздымал разгневанную Волгу дыбом, вспенивал срывами «беляков» гребни разгуливающих по ней бурунов. Волга принималась буйнить не на шутку: расшатывала и разрывала скрепы огромных, шедших с верховий Камы плотов и разметывала во все стороны их длинные увесистые бревна, словно палочки. «Перевозные» пароходы, поддерживающие связь между горной и луговой сторонами реки, частенько предпочитали в такие дни не подвергаться опасной боковой качке и благополучно отстаиваться там, где застала непогода, в том расчете, что моряна часто улегается к вечеру, чтобы с утра снова засвистать и расшуметься с новой силой. Даже пассажирские пароходы, опасаясь, как бы их не ударило внезапно о пристань при подходе, часто искали какого-нибудь слегка защищенного заворотом реки места и отстаивались там на всех своих якорях.

Однажды я с двумя спутниками едва не погиб, застигнутый моряною «на той стороне», куда мы забрались для очередных рыболовных подвигов. У меня как-то всегда выходило,

что товарищами моими по похождениям были младшие, сравнительно со мною, мальчуганы: я был их коноводом, я их вербовал, и они на меня надеялись, как на старшего. В то время мне было без малого 10 лет, а им — одному 9 лет, другому 8. Моряна иногда налетает внезапно, оповестив о себе опытного глазу появившейся на юге и начинавшей приближаться вдоль речной поверхности темно-серой полосой. Ее я во-время заметил, и мы спешно вернулись, рассудив лучше перебраться домой на «перевозе». Но перевоз в этот день не пошел вовсе. Нам не повезло. Моряна разыгралась во-всю. Подавив в себе досаду, мы решили быть благоразумными и «ждать у моря погоды». И тут-то, как нарочно, из кустов вышли и направились к своей полувыващенной на песок лодке четверо здоровеннейших волгарей-рыбаков. Люди, видимо, были не робкого десятка и всякого рода виды выдвали: им было не в диво перемахнуть в шторм на ту сторону реки парусом, на крепость которого они уповали всецело. Один из них, видя наши завистливые взгляды, вдруг сказал — может быть, наполовину в шутку: «А ну, ребята, хотите — айда с нами, возьмем и вас на причал и конец делу!» За такое соблазнительное предложение мы не могли не ухватиться с восторгом. Старший из волгарей был явно недоволен: он что-то ворчливо выговаривал остальным; те как-будто замялись, но предложение было уже сделано и принято; отступать им мешала, видно, самоуверенная гордость да русское «авось и небось». Сказано — сделано: с носа нашей лодки причал был прикреплен к ним на корму, парус развернут. И тут все пошло молниеносным темпом. Парус упруго выгнулся вперед, набрал ветра, и нас стремительно понесло; берег быстро уплывал куда-то назад; нам было восторженно-весело, как вдруг над самыми нашими ушами раздался точно громовой пушечный выстрел. То лопнул пополам, не выдержав двойной тяги, хваленый парус. Лица волгарей вдруг потемнели. Они быстро переглянулись между собой, и один, кашлянув, крикнул: «Ну, ребята, теперь надо выбирать на веслах. Мы прямо дальше поедem, а вам лучше назад: тут, однако ближе». Наш причал полетел обратно на нос

нашей лодки, и мы оказались брошенными на произвол бушующих и сердито трепавших нашу лодку волн. Я понимал: нам прямо держать назад нельзя, слабо нагруженную лодку опрокинет первый же хороший бурун: надо грести наискось, надо резать носом волну, но в то же время исподволь гнуть к берегу. Объяснить это своему восьмилетнему рулевому я объяснил, но руль у нас был навесной, удобный лишь в тихую погоду; а теперь, как только корму приподымало волной, он только вертелся зря по воздуху. Тогда править приходилось веслами же, а потому грести с перерывами, в полсилы; силы всё-таки были ребячьи. Лодка плясала на волнах, а двигалась ли вперед, или ветром ее относило всё дальше — мы себе не отдавали отчета. Холодком по телу пробежала оторопь: ничего не выходит, одна дорога — ко дну. Я затаил эту мысль, делал вид, что всё в порядке, но, кажется, для моих ребят убедительной бодрость моя не выходила. И вот, один из них, тот, что сидел на «вторых (задних) веслах», вдруг выпустил их из дрожащих рук, принялся креститься и прерывистым голосом нас убеждать, что всё погубило и осталось нам только стать всем троим на колени и молиться Богу; а мой «рулевой» просто залился жалким детским плачем, зовя «маму»... Вспомнив опять, что я старший и за них в ответе, я откликнулся яростными ругательствами и несколько времени отчаянно работал один за всех троих — пока, наконец, они не опомнились и не принялись тоже что-то делать. Сколько прошло времени — не знаю, казалось, что целая вечность. А тут еще через борт всё время переплескивала вода, ее набралось достаточно, ее надо было вычерпывать, а на это не было лишних рук, и я тщетно бросал беглые взгляды кругом — не видно было никого, кто спешил бы на помощь... Казалось, это была уже агония...

Потом мы узнали, что мой отец, обеспокоенный моим отсутствием в такой шторм, увидел в бинокль всё наше приключение с чужим парусом, и спешно послал на «спасательную станцию». Там уже усмотрели нас в подзорную трубу и снарядили на выручку большой бот с надежными гребцами, когда вдруг заметили, что мы (сами того не понимая) счастливо,

хотя и по-черепаши медленно, выбивались к длинной, далеко выдающейся песчаной косе, где прибой по виду сильнее, но всё начинает сулить спасение. Так и было: но когда оставалось спрыгнуть в довольно мелкую воду и протаскать лодку к берегу я вдруг убедился, что руки мои повисли, буквально, как плети, и, хоть убей, больше ни на что не годны. Это была реакция на пережитое и пережитое. Я, очевидно, последние десятки минут работал уже не на мускулах, а только на одних нервах, делавших возможным физически невозможное.

Потом бывало у нас и еще не мало речных приключений, но мы уже подросли, стали сильнее и опытнее, и когда моряна не слишком свирепствовала, нарочно выезжали, хотя и не слишком далеко, чтобы поупражняться в борьбе с нею. Как-то раз мы выбились из беды, хотя шторм налетел на нас ночью, и приходилось держать руль вслепую. Зато один раз только каким-то чудом мы не погибли, зазевавшись и наравшись на «беляну». Беляною называлось пускаемое с камских верховий вниз по течению огромное сооружение из хорошо пригнанного друг к другу тёса, причем его, с удивительным чутьем равновесия, кверху даже расширяли, чтобы больше его пришло не намокшим. Такие грузные гиганты двигались медленно, течение их нагоняло, ударялось о них, разделялось двумя стремнинами по обоим бокам, а третья стремнина, чтобы пройти под дном беляны, шла вертикально вниз коварно затягивавшими в себя водоворотами. Похолодев от опасности, я как-то не думая инстинктивно, как автомат, наставил в упор навстречу летевшей на нас стене сплошного тёса массивное переднее весло, другой конец его обеими руками уперев в борт лодки. Лодку сильно тряхнуло, она черпнула воды, послышался громкий треск, я очутился на дне лодки, а у нас осталось лишь два обломка пополам переломившегося весла. Лодка же, сотрясаясь, жутко шурша и треща, неисповедимыми путями проскользнула-таки вдоль борта беляны — счастливая случайность, стоявшая на границе чуда.

Что еще сказать о наших похождениях? Их отчаянностью

мы щеголяли. В наших местах встречалось не мало невзрачных, сереньких, но опасных своим ядовитым укусом гадюк. Мы от куда-то узнали, что обезвредить их очень просто: надо лишь схватить змею за самый кончик хвоста и сильно тряхнуть в воздухе. Соответственный хрупкий позвонок у нее ломается, и как бы судорожно ни извивалась она всем остальным телом, но головой до схватившей руки она дотянуться никак не может. И вот с видом притворщиков мы торжественно шествовали через весь город, с живой ядовитой пленницей в голой руке, привлекая поодаль сбиравшихся любопытных, с жутким страхом следивших за мельканиями длинного змеиного языка, в котором они хотели видеть смертоносное жало.

Многим обязаны были мы величавой в своем тихом течении и страшной в поединке с бурями реке. У воспитанных ею развивалась понемногу верность глаза, точность движений, сила мускулов, хладнокровие, уверенность в себе и привычка не бояться опасности, но глядеть ей прямо в глаза. В подрастающем поколении детей своих река зарождала, по образу и подобию своему, элементарную стихию упрямой и непокорной воли. Кое-что из этого перепало и на нашу долю — и за это ей вечная наша благодарность. Что вышло бы из нас без нее?

Но не только сама по себе влекла нас Волга. Она развевала перед нами перспективы всё новых и новых сухопутных походов.

Хорошо было, выпрыгнув из лодки, разминаться, устремляясь по левой, луговой стороне реки без цели, без намеченного заранее пути — просто куда глаза глядят, куда манит случайно взор и воображение. Выбирай, что хочешь. Здесь — заросли тальника, где выпугивается из гнезд всякая водная дичь; тут — впадины заросших кувшинчиками и камышами озер с внезапными рыбьими всплесками; а там — густые, густые сенокосы, по которым надо пробираться осторожно: из них как раз нашего брата, зря мнущего траву, умеют хорошо пугнуть «хохлы» — слобожане, которых мы звали казаками: народ гордый и сердитый. Иной раз вдруг раззер-

нется перед тобой новый, по-своему фантастический край: то сплошное необозримое царство серебристого ковыля, высокое и ровное травяное море, то слегка колеблющееся и поблескивающее, то вдруг начинающее ходенём ходить под ветром, с перекатывающимися по нему, словно по настоящему морю, широченными и крутыми валами...

И сколько неожиданных встреч таила в себе эта степь! То поднималось стадо свиней, полуодичавших и никем до времени не хранимых, кроме матерых клыкастых кабанов-вожаков, нечаянно наскочив на которых быстро обращались в постыдное бегство самые самоуверенные наши городские собаки. А там — огромные тяжелые степные птицы, дрофы, что-то вроде диких индюков: для взлета им надо было разбежаться по земле и забрать инерцию движения — так, примерно, как это нужно нынешним аэропланам. Но чем всего магичнее действовала степь, это — просто своей необозримостью, ширью, дух захватывающим простором, тянущим к себе, как тянет иногда даже против воли разверзшаяся внизу пропасть или речной водоворот. Но вместе с тем простор этот рождал неизъяснимое и незабываемое чувство свободного размаха и жадных порывов к каким-то неиспытанным и безграничным возможностям...

А чего стоил вешний или летний полдень в степи, густо напоенный ароматом диких трав и цветов, как будто разнеженных размлевших от жарких приканий солнца! От весеннего воздуха, от медовых ароматов мы под конец изнемогали, шатались, как пьяные, и сваливались под тень кустов, чтобы фантастику жизни сменять на такую же фантастику сновидений. Да степь, это — жаркая сказка природы. Вкусите только ее пряного дыхания — и в душе вашей вечно останется ее зов, которого не заглушат, не изгладят в душе долгие годы, проведенные вдали от нее.

С незапамятных времен мечтательно пели наши старинные протяжные местные песни о том, как «далеко, далеко степь за Волгу вышла» и как «в той степи широкой буйна воля жила». Пели и о том, как влюбленный в эту волю «отчий

дом покидал, расставался с женой, и за Волгой искал т о л ь к о л ь г о т ы одной». Укоряла песня и Волгу за то, что, уходя в безбрежную даль, что-то в ней ища и находя, она ничего из этого не присылала назад: «В тебе простор, в тебе гулять раздолье, а нам тоска, и темь, и подневолье»...

Нераздельно с этими песнями в памяти народа всегда вставала низко склонившаяся над детским изголовьем и тихо покачивающаяся фигурка — маленькая, иссохшая фигурка нашей древней бабушки (она умерла, немного не дожив до полных ста лет) — с пергаментным, изрытым рытвинами морщин лицом. Разматывая бесконечную нить своих воспоминаний, сказки меняя на были, она даже пыталась иногда своим глухим, хриплым и надтреснутым голосом передавать мелодии каких-то мотивов, тут же утопавших в бессильном кашле. И всё-таки в ее дряблом бормотании звучала музыка нашего приманчивого края и красочной эпохи, в которую он слагался и рос.

Я давно знаю: каждая область имеет свою особую печать, свою собственную неуловимую «душу». В ней живет напоенность прошлым, — эхо его, великого и буйного, или приниженного и скорбного. Мое Поволжье ею было бесконечно богато. Нельзя было без особого волнения петь старую, суровую песню понизовой вольницы:

Мы не воры, не разбойнички,
Стеньки Разина мы работнички...
Мы рукою взмахнем — корабель возьмем,
Мы веслом взмахнем — караван собьем,
Кистенем взмахнем — всех врагов побьем,
А ножом взмахнем — всей Москвой тряхнем!

И вот, теперь, через шесть десятков лет, я оглядываюсь назад и вижу:

Я и спутник моих детских лет не были баловнями судьбы — скорее ее пасынками.

Семейная жизнь русской провинции тех времен была не у

нас одних невеселая и наводящая уныние: обычная тирания наверху и забитость, загнанность внизу, были почти неизменным исключением законом.

И не было от них спасения нигде — разве только в широких, для всех открытых объятиях всеобщей матери-природы. И каждый из «подначальных» моих сверстников, помню, не раз предавался мечтам о побеге навсегда из дому, каждый по своему личному вкусу. Один говорил об уходе с каким-нибудь странствующим цирком, другой — с цыганским табором. Один был в мечтах своих работником в рыболовной артели, другой — в охотничьей ватаге, третий — послушником среди монахов. Я, конечно, выбирал рыбачью артель.

Здесь не время и не место предаваться по этому поводу каким-нибудь философствованиям.

Одно ясно: во всеобщности давивших нас семейных неурядиц был какой-то фатум.

Неурядица в семье — сколок с неурядицы в стране.

В семейном произволе и деспотизме — отражение и воспроизведение в малом виде произвола и деспотизма всенародного.

Ломка одного — путь к ломке другого, и обратно.

Детство, отрочество, юность — вехи этой ломки...

Виктор Чернов.

ВЕЧЕР В САН-ФРАНСИСКО

(РАССКАЗ).

Собственно говоря, не знаю, как начать. Сажу в поезде, кругом люди читают только что вышедшие завтрашние газеты, закуривают. Впереди меня студент и студентка — он в клетчатом пиджаке, лицо высокомерно-круглое, спереди одного зуба не хватает (футболист); она — неуязвимая, в мохнатом пальтишке, с блаженно-размазанной губной помадой — целуются. Вот и кондуктор вошел в вагон, дверцы затворяются с пневматической неотвратимостью, где-то в недрах поезда подавленное тиканье — и мы медленно выезжаем из станции, набираем скорость и наконец — шелк-шелк! — отщелкиваем по мосту. «Treasure Island!» Матросы слезают, матросы влезают, кондуктор прокалывает желтенькие картонные прямоугольнички. Впереди меня студентка сладко вздыхает и ныряет щекой в ложбину между плечом студента и глянцевиным ухом его щуря глаза от оранжевых фонарей, что ожесточенно грудью идут на поезд, совсем как те, огромные, круглые, золотые глаза дра — — ...

Нет, ничуть. Вовсе не так. Я прищуриваюсь, быстро моргаю глазами, съеживаюсь на сиденье — (незаметно: а то, что все эти люди подумают обо мне? Но ничего, ведь при этом электрическом свете все бледны. Как предупредительно со стороны компании — этак можно и завтрашнюю газету сегодня почитать).

Разумно и целесообразно. «Завтра, завтра, не сегодня — так ленивцы говорят». Завтра, быть может, уже нельзя будет — судьба напроказит, планы могут измениться, мало ли чего

не случается? Торопитесь, торопитесь, господа, читайте быстрее, прожорливые пробегатели газет, освещение вполне приличное, и поезд почти не трясет. Пожирайте новости моды, передовые статьи (пожирайте? Зачем я употребила это ужасное...), узнайте, что случилось с Терри и его пиратами, — быть может, вы никогда уже не увидите продолжения. Читайте же эти недоношенные газеты, превращайте завтра в сегодня, ибо завтра у вас не будет никакого сегодня... В конце концов, разве это так уже нелепо только потому, что всё началось в каком-то захудалом театрике, где большинство из вас никогда и не было?

Я и сама не знаю, что дернуло меня зайти туда. Так, приключения. Делать было нечего, домой, через бухту в Берклей как-то еще не хотелось. В театре — шумливые, шуршащие и грызущие зрители. Избитые номера на сцене. Но стены были чудесные: распластавшиеся, вульгарные драконы с пыльными, пресыщенными телами, среди облаков похожих на мятую марлю. И, по обе стороны сцены, еще два коричнево-красных, с осыпающейся позолотой, дракона из папье-маше, в виде барельефа. Сознаюсь, я разглядывала их с удовольствием. Сделаны они были грубо, но с задором и воображением. В каждой мелочи разнились друг от друга. Например, тот, слева...

И я бессмысленно уставилась на него — дракон слева медленно моргнул. Раз. Два. Какой-то мускул в углу челюсти (впрочем, какая у дракона моторная система?) — ну, всё равно: складка кожи, бугорочек какой-то — вздрогнул. И глаза моргнули опять, на этот раз быстрее: раз, два, три.

Не думаю, чтобы кто-нибудь это по началу даже заметил. На сцене были два комика. Один одет бролягой, «Эх, брат, не сладко мне приходилось во время войны — за каждую подачку изволь-ка выкарманивать им красненькие да синенькие талоны. Вот я и говорю...», и чернозубый хохот, подымая на дыбы помидористый нос его, перепрыгивал от зрителя к зрителю, собирая хихикающие хлопки и хлопья, и, эхом раскатившись по галерке, прокатил обратно над нашими головами — огромный, толстый ком хохота, который дру-

гой комик, одетый фокусником, ловко подхватил и бросил себе в шапку, откуда, пошипев, он вынырнул в конце концов фатоватым, хотя и подпорченным молью кроликом.

Но тут дракон весь как-то подернулся рябью — старался крыльями пошевелить — и кто-то недалеко от сцены увидел его и ахнул, а дракон повертел одним пальцем ноги пренебрежительно, как кошка, что ненароком угодила лапой в лужу, и тут две женщины взвизгнули, и актеры были совсем забыты. Но все, должно быть, решили, что это просто часть номера, потому что, когда дракон осторожно, с заметным усилием, закрыл пасть и потом опять раскрыл ее, какой-то дюжий матрос кинул ему горсть орехов. Дракон сверкнул блестящими зубами, крякнул, орехи скрылись из виду.

Медленно я привстала на месте. Часть номера, да? Медленно я попятилась к выходу. Я заметила, что комиков уже не было на сцене. Но дракон всё рос и рос, жорчась, извиваясь, вытягивая крылья, которые поскрипывали слегка, как ненюшенные сапоги, вращая шеей, пуча свои бесстрастные золотые глаза на зрителей. И вдруг тупорылая голова метнулась вперед. Целую вечность маячил в дымном мраке под потолком лоснящийся мясистый красный язык, и какая-то старуха завизжала, икнула, морщинойстой, желтой рукой попыталась ухватиться за люстру и скрылась, точно так же, как и орехи, сопровождаемая тем же неодобрительным побрякиванием.

Идти медленно, не бежать, к ближайшему выходу. Я пошла. Пятясь. Гм, это надо обдумать, это надо... обдумать? Я вылетела в дверь, бросилась через улицу, увертываясь от трамваев и такси. «Осторожно!» Неужели никто не знает? Но уже народ валил из театра — стекло радостно звенело, отряхивая солнечные осколки, — прыщавый газетчик взвыл и нырнул с тротуара, прямо под колеса такси, который как раз отъезжал, и воскресные газеты, плавно кружась, покрыли его пестрым саваном. Подбежало несколько полицейских.

Сначала, разумеется, старались наладить всё без шума. «Не волнуйтесь, господа, всё в порядке». С Market Street вывели народ. В дорогом ресторане учтивый мэтр-д-отель

говорил: «Извините, сударыня, не займете ли вы снова ваше место и не выпьете ли еще чашку кофе — за наш счет — пока на улице всё не придет в порядок?»

Воздетые вилки с пристойно-небольшими кусочками рыбы застыли в воздухе. «Виноват, больше нет столиков. Виноват, всё полно. Простите, сударь, мы не можем вас впустить — здесь всё и так набито. Не ломитесь! Не ломитесь, говорят вам! Идите в какой-нибудь другой ресторан!» Он усиливается повернуть ключ в замке. В чем дело? Вот, наконец!

Я протолкалась в маленькое кафэ на следующем углу, но на полпути в глубину зала толпа закружилась, пустила меня волчком и вынесла опять на улицу. Опрокинулся столик, моя нога попала в какое-то липкое сладкое месиво. Из угла послышался захлебывающийся стон. Я кинула взгляд через плечо и увидела, как сверкнул красно-золотой панцырь.

Опять на Market Street сирены, мотоциклетки. Изящными морскими звездами зияли дыры в витринах. Сломанный уличный фонарь. Плюнуть на всё. Домой, в Берклей!

Берклей расположен на восточном берегу Сан-Франциско-ской бухты. Почти отовсюду в городе открывается восхитительный вид на бухту и город Сан-Франциско, на окрестные равнины и горы, на Тихий Океан и на Золотые Ворота. Климат в Берклей круглый год весьма подходящий для академической работы. В отличие от других местностей, крайние колебания температуры совершенно неизвестны в Берклей. Средняя температура в зимние месяцы — около 53 градусов Фаренгейта; в мае, июне и июле — около 60. Средние годовые осадки — 24 дюйма. Почти половина туманных дней приходится на летние месяцы... И 35 минут езды от Сан-Франциско электрическим поездом...

Одинокий трамвай неуверенно двигался по Market Street. Я кинулась за ним, вскочила, железный поручень сбжег руку. Легкий крен, судорожный глоток воздуха. Внутри и на площадке — плотно сдвинутые физиономии. «Жетоны... четвертак, вот». Рука застыла над моей. Я посмотрела на кондуктора. Он стоял, беспечный. Металлическая касса мерно

хлопала его по тощему животу. Глаза прищуренные, обдумывающие. Углы лягушачьих губ вздрогнули. «Пересадочный?», с придыханием выговорил он. (Особое одолжение вам. Вы, знаете, мы оказываем его только в известных случаях...) В мою ладонь упали три жетона. И — вдруг, мол, вспомнил — ключ. Я взглянула. Показалось это мне — или его глаза блеснули? Один жадный зуб закусил дряблую нижнюю губу. «Накгауз», сказал он небрежно и шелкнул металлической каской. Трамвай свернул с Market Street. «Вон там», — он дернул подбородком. Грязное кирпичное здание. На стене обшарпанный плакат — ухарски торчащая из улыбающегося рта папироса: «Они дают удовлетворение». Я ясно представила себе его нутро. Внизу — лавка: сувениры, марки, дешевые ювелирные изделия, планы города, скабрзные и юмористические журналы. На втором этаже, пожалуй, склад театральной бутафории — пыльный свет скользит сквозь закрытые ставни перебирая маски тигров и гавайские камышевые юбочки, обнаруживая сырые, тараканьего цвета трещины в половицах. И еще выше, вверх по узкой, плохо освещенной лестнице, — осторожно, не стукнитесь головой об этот шлем! — импортно-экспортная контора: чемоданчики с образцами, наваленные кое-как в углу, запах чая и опилок, шорох в ржавых трубах радиатора под окном, где чей-то скушающий палец начертил в бесценной пыли сетку для крестиков и ноликов.

Я слезла с трамвая, медленно прошла — стоит? не стоит? мимо здания, приостановилась, постояла, отошла несколько шагов назад и... бросилась бежать — о, хитрая, я ведь знала! — к площади перед вокзалом.

Там — военное положение. Распорядительность полиции — выше всякой похвалы. Блиндажи на каждом углу. Зенитные орудия. Пулеметы охраняют вход на вокзал. Я присоединяюсь к запуганной кучке людей, укрывающихся за наскоро возведенной баррикадой из мешков с песком. Золотисто-серые песчинки победно струились из недошитого шва. Нам наказали: перебегайте по-двое, по-трое через площадь к вокзалу.

Полицейский надзиратель показал пальцем вверх, в вечеряющее небо. Мы увидели: над нами кружили...

Их уже было три.

Старательно я разгладила лужицу песка носком башмака.

Какой-то мужчина с мальчиком ринулись через площадь замелькали локти. Длительный, пронзительный нырок в небе — один короткий, почти прозрачный осколок времени — и что-то маленькое, пятнисто-бурое взлетело и скрылось опять в небе, а мальчик споткнулся, но всё бежал, бежал, и вокзал наконец вобрал его в себя, и только легкий алый узор на мостовой обозначил его путь.

Собственно говоря, больше не о чем и рассказывать. Отрывочные фразы — и упорно засевшая у меня в голове картина: дракон в той импортно-экспортной конторе, темный, огромный, на досуге наедающийся и представляющий своим дитенышам охотиться на площади. Но всё это было смутно, туманно. Мне было всё равно.

Моя очередь бежать через площадь. Я подбежала, вбирая голову в плечи, зигзагом, через эту пустыню, где — сколько ни видел глаз — ...

Каблуки мои застучали по каменному полу вокзала, промелькнул и скрылся газетный киоск — куда? Ничего, неважно... и вот я уже бегу по платформе, вот стоит берклейский поезд, двери еще открыты, две высокие ступеньки... Я прошла через вагон, почти не запыхавшись, и села на свободное сиденье в отделении для курящих.

Ну, вот — кончено. (Видите, я уже совсем спокойна).

Действительно, мы едем через мост и будем в Берклей — минут так через двадцать. В точности по расписанию, всё дальше и дальше...

Вон тот фонарь — он моргнул? Почему мы замедляем ход?..

Мария Кригер.

КОЛОДЕЦ ДИАНЫ В МЮНХЕНЕ.

Виктору Б

Окончен год бессонницы и слез.
И в городе большом, веселом, старом,
Брожу в садах по колеям колес,
И над зеленым матовым Изаром

Стою, застыв надолго на мосту,
Там, над водой оттенка скарабея.
И наконец, припомнив, чуть робея,
Иду отыскивать статую ту,

Ту узкобедрую, почти без груди,
Благословляющую водоём,
Где мы когда-то медлили вдвоем,
Прося ее о молчаливом чуде.

Там яшень светлую раскинул сень,
И каменные кроткие косули
У ног богини чутко прикурнули,
И длится ветренный погожий день.

Вот на скамье прохладной я одна,
И кровь моя стучит немым напевом:
Всё, что в душе взывает муть со дна,
Что обладает беспамятством и гневом,

Что жжет еще, как сыпь в жару, в кори —
Всё отстоит, в звуки отольется,
И ясным станет глубоко внутри,
Как ясень у Дианина колодца.

О. Анстей.

* *
*

Видно, дела плохи
Великолепной эпохи:
Полицейские атташе
При каждой живой душе.

А ведь была ж когда-то
Без кляпа во рту душа
У обезьяны мохнатой,
Вышедшей из шалаша,

Прислушивающейся к дебрям,
Таящейся у жорчаг,
В единоборстве с вепрем
Отстаивающей очаг!

А ведь была ж обила
У глядящего из-под лба,
Воздвигавшего пирамиды
Египетского раба!

И вера была — зная!
Раскольничий пол с костра
Просовывал сквозь пламя
Мятежные два перста!

Нел — на костре скорчась!
Слушай — сегодняшний, ты!
Где же твоя гордость?
Где же твои персты?

Нас раскидала по волнам,
По разным пристаням Рассея,
И долго будет небо нам
Железным небом Одиссея.

И океан под нами смят,
И гибнуть нам, как древним грекам...
Как боги хаоса шумят
Над концентрационным веком!

Мы вновь у них перед судом,
Мы — к ним попавшие в немилость,
С тех пор, как в наш высокий дом
Их злая молния вломилась.

Иван Елагин.

1.

Лунатик в пустоту глядит.
Сиянье им руководит,
 Чернеет гибель снизу.
И даже угадать нельзя,
Куда он движется, скользя
 По лунному карнизу.
Расстреливают палачи
Невинных в мировой ночи:
 Не обращай вниманья.

Гляди в холодное ничто,
В сияньи постигая то,
Что выше пониманья.

2.

Воскресают мертвецы,
Наши деды и отцы,
Пращурь и предки.
Рвутся к жизни, как птенцы
Из постылой клетки.

Вымирают города,
Мужики и господа,
Старички и детки.

И глядит на мир звезда
Сквозь сухие ветки.

3.

В тишине вздохнула жаба,
Из калитки вышла баба
В ситцевом платке.

Сердце бьется слабо, слабо,
Словно вдалеке.

В светлом небе пусто, пусто.
Как ядреная капуста,
Катится луна.

И бессмыслица искусства
Вся насквозь видна.

4.

Все **еще** дышу, люблю,
Многое **еще** стерплю.

Но о том, зачем дышу,
Ямбами не напишу.
Но того, кого люблю,
Музыкой не оскорблю.

5.

Что-то сбудется, что-то не сбудется.
Перемелется все, позабудется.
Но останется эта вот рыжая
У заборной калитки трава.

...Если плещется где-то Нева,
Если к ней долетают слова,
Это вам говорю из Парижа я
То, что сам понимаю едва.

Георгий Иванов.

1948.

НЕЖНОСТЬ.

Нежность душная сердце жжет
Ко всему, что живет и дышет,
Норы роет и гнезда вьет,
Плод лелеет и лист колышет.

Так и взял бы весь мир себе,
Крепко к сердцу прижал, ликуя!
Только в нищей моей судьбе
Где мне силу найти такую?

Знаю: после, когда я сам
Перестану быть только тленьем,
Этим сладким моим мечтам
Отыщу я осуществленье.

А пока... А пока я здесь
Обречен лишь внимать и видеть,
Хлеб украденный молча есть,
Огорчаться и ненавидеть...

Отпусти же меня скорей
В тишину Твоей звездной рощи,
Где заветной мечты моей
Ничего нет легче и проще!

* *
*

Легкокрылым Гением ведомы,
Улетели птицы за моря.
Почему же мы с тобою дома
Этим хмурым утром ноября?!

Может, нужно было взять котомку,
Палку, флягу, пару верных книг,
И пуститься ласточкам вдогонку,
Через лес и поле напрямик.

Только тем, кто медлят, невозможно
Причаститься радостей земли!
Через все шлагбаумы, все таможни,
Невидимками бы мы прошли!

И наверно-б вышли мы с тобою
Завтра утром к розовым камням,
Тонким пальмам, пенному прибою
Золотым, благословенным дням.

И наверно самой полной мерой
Было-б нам, дерзнувшим, воздано
За крупицу настоящей веры,
За одно горчичное зерно.

Мария!
(Иоан. 20. 16).

Моя душа — что мироносица
Перед разверстою гробницей:
К заветнейшему чуду просится
И лицезреть его боятся.

О, маловерная! Проникнуты
Боязнью все твои стремленья!
И если-б не была окликнута
Ты не упала-б на колени!

Дм. Кленовский.

Дул с моря ветер. Пальмы шелестели,
И гул стоял в разбуженном саду.
И надрываясь петухи пропели,
Что близок полдень, — полдень наш в аду.
И ты пришел, и ревностью, и мукой
Тот летний день, как ядом, напоил.
Жег пожелуй заломленные руки,
И долгий взгляд искал и холодил.

И тяжба длилась. И, непоправимо
Разъединяя, падали слова...
Стих ветер. Ураган промчался мимо,
Лишь сломанная ветка и трава
Измятая о нем еще твердили.
Да мы с тобой, в молчаньи ледяном,
Навек чужие, эту пытку дили
Сверкающим, уже смиренным днем.

Екатерина Таубер.

СОВЕТСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ *)

ОПАСНАЯ АНАЛОГИЯ.

В политике, как и в психологии, самая большая опасность — чрезмерное упрощение. В нашей эмигрантской среде она распространена не меньше, чем в Советском Союзе. Коммунисты упрощают всё в целях пропаганды, значительная часть эмиграции — из-за того комплекса, который так метко называют *wishfull thinking*. Первые утверждают, что молодежь проникнута большевистским энтузиазмом, вторые — что она молится на алтарь демократических свобод (или национальных идеалов и т. д.).

Эти упрощения меня чрезвычайно беспокоят. Они примитивны и опасны. Большинство нашей эмиграции пошло по тому роковому пути, по которому в свое время пошла та часть русской эмиграции, главным образом, в Германии, которая уверила немецкие нац.-социалистические круги, что достаточно тронуть Советскую Россию пальцем, чтобы там вспыхнула революция и советская государственная машина развалилась, как карточный домик.

Конечно, никто из русских эмигрантов в то время не думал о превращении России в немецкую колонию. Но нет сомнения в том, что именно под влиянием этих утверждений Гитлер сделал свой роковой вывод: если, в случае толчка извне, в России начнется контр-революция, анархия, резня и

*) Печатаемая нами статья проф. О. В. Анисимова представляет собою попытку наметить некоторые основные черты психологии «среднего советского человека» (с иной точки зрения и в международном аспекте, той же темы касается и появляющаяся в этом же номере статья М. М. Корякова). Едва ли нужно доказывать огромное значение этого вопроса для правильного подхода к проблеме будущей судьбы России. Страницы «Нового Журнала» открыты для всякого компетентного его обсуждения, хотя бы отдельные утверждения автора и могли представляться спорными.

проч., с ней будет легко справиться, и с русскими, как с нацией, незачем считаться.

Многие беседы, которые я имел с ответственными чиновниками немецких оккупационных властей, меня убедили в этом еще в 1941 году. Трагически погибший в 1944 году Митрополит Сергей рассказывал мне, что руководитель Гестапо в Прибалтике в сердцах спросил его в 1942 году, когда немецкая армия начала терпеть серьезные неудачи:

— Где же эта, обещанная вами, национальная революция, о которой все вы нам постоянно твердили до войны в Берлине?

Пусть Гитлер из утверждений части нашей эмиграции сделал не те выводы, какие ему хотели внушить. Соблазн ошибки таился в тех примитивно-упрощенных утверждениях о русском человеке, которым мы так грешим по сегодняшний день.

ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕМЕНА.

Я приведу один характерный эпизод, который мне сообщил один из старших офицеров власовских частей, полковник С. Одна из смешанных власовских частей, состоявшая из «новых» и «старых», попала вскоре после капитуляции в Италии в советский репатриационный лагерь. После некоторых колебаний, английский офицер, который передал ее советской военной миссии, разрешил советскому майору задерживать всех «своих», т. е. бывших советских подданных, а всех нансенистов попросил передать английским военным властям. Ни у одного из солдат не было документов, так что советский офицер не мог доказать, кто были его люди. И тем не менее, в течение 20-ти минут он безошибочно отобрал своих людей по внешнему виду; за исключением восьми человек, все остальные признались в том, что они советские подданные.

Выражаясь банально, можно было бы сказать, что советский строй налагает печать известной стандартизации. Говорю это не в хулу. И добавлю, что какую-то печать любое окружение налагает на каждого человека; но необходимо определить специфику советской атмосферы для того, чтобы распутать тот сложный психологический — а следовательно, и политический — клубок, который туманно и неопределенно называют «советской» психологией или «советским» мироощущением.

СССР никак нельзя назвать страной, способствующей той культурной и умственной дифференциации, которая характеризует индивидуализм до-революционной эпохи. В СССР

есть по существу только один огромный вопрос, оттесняющий все остальные на задний план, — вопрос об отношениях отдельного человека с государством. Эти отношения могут быть либо положительными — в таком случае человек должен исповедовать марксизм, либо отрицательным (разумеется, тайно) — в таком случае свержение советского режима полицейской диктатуры становится вашей основной мыслью, всё остальное приобретает третьестепенное значение. Заостренность и безоговорочное господство политического момента стирают все полутона и способствуют проявлению некоторой духовной, да и внешней, стандартизации. Дискуссии на философские, политические и моральные темы, даже в кругу друзей, имеют очень относительный смысл, так как не только проповедывать, но даже исповедывать свои взгляды нельзя, если они не соответствуют официальной линии. Выбор ограничен между громким «да» и тайным «нет». Всё остальное нереально, пока существует строй, предписывающий каждому гражданину его поступки, слова и мысли.

Эта политическая полярированность советской жизни выдвигает на первый план «делание», а не «думание». И это естественно и неизбежно. Если вы правоверный марксист, особенно задумываться о чем бы то ни было, кроме чисто практических вопросов, не приходится, так как на все основные политические, экономические и философские вопросы у Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина есть готовый ответ. Если же вы — тайный оппозиционер, то ваша первая задача — создать условия, при которых можно, а главное, стоит, думать, то есть задача революционная. Этим объясняется большой успех, который имела во власовских кругах проповедь непредрешенчества.

Эта действенная устремленность выросшего в России поколения, без сомнения, имеет большие достоинства, но она часто ведет к большой односторонности, на которой я остаюсь ниже.

Во время войны я беседовал с сотнями молодых власовцев, у которых было самое смутное представление о том, какой порядок должен быть установлен в России после свержения Сталина. В Пражском манифесте говорилось об установлении в России национально-трудового строя, но о том, что это должно было значить, у всех было самое смутное представление. У всех, однако, было твердое убеждение, что советская власть — власть несправедливая, и что, значит, нужно ее свергнуть и заменить чем-то лучшим. На борьбу с ней

они принесли Власову единственный скромный дар, который они могли дать России, — свою жизнь.

ИЗВРАЩЕНИЕ ИДЕИ ПРАВА.

Не так давно один небезызвестный русский журналист Ди-Пи поведал мне, что американские власти в Мюнхене предупредили генерала Т. о том, что в Мюнхен из советской зоны приехал известный коммунистический террорист. Генералу Т., человеку активному, власти посоветовали быть настороже. Возмущению моего собеседника американцами не было предела. «Вместо того, чтобы посадить этого гада за решетку», негодовал мой собеседник, «они предупреждают, что он может совершить террористический акт, и советуют генералу Т. быть на-чеку. Нет, вы только подумайте!» Затем по адресу американских властей посыпались эпитеты, которые повторять я не решаюсь. В ответ на мое возражение, что невозможно же арестовать человека, не совершившего по американским законам никакого преступления, последовал перечень преступлений, совершенных Советами против всех человеческих законов. И, конечно, менее кого бы то ни было, я собирался защищать Сталина. Тем не менее, мой анти-сталинский оппонент сильно заподозрил меня в тайных симпатиях, или, по крайней мере, снисходительном отношении к советской власти. И я уверен, что он не только возмущился бы, но и вообще не понял бы меня, если бы я ему сказал, что не я, а он, сам того не подозревая, защищал советские порядки, на которые я-то как раз и обрушился.

Этот маленький эпизод — один из многих тысяч, которые я мог бы привести, — яркая иллюстрация того, какие глубокие корни советские навыки и метод — пустили в СССР, в области права и юридического мышления. Это значительно большая опасность, чем влияние экономических или политических идей Маркса.

Право, в том понимании, которое выкристаллизовалось в Европе и укрепилось в сознании современного человека, это — прежде всего — форма. «Убийство по политическим мотивам есть преступление, наказуемое законом» — правовая формула, соответствующая нашему правосознанию, потому что она основана на идее равенства всех людей перед законом, независимо от их взглядов, убеждений и мнений, равенства, без которого мы не мыслим справедливости. Смягчающие или отягчающие вину обстоятельства являются лишь некоторой

поправкой на специфику каждого отдельного случая, отнюдь не нарушением незыблемого основного принципа. Основная рамка одинакова для всех.

Всякая попытка наполнить идею права каким-то политическим содержанием есть грубое нарушение того, что в понимании современного человека является справедливостью. Этим пониманием справедливости мы должны дорожить, ибо оно — единственный залог победы свободы над тиранией. Когда правосудие стран Восточного блока начинает утверждать, что если «левый» убил «правого», то это — «революционная бдительность», а если «правый» — «левого», то это — «вызов трудящимся всего мира», оно наполняет понятие права политическим содержанием, превращая правосудие в отвратительный фарс.

Не менее недопустимо, однако, и обратное явление вроде того, которое наблюдается, например, в Испании. Я, конечно, допускаю, что количественно на совести Сталина больше крови, чем на совести Франко. Но не это существенно. Не количество — фактор — число жертв, а качество, — извращение самого понятия права и подмена его политическим содержанием — грозит нам воцарением нового варварства.

Я не могу назвать это вытеснение чисто формального права политическим содержанием специфически советским. Национал-социализм тоже отбросил формальное право, судил своих противников в пресловутых народных судах и подменил право национал-социалистическим сознанием, как коммунизм подменил его «революционной совестью» (термин, имевший в советской судебной практике совершенно официальное признание). Но несомненно то, что именно в Советском Союзе последовательно и сознательно в понимание молодежи внедряется идея необходимости заменить «буржуазное» формальное право «прогрессивным» политическим содержанием. Внедряется, как новое слово, пришедшее на смену старомодной юридической формалистике капиталистических стран.

Эта замена происходит так незаметно, и апологеты ее строят свою систему правовых извращений так искусно, что союзники в Германии, к ужасу всех искренних демократов, тоже пошли по этому пути. Философия этого нового права очень проста: капиталисты (или национал-социалисты и т. д.) совершили столько преступлений, что каждый без исключения, причастный к их системе, подлежит наказанию. Выно-

сится а п р и о р н ы й к о л л е к т и в н ы й п р и г о в о р, который и является ловко замаскированным нарушением основ нашего права, ибо он выносится не на основании судебного разбирательства, а на основании какой-то, всегда спорной, политической теории. После этого на самом судебном процессе можно, а в целях пропаганды и должно, соблюдать всю процедуру формального судопроизводства. Нарушение основ правосудия совершается в политической предпосылке к процессу, и не многие ее замечают. Тут самая благодарная почва для всевозможных политических авантур, и прежде всего для тоталитаризмов и вождизмов всевозможных окрасок, потому что подрывается идея права, которая заменяется изменчивым политическим содержанием.

Для подлинно демократически мыслящих людей, Нюренбергский процесс был пощечиной. И не потому, что вожди национал-социалистической Германии не были достойны того наказания, которое они понесли. Но мы ожидали, что приговор произнесет мировая совесть, а вместо этого нам преподнесли хорошо знакомую по тоталитарной практике картину суда победителя над побежденным, и что хуже всего, — с вопиющим нарушением принципов современного судопроизводства. Вопреки принципам Монтескье, нюренбергский суд взял на себя законодательные функции и до судопроизводства и без судебного разбора а priori установил коллективную ответственность всех участников целого ряда организаций, причастных к нац.-соц. партии. Мы предпочли бы военно-полевой суд этому грубому нарушению тех правовых норм, которые являются единственной гарантией истинной демократичности. Мало кто отдает себе сегодня отчет в том, какой это был удар по идее демократии и какую роковую путаницу он внес в правосознание среднего европейца.

Я взял этот последний пример, имеющий лишь косвенное отношение к Советскому Союзу (поскольку советские представители участвовали в процессе), для того, чтобы показать, как шатки наши понятия о праве, как легко мы его заменяем политическим содержанием. А в Советском Союзе до формального понимания права, — по моему глубочайшему убеждению, единственной гарантии возможности установления истинной демократии, — еще очень и очень далеко. В англо-саксонских странах идея формального права не только глубоко укоренилась в народе, но давно уже перестала быть юридической отвлеченностью. Она превратилась в народную легенду, так сказать, воплотилась во всеми высоко почитае-

мую национальную реальность. Идеал права, это — Гемплен и Пим, заключенные в тюрьму за отказ платить налог, незаконно взимаемый королем, без согласия парламента. Конкретное содержание возникшего конфликта, вопрос: нужен или не нужен установленный королем налог, играл в глазах большинства их современников — совершенно третьестепенное значение. Право это — *habeas corpus act* позволяющий англо-саксу не бояться полиции, если совесть его чиста. Право это — бостонское восстание против несправедливых налогов, приведшее к созданию великой Заокеанской Республики.

Ничего похожего никогда не существовало в России. Я отнюдь не хочу этим сказать, что русский народ менее других народов наделен чувством справедливости. Во время войны я тысячу раз слышал от простых мужиков и рабочих в оккупационных областях те же слова: «Что немцы всё отбирают, так это понятно. Война. А вот плохо, что на наш народ несправедливо смотрят, так у них дело не пойдет».

Но русскому человеку, глубокому индивидуалисту, мало свойственно воплощать свое стремление к справедливости в организационные или государственные формы. Идея личного подвига нам всегда была ближе стремлению установить справедливый государственный строй. Нам казалось важнее спасти свою душу, чем тело соседа. И в государственных делах вера в политическую формулу часто была значительно сильнее уважения к идее права.

Во время последней войны, когда немецкие власти разрешили власовцам вести пропаганду среди советских военнопленных, наиболее простые политические формулировки имели наибольший успех. Среднему бойцу была, например, очень понятна пользовавшаяся в то время значительным успехом формулировка солидаристов, которая — беру грубо — понималась таким образом:

В России власть захватила партия злодеев во главе со «злым дядей», Джугашвили-Сталиным. Эти люди не любят Россию и стремятся лишь к неограниченной власти. Их нужно выгнать, дать власть партии хороших людей, которые любят Россию, во главе с «добрым дядей». Да не подумает читатель, что я шушу! Конечно, я схематизирую достаточно грубо, но по л и т и ч е с к а я подкладка часто была именно такая. Я оставляю в стороне экономическую и социальную часть программы.

Убедительность этой схемы в том и заключалась, что она

была ясна, проста и что, главное, не заставляла мыслить иными категориями, не заставляла переходить на трудную своей абстрактностью идею права, а оставалась в плоскости политики и человеческой психологии. Тут было 100 процентов политического содержания, и никаких формальных и правовых умствований, т. е. то, что живет в подсознании среднего обывателя СССР, как одна из привычных норм советского, пронизанного политикой правосознания.

А между тем, ужас именно в том, что даже самые «добрые дяди», если бы они оказались в России у кормила **б е с к о н т р о л ь н о й** власти, неминуемо через несколько лет выродились бы в тиранов. Ведь смысл государственного права не в том, чтобы совершать невозможное: облекать верховной государственной властью самых достойных, а в том, чтобы создать государственную систему, которая не позволила бы даже самому недостойному злоупотреблять своей властью. А это возможно лишь в том случае, если народ, в своей массе, будет защищать идею права против посягательств со стороны носителей верховной власти. До понимания этой азбучной истины, к сожалению, лишенной в России необходимой исторической традиции, еще очень и очень далеко.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ МОРАЛЬ И КАЧЕСТВЕННАЯ ЭТИКА.

Последовательная подмена объективных ценностей политическим содержанием в Советском Союзе не ограничена областью права. Она осуществлена в морали в неменьшей степени, чем в праве. Во время этой войны меня поражала та легкость, с которой коммунисты переходили в лагерь фашизма или национал-социализма. Сейчас же в восточной зоне Германии наблюдается обратный процесс: бывшие национал-социалисты легко переходят в стан коммунистов. И в этом, в сущности, нет ничего удивительного. Оставляя в стороне объяснение, основанное на наличии мотивов самого низкого порядка, — беспринципность, карьеризм, слепое обожание всякой власти — я остановлюсь лишь на одном: на количественном принципе, как коммунистической, так и национал-социалистической морали. Основа тоталитарной морали — я беру самую возвышенную и, так сказать, чисто теоретическую интерпретацию ее — конечное счастье человечества, или, по старой формуле, «наибольшее счастье наибольшего числа людей», при полном отрицании высших, абсолютных

моральных ценностей: нет ничего абсолютно запрещенного. Основа морали — арифметика. Сосчитайте, сколько жертв потребует установление коммунизма (или фашизма и т. д.). Сосчитайте, сколько людей будет в конечном счете осчастливлено и избавлено от болезней, голода, гнета и т. д., и подведите конечный баланс. Добро это — бесклассовое благополучие в будущем счастливом коммунистическом обществе, помноженное на количество осчастливленных граждан. Абсолютных, т. е. качественных, ценностей не существует. Любая моральная проблема решается математически.

Можно ли убивать?

Ответ ясен. Если в результате убийства n эксплуататоров вы спасете n плюс одного рабочего, которым грозила гибель от n эксплуататоров, — можно и должно.

Ввиду же того, что каждый эксплуататор поддерживает капитализм и, тем самым, препятствует торжеству коммунизма, он косвенно ответственен за тысячу пролетарских жизней. А так как установление мирового владычества коммунизма принесет миру океан счастья и благополучия, всё, способствующее победе коммунизма, имеет, так сказать, колоссальный заряд положительной морали, что все средства способствующие скорейшему осуществлению коммунизма, заранее оправданы.

Я знал в годы войны очень и очень многих советских граждан, которые искренне отреклись от марксизма и пришли к заключению, что коммунизм — политическое заблуждение. Но, как правило, они не переставали подчинять мораль политике, сами того не замечая, настолько это им казалось естественным. «Мир будет осчастливлен не коммунизмом, а «.....измом» (следует новое политическое слово). Итак отныне нужно делать всё, всё, всё, чтобы обеспечить победу этомуизму!»

В этой количественной морали — выражаясь несколько теологически — великий соблазн.

Если наиболее удачным определением англо-саксов можно считать известную характеристику „a self-made man who adores his creator“ то боюсь, что среднего советского гражданина можно охарактеризовать, как человека, сделанного государством и ищущего свое место в государственном порядке.

Классовый, т. е. политический характер советской морали и отрицание абсолютных ценностей, ведет к тому, что личные отношения между людьми обычно бывают до крайности

обезличенными. Есть что-то досадно «функциональное» в человеческих отношениях в СССР. Цемент, связывающий их, всегда имеет более корпоративный и политический, чем личный характер. В этом подчинении не только правосознания, но и морали политике, я вижу огромную опасность. Мораль, вместо того, чтобы быть тем стабилизирующим грузом, который мог бы удерживать человека от легкомысленных политических авантур, как раз наоборот, помогает подыскивать и находить в политической арифметике полезности оправдание многим этически недопустимым поступкам. Замена качественной этики абсолютных ценностей (священная неповторимость человеческой жизни) количественной моралью политической полезности (жертвы оправданы будущим бесклассовым счастьем) — доказательство изумительной психологической проницательности советского руководства. Удовлетворяя присущую человеку высокую потребность служения и возвышенное стремление чувствовать себя частью чего-то большого, отвечающее лучшим стремлениям нашей души, эта мораль вместе с тем не таит в себе опасности возможного осуждения советской власти, ибо все преступления количественно оправданы тем безмерным будущим счастьем, которое людям принесет мировое торжество коммунизма.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ.

«После национальной революции в России за самое слово «социализм» будут бить морду, так оно всем осточертело», сказал мне один мой знакомый перебежчик, сравнительно недавно перешедший в британскую зону из советского сектора Берлина.

«Но вы ведь сами — убежденный социалист», уверенно возразил я ему, с любопытством следя за выражением его лица и приподняв на всякий случай локоть, чтобы защищаться. В результате возникшего типично-русского спора он ушел сильно озадаченный (под «русским» спором я подразумеваю очень продолжительную дискуссию, в которой оппоненты, не определив точно смысл употребляемых ими терминов, спорят о совершенно различных вещах и отвечают друг другу невпопад, потому что оба употребляют те же термины, но каждый вкладывает в них совершенно иной смысл).

Я не знаю, исповедует ли большинство русского народа социализм, и даже не считаю этот вопрос особенно важным. Но я совершенно убежден в том, что огромное большинство

русского народа «ощущает» социалистически. Вот что я хочу этим сказать: огромное большинство русского народа видит социальную справедливость в том, чтобы государство гарантировало каждому какой-то прожиточный минимум, чтобы не было дикой погони за наживой, спекуляции, непомерных доходов от частновладельческих предприятий, чтобы не было экономических кризисов и связанной с ними безработицы, и пр., и оно жаждет этой социальной справедливости. Конечно, в народе силен внутренний протест против полицейского террора, против чудовищного бюрократизма, против колхозов, против непомерного ограничения частной собственности. Многие отождествляют советский полицейский режим, чудовищную бюрократию, перебои в снабжении, транспорте и т. д. с «социализмом», о котором у них самое смутное и неверное представление, и в своих мыслях отвергают то, что им преподносится, как социализм. Но этот анти-социалистический протест — лишь оптическая иллюзия. Нельзя налагать на государство обязательство по проведению в стране широкой социальной программы и в то же время не признавать за государством самых широких прав для регулирования экономической, политической и социальной жизни страны. Возможно, что часть обывателей и мечтает о том, чтобы в России была установлена система неограниченной частновладельческой инициативы, с системой минимального налогообложения, — для того, чтобы они могли легко и быстро разбогатеть. Но этот же самый гражданин, если ему не удастся разбогатеть, будет требовать, чтобы государство обеспечило его работой и гарантировало приличный заработок. Все это — оптические иллюзии политической и экономической наивности, и в конце концов, каждому ясно, что исполнение основных желаний большинства обывателей возможно лишь при экономической системе, которая регулировала бы хозяйство страны в достаточно социалистических рамках.

Все эти стремления, независимо от того ярлыка, который на них наклеивают, нельзя назвать иначе, как социалистическими. Они настолько вошли в плоть и кровь русских людей, что мне теперь часто приходится слышать от наших Ди-Пи, из которых многие искренне считают себя анти-социалистами:

«Ну, в конце концов, даже, если в Америке (или Австралии, или Марокко) заболеешь, или не будет работы, не даст же нам государство умереть. Ведь какая-то минимальная забота о социальном обеспечении должна же существовать везде!»

Я никогда не слышал таких слов от представителей первой эмиграции, выброшенной на Запад после революции. Большинству их казалось совершенно естественным, что, если ты не сумеешь выбиться в люди, то «погибай», и это воспринималось, как нечто естественное. За последние 50 лет в сознании людей произошел колоссальный, поистине стихийный сдвиг. Сами того не замечая, мы перестали обосновывать наше понимание человеческого общества на биологической точке зрения, господствовавшей еще в двадцатых годах нашего века: жизнь, это — борьба за существование, и мудрая природа таким образом производит отбор «сильных» и очищает общество от неприспособленных — и перешли к социалистической точке зрения: общество должно обеспечить человеку право на труд, на подобающее его работе вознаграждение и, уж во всяком случае, не допустить его гибели.

И хотя в Советском Союзе до такого положения вещей еще как далеко, недовольство подавляющего большинства советских граждан своей властью обусловлено протестом не против тех явлений, которые являются истинной сущностью социализма, а против его сталинской интерпретации и советских методов насильственного насаждения.

Я не собираюсь здесь анализировать ни причин этого явления, ни очень сложную, и не так легко разрешаемую, проблему социализма; я лишь говорю об общей направленности потока народного ощущения и о нашем понимании отношений между гражданином и государством. Этот социалистический или — чтобы избежать спорных терминов — скажем, социально-демократический уклон русского народа, однако, далеко не гарантирует легкой победы в России социал-демократии. Связь между социальными устремлениями и политической программой — очень шаткая; скажу больше: социальные стремления настолько реальны и сильны — ведь от осуществления той или иной социальной программы зависит так много, вплоть до размера моего жалования — а политические и правовые проблемы так сложны и абстрактны (даже и не только для среднего обывателя), что многие политики строят свою антидемократическую политическую систему на самой демократической социальной программе. Социализму прочат самых разнообразных политических невест, а в прошлом его уже женили на нескольких довольно подлых политических женах. Гитлера к власти принес не только немецкий национализм, но и его социальная программа. Некоторые русские эмигрантские круги в Германии, учитывая зна-

чение голода по социальной справедливости в России, строят свои антидемократические программы на самых демократических социальных реформах, играющих роль приманки. «Наша программа — в этом единодушны все группировки — социальная справедливость, которую сможет осуществить только... царь (вождь, аристократическая республика, диктатор, система корпоративного представительства и проч.), в зависимости от того, какой товар предлагает наш политический коммивояжер».

Я непоколебимо убежден в том, что только торжество правосознания в соединении с социализмом может обеспечить России свободу от произвола. Но этого нельзя достигнуть в один день.

На сегодняшний день велика опасность, что в случае переворота, с помощью программы социальной демократии, к власти может прийти любая партия, которая, пользуясь бесконтрольностью, введет такое же неравенство и создаст такой же привилегированный класс, какой, в конце концов, создала такая проповедница равенства (в 20-х годах), как советская компартия.

Неравенство и произвол потенциально заключены в непреодолимой внутренней динамике всякой бесконтрольной власти.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРИТЕСНЕНИЕ И ВЫТЕСНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ.

Психоанализ дал много ценных результатов в области индивидуальной психологии. К сожалению, его применение к политике находится в совершенно зачаточном состоянии. Не претендуя на разрешение политических проблем в свете одного только психоанализа, я все же хотел бы остановиться на некоторых распространенных особенностях политического мышления, которые в свете психоанализа приобретают особенное значение.

В 1943 году мне пришлось сопровождать в качестве переводчика группу русских административных работников из оккупированных немцами областей. Были они все убежденные противники большевизма и пошли на сотрудничество с немцами из искреннего и глубокого убеждения, что без толчка извне в России невозможна национальная революция, в которую они верили. Немцы возили их из города в город, показывали достопримечательности и памятники ис-

кусства и, в особенности, старались произвести на них впечатление картиной благосостояния немецкого рабочего, ремесленника и, в первую голову, крестьянина.

Я, однако, никогда не забуду той холодной иронии, с которой мои соотечественники отнеслись к первому большому богатому крестьянскому хозяйству, которое им показали.

Комментарии были самые нелестные:

«Он (подразумевая крестьянина), верно, в жизни ничем, кроме свиней и коров не интересуется», или:

«Подумаешь, какое счастье: десять коров! А может, у него сын дурак, и сам он с женой плохо живет. Ерунда всё это!»

И то говорили убежденные противники колхозной системы, люди, искренне считавшие, что основная задача государственной власти — забота о крестьянстве.

Я не останавливался бы на этом явлении, если бы оно было случайным, или хоть несколько менее распространенным, но смесь восхищения Западом, с одной стороны, и убеждения в собственном превосходстве, в том, что Запад — мертв, дряхл или морально прогнил, — необычайно распространенная позиция советского обывателя.

В 1945 году, работая в одной из американских комендатур на юге Германии, я имел возможность сравнить отношение среднего американского солдата к Германии и к немцам с отношением русских бойцов к «немецкому западу». Во многих отношениях американский G. I. и боец Красной Армии были похожи один на другого. И тот, и другой не любили формалистики, и тому, и другому была ненавистна всякая «военщина», «солдатчина», дисциплина, всё то, что, например, так любят немцы.

Но в одном отношении разница была разительная. Американцы хвалили всё и даже восхищались всем, что им казалось хорошим в Германии, несмотря на то, что они были во вражеской стране. Это отнюдь не было некритическое восхищение. Но если что заслуживало похвалы, первое слово каждого американца было: «Вот это нужно ввести и у нас», или: «Вот этого нам нехватает у себя дома».

И я с горечью вспомнил предвзято отрицательное отношение наших людей ко всему новому, их насмешки над немецким крестьянином, который почему-то, по их убеждению, ничем, кроме свиней и коров, не интересуется. Ведь эти, по существу, скромные люди сами того не подозревали,

сколько высокомерия и какой скрытый комплекс превосходства заключался в том, что они считали себя вправе так низко котировать и беспощадно осуждать других. Причина этого отрицательного комплекса, быть может, проще, чем кажется. В Советском Союзе индивидуальная инициатива сведена буквально к нулю. Скажу больше: всякая новая мысль, всякое проявление личной инициативы, кроме, разве, как в рамках очень узких партийных директив, — опасны. Всё что выделяется из общего уровня, обращает на себя внимание, а в СССР самое опасное — обратить на себя внимание. Вас, конечно, могут, в целях партийной пропаганды, сделать «сверху» объектом общегосударственного внимания (Стаханов, Демченко, Виноградова и т. д.), но назвать это проявлением индивидуальной инициативы — трудно. Таким образом, советский гражданин должен жить с постоянным сознанием своего бессилия, с сознанием, что те преимущества Запада, которые он ценит, он не может ввести в своей стране, не смеет даже помыслить об этом, не имеет права даже мечтать о них лично для себя. Он должен подавлять в себе подобные желания и мысли. Такое постоянно присущее сознание собственной беспомощности и бессилия слишком мучительно для человеческой психики. Как противоводие, в нас появляется часто лишь полу-сознание, а подчас вообще неосознанное чувство, что недоступные нам блага вовсе не так уж хороши, нам вовсе не нужны и, несмотря на всю свою внешнюю привлекательность, имеют червоточину, неисправимый дефект.

Отрицательное отношение нашего сознания к целому ряду явлений — не что иное, как реакция нашего инстинкта самозащиты против гнетущего комплекса неполноценности, являющегося результатом нашего бессилия.

В сознании появляется скрытый комплекс превосходства — карикатурное отражение нашей неполноценности в кривом зеркале самоутверждения, *позволяющий презирать зажиточного фермера на том основании, что он-де дальше своего хлева ничего не видит.

Самое примитивное появление этого инстинкта описано в безызывственной басне о лисице и винограде, а самое высокое, да простит мне читатель, я нахожу в достаточно старой идее о Москве, как о третьем Риме, или, точнее, в убеждении, что «четвертому Риму не бывать». Поэтому я не могу

назвать эту черту специфически советской. И Достоевский считал, что Запад, это — кладбище, хотя признавал, что на этом кладбище лежат дорогие нам покойники. Но ведь и в царской России личная свобода была достаточно ограничена и частная инициатива не очень-то могла развернуться. Что же касается презрительного отношения многих Ди-Пи к Западу, то это — достаточно распространенное явление, причем — поразительная вещь — чем хуже человек знает Запад, тем больше его национальная фанаберия. Отрицание Запада, как правило, прямо пропорционально незнанию западных языков. Это объясняется тем, что человек, глубоко страдающий от невозможности приобщиться к жизни Запада, как равноправный член общества (жить в стране, языка которой не знаешь и не можешь освоить — мучение), спасается от отчаяния мыслью о своем воображаемом превосходстве. И в нашей эмиграции в Германии истоки всех «самодержавных» и националистических течений, в большинстве случаев — самая обыкновенная безграмотность плюс надежда выбиться в люди не трудом, а «наградой за верную службу».

Этой истине, которая многим может показаться горькой, нужно иметь мужество посмотреть в глаза. Кто любит свою родину, не смеет малодушно искать иллюзорных утешений, что «мы-де покажем еще этим демократам, кто мы!» Предоставим эту политику Сталину. Все, кому дорога наша культура, все, кто верит в свободу и в человеческое достоинство, должны защищать дело культуры и демократии сообща. Отталкиваясь от других, мы отталкиваем их от себя и этим помогаем Сталину.

Я глубоко убежден в том, что можно было бы избежать многих роковых политических ошибок, учитывая значение комплекса неполноценности — превосходства в вопросах национальной политики. Комплекс неполноценности и комплекс превосходства не исключают, а дополняют, точнее, обуславливают друг друга. И отделаться от них можно только, сначала узнав, а затем изживая их в самих себе, в практике истинной демократии, в воспитании в себе уважения к чужому мнению и истинной ерпимости. Как есть индивидуальный религиозный «опыт», так есть и индивидуальный демократический «опыт». Нужно отделаться от худшего тоталитарного комплекса — субъективного чувства безусловной личной правоты, заранее исключающего всякую возможность взаимопонимания. Добавлю, что в изживании по-

добных комплексов должны принимать участие «обе стороны». То, что России показал Гитлер, то, что ушедшим от Сталина пришлось пережить в лагерях Ди-Пи (я говорю не о лишениях, а об унижениях), очень заострило в русском человеке преувеличенное сознание своей обособленности. В этой области, увы, по моим наблюдениям, Запад тоже ничему не научился. Огромное политическое значение этого вопроса не дооценивается государственными мужами Запада по сегоднешний день.

Лишенный стабилизирующего груза политического опыта, гражданин тоталитарного государства проявляет подчас веврастеническую эмоциональность и способность принимать роковые решения с поразительной легкостью. Способность объективизировать свои желания и подводить под свои стремления и чувства рациональную основу, меня часто поражала во время последней войны у многих власовцев. Сколько раз меня уверяли, уже в самом конце войны, что если Германия будет разбита, западные демократии немедленно объявят войну Советскому Союзу, потому что коммунизм и капитализм — несовместимы. Когда я пытался доказать им абсурдность предположения, что Соединенные Штаты и Великобритания вдруг объявят войну Советскому Союзу, который в течение 4-х лет превозносился и в печати, и в бесчисленных официальных выступлениях, как верный, благородный, доблестный союзник; когда я убеждал их в том, что общественное мнение Запада этого никогда не допустит, меня прерывали с явной досадой:

«Уж кто-кто, а мы знаем, что такое общественное мнение и как оно делается. Неужели же вы серьезно допускаете, что из-за нескольких крикунов Соединенные Штаты и Англия разоружатся, переведут свою промышленность на производство мирного времени, чтобы через несколько лет снова вооружаться для новой войны? Ведь они же отлично знают, что Сталин стремится к мировой революции и что рано или поздно конфликт неизбежен! Сейчас для этого идеальный момент, потому что СССР истощен до предела. Ведь это же знает каждый рядовой боец Красной Армии, а вы воображаете, что это неизвестно государственным деятелям Англии и Америки. Обработать общественное мнение — плевое дело. Вот у нас 10 лет крыли Германию на все корки, а потом вдруг в 24 часа она стала нашей союзницей. И никто глазом не моргнул».

Я совершенно убежден в том, что большинство совет-

ских людей искренне и беззлобно считает, что всякая государственная система — шулерский аппарат, и что иначе оно и не может быть. «Хорошее правительство им, по возможности, не злоупотребляет, «плохое» правительство, напротив, пользуется всеми возможностями, которые этот аппарат ему предоставляет. А возможности — неограниченные; это доказали и столетия под царской властью и, в еще большей степени, годы сталинской власти. Нет, не так-то легко будет убедить Россию в том, что гарантия честного управления должна заключаться не в персональном составе правительства, а прежде всего в государственной системе. А пока нет этого убеждения, элемент случайности будет играть в политике («ты, Ваня, за кого?») большую роль.

У меня за эти годы набралось неисчислимое количество примеров эмоциональных решений, принимающихся серьезными людьми в важнейших вопросах жизни: вооруженный батальон Красной Армии, сдающийся одному немецкому капталу, который, размахивая руками, кидает красноармейцам несколько фраз по-русски, говоря, что немцы несут России свободу и благополучие; тактика большинства русских антибольшевиков основанная до последней минуты на убеждении, что победоносная Красная Армия вот-вот развалится; героизм многих русских солдат, боровшихся в рядах немецкой армии, только потому, что их начальник-немец «хороший человек» и сказал, что после войны всем будет хорошо и в России будет свобода. Это — по эту сторону фронта. А по ту сторону, несмотря на опыт НЭП-а, у многих была уверенность, что после войны Сталин «в награду» за пролитую кровь отменит колхозы и даст свободу. Как в свое время ждали «волю» от царя.

Я, увы, не рассказываю анекдоты. Постороннему наблюдателю может показаться, что подобное отношение — просто результат беспардонного легкомыслия и безответственности. С этим выводом я никак не могу согласиться. Русский человек был исторически лишен права и возможности принимать участие в управлении своей страны и нести ответственность за дела государственные. Ему чуждо западное, в особенности англо-саксонское понимание государственной жизни, как некоего органически складывающегося процесса, равнодействующей общих усилий большинства граждан. Идея государственности для русского человека была и в значительной степени осталась политической теорией; уж очень сильна в нас вера в формулу и в особенно-

сти в того, кто открыл очередной «философский камень», применение которого обеспечит всеобщее благоденствие без каких бы то ни было усилий с нашей стороны. А вследствие своей склонности к «деланью», вследствие очень малого, главным образом отрицательного, политического опыта, по своей политической эмоциональности советский гражданин может оказаться исключительно опасным экспериментатором в политике.

Я всецело согласен с теми, кто утверждает, что идеалы февраля близки сердцу русского народа. Но он помнит не только идеалы, но и реальность. Он не может разобратся в истинных причинах, но помнит, что февральская власть не удержалась, что на смену ей пришли коммунисты, что началась страшная разруха и гражданская война. НЭП говорит сердцу русского мужика больше, чем Февраль. Я никогда не забуду, как в 1943 году, когда мне удалось спасти партию псковских крестьян от немецкого «гебитскомиссара», наши длиннородные мужики меня долго чествовали и благодарили, и, под общий гул их олобления, их предводитель сказал мне на прощание:

«Ну, ты, Анисимов, нас выручил. Это мы тебе навсегдапомним. Ты для нас теперь будешь, что Ленин!»

Все присутствовавшие — их было около 1.000 человек — хором выразили ему за эти слова высочайшее одобрение, считая, что уж лучше не скажешь.

Крепкая рука Ильича, по их представлению, осуществила то, что сулил, но не мог осуществить Февраль: обеспечила порядок, при котором они могли пользоваться плодами своей работы на своей собственной земле. Имя Ленина связано в представлении значительной части русского народа с НЭП-ом, оставшимся жить в народном воображении, как счастливая передышка между анархией и голодом предыдущей эпохи и последующим, поистине страшным, периодом сталинской коллективизации.

Нет, идея представительной демократии в сознании русского народа пустила не такие уж глубокие корни, и на это нельзя закрывать глаза. Но еще менее следует загромождать глаза на то, что обо всем предшествовавшем Февралю русский народ хранит самую дурную память.

ВОЙНА:

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЛИ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ?

В 1940 году, во время оккупации Прибалтики Советским Союзом, я неожиданно стал преподавателем в совет-

ской десятилетке, в которую превратился французский лицей, в котором я преподавал до оккупации. Разумеется, прежде чем приступить к преподаванию, я был послан на специальные курсы, где должен был освоить основы ленинизма-сталинизма и, прежде всего, научного понимания истории. Как человека, к политике абсолютно непричастного, меня НКВД не тронуло. Я с жаром принялся за свое политическое образование. Не буду останавливаться на нем детально: коснусь лишь того, что имеет непосредственное отношение к теме этой статьи. Учебник истории СССР (автора не помню), по которому преподается история во всех школах Советского Союза, произвел на меня огромное впечатление не одними только своими недостатками: примитивным догматизмом и циничным извращением фактов, но и смелостью, с которой в нем проповедывались многие революционные установки, оказывающие огромное влияние на весь мир.

Анализируя события 1917-18 годов, автор учебника высказывает высочайшее олобрение Ленину за то, что он вел единственно правильную политику пораженчества в первой мировой войне. Автор книги, анализируя проблему пораженчества, останавливается на необходимости бороться с правительством своей страны (подразумевая, разумеется, не коммунистическое правительство) в эпоху особенно тяжелых испытаний (каким для России была первая мировая война). Во время войны, пишет автор учебника, правительству бывает особенно трудно бороться с революционными движениями, так как все силы страны мобилизованы на борьбу с внешним врагом. Между вопросами политики, с одной стороны, и национальной жизнью страны, с другой, автор строит совершенно водонепроницаемую перегородку. Тот факт, что в результате пораженческой политики Ленина Россия проиграла войну и потеряла значительные территории, автор книги считает совершенно несущественным. Ведь с предстоящим воцарением мирового коммунизма все государственные границы, все равно, будут стерты. Поэтому результаты первой мировой войны: потеря некоторых территорий, с одной стороны, торжество коммунизма, с другой, — факты настолько различного порядка, что они вообще несоизмеримы. Первый — небольшой эпизод из уходящей эпохи реакционной национальной обособленности, второй — величайшее событие в истории человечества и начало новой эры.

Это разграничение между политическим и национальным

моментом — факт колоссальной важности. Нравится он или нет, вопрос другой. Скажу лишь, что ничего нового в нем нет; напротив, это настолько старо, что мы об этом успели забыть. В средние века конфликт между лояльностью по отношению к императору и лояльностью по отношению к папе был одной из самых острых политических проблем в период борьбы духовной и светской власти.

И русский народ в 1941 году, в начале войны, искренно и в соответствии с тем, чему его учили, считал, что современные войны — войны политические и что свое отношение к конфликту он должен определить в первую очередь соображениями политического характера. Совершенно естественным казалось, что место каждого честного человека там, где «правильная» политическая программа. А поскольку стихийное недовольство властью, очень ловкая немецкая пропаганда, взявшая строго политическую линию (война ведется т о л ь к о против советского правительства, а не против русского народа) и рассказы о благополучной жизни у «имперналистов» заставляли думать, что «правильная» политика там, на Западе, — нежелание русского солдата бороться за Сталина и готовность гражданского населения сотрудничать с немцами были совершенно естественными. Только тот, кто судит советскую действительность не изнутри ее самой, а с колокольни привычных ему понятий, может бросать влосовцам укор в нелояльности или измене родине.

В 1942-43 годах характер войны сильно изменился. Методы Гитлера по отношению к России были настолько грубыми, что русскому народу потребовалось не так много времени, чтобы убедиться в том, что национал-социалистическая Германия под вывеской политической войны вела неслыханную по жестокости, колониальную завоевательную войну, окрашенную в самый махровый сверх-национализм. Только когда народ убедился в том, что никакой хорошей программы у Гитлера нет, он встал на защиту своей униженной родины. Сталину же, всегда прекрасно осведомленному о народных настроениях, ничего не стоило забыть на время интернационализм, вспомнить «дорогую родину» и ее национальных героев и спастись на гребне патриотического подъема, который вызвала оскорбительная для национального достоинства политика Гитлера. А по окончании войны, национальный «НЭП» был объявлен сресью и ликвидирован. У Сталина всё просто.

Советский интернационализм не есть простое отрицание

национальных стремлений. Нет, он их не отрицает, но лишь придает им, как я указывал выше, третьестепенное значение.

Родина истинного коммуниста, это — советский строй, где бы он ни существовал. Идея может быть родиной человека в такой же степени, в какой ею может быть территория. Именно в этом я вижу величайшую силу коммунизма. Я глубоко уверен в том, что в случае будущего конфликта между Востоком и Западом, если политика будет развиваться так, как до сих пор, большевики победят Францию и Италию своей 5-ой колонной, несмотря ни на какие Атлантические пакты. Более того, я боюсь того, что, точно так же, как люди спорят иногда «невпадал», т. е., употребляя те же термины, в действительности говорят о совершенно различных вещах, будущий конфликт Запада с Востоком (если он произойдет) тоже окажется такой войной «невпадал».

Западные демократии будут вести войну за национальные идеалы, вытащат из версальских шкафов запылившуюся мозаику национального самоопределения, принесшую столько разочарований безнадежной несогласованностью своего узора, а коммунисты этой идее национальной мозаики противопоставят идею всемирного объединения всех народов, и будут вести политическую войну, целью которой будут объявлены широчайшие социальные реформы, отмена вооружений во всем мире и создание Соединенных Штатов земного шара. Этой огромной опасности многие, слишком многие, не учитывают.

Ее можно преодолеть только перейдя на ту же плоскость, на которой стоит коммунизм, т. е., на плоскость международную. Никогда стремление к международному сотрудничеству, к сверхнациональному единению не было так сильно в человеке, как сейчас, когда над миром нависла угроза атомной войны. Но как это единение далеко от осуществления, даже в стане демократических государств! Политики ссорятся, доверия нет. Замороженные советским вето Объединенные Нации являют мало утешительный пример. В Германии победители навязывают побежденным два противоположных сорта демократии, в сущности которых средний обыватель, не испытывший их, не в состоянии разобраться. Одно лишь можно сказать с уверенностью: и Запад, и Восток с одинаковым успехом раздувают в Германии пламя национализма. А рикошетом всё это отражается и в Советском Союзе, где крепнет убеждение, что справедливости нет ни тут, ни там.

О. Анисимов.

МОЙ РОВЕСНИК ИЗ КАЛИФОРНИИ

Going home, boy — going back
where we belong !

Уильям Сароян.

“Человеческая комедия”.

Курьерский поезд мчал вдоль Каспийского моря к Баку. В купе вагона нас было четверо. Полкупе занимал круглый, как бочка, азербейджанский тюрок с покатыми плечами. Он дремал всю дорогу, но только паровоз рывкал, подходя к станции, просыпался и, хватаясь за шаткие стенки вагона, торопился к выходу: не посчастливится ли тут найти чего съестного? В Махач-Кале он притащил в вагон глыбу черной зернистой икры, в Хачмаса купил жареную курицу, но хлеба не было, даже кукурузного лаваша. Тюрок жевал икру и стонал от голода. Прикрыв тяжелые веки, впал в забытие — до следующей станции.

Возле окошка, у столика, сидела девушка в светлых и легких кудряшках: секретарша Бакинского нефтяного треста. Она возвращалась из Ленинграда, из отпуска. Девушкина сестра была замужем за секретарем парткома на «Красной заре», ленинградском телефонном заводе. Как ответственный работник, зять имел пропуск в закрытый распределитель. Там девушка купила высокие белые боты — настоящие фетровые. Потом морячок повстречался: подарил шелковые чулки — заграничные, в Копенгагене куплены. И еще пудры коробку: «Посмотрите, какая жирная — настоящая телесная! Не то что наша пудра — наша всегда комками». Поездкой в Ленинград девушка была довольна. Маленькой гребенкой она поминутно взбивала пушистые волосы. Тюрок, у которого от толчков поезда тряслись щеки, ее смешил. Не помню, чтобы она сама обедала, закусывала. Так, должно быть, и жила — без ничего, не свши — веселая, воздушная, точно из солнечной пряжи вытканная.

Третий пассажир был парень лет двадцати пяти. Широкоплечий, мускулистый, довольно высокого роста, он, вероятно,

вырос в спортивных залах или на футбольном стадионе. Веяло от него крепостью, свежестью, как от моря, которое несло пенные зеленоватые волны за окном вагона. Вещи его любили: темно-синий костюм облегал натренированное тело, шляпа с изогнутыми полями шла ему. Видать, и он любил вещи, людей, мир: к людям обращался просто и располагающе, на все, что несло по сторонам поезда, смотрел открытыми, великолепно-черными глазами. Беда была только та, что он не знал по-русски, а из нас никто не понимал по-английски. Он был турист-американец.

— Интересно бы знать, какие у них там цены в Америке? — мечтательно спрашивала девушка. — Такой костюм, как у него... бостон темно-синий. По-дешевке, наверное.

Девушка была бесхитростна: под пушистыми кудряшками рождались незатейливые мысли, она просто и легко их высказывала. Однако, и я не меньше, чем кудрявая секретарша, тараторил глаза на молодого американца. В самом деле, как там у них, в Америке? Не только цены, конечно. Но вообще чем там люди живы?

В России жизнь была страшная. Шли тридцатые годы: годы пятилеток, колхозов, «великого перелома». Тяжкое десятилетие скитаний и бродяжничества целого народа. Крестьяне распродают живность, бросали недвижимость и подымались семьями в дорогу. Куда? Из Сибири в Поволжье, из Поволжья в Сибирь. Как в старину беглые крепостные искали, где нет помещиков, так теперь искали, где нет большевиков, колхозов, нового, еще более страшного рабства. На Кубани, Украине крестьяне отступились от земли, оставили колхозные пашни зарастать сорняками. Там гуляли карательные отряды. Под корень, от мала до велика, села и станицы выселялись в поллярную тундру, пески Туркестана. Народ прятался в норах в степи. По горячим и пыльным дорогам бродили беженцы — крестьянки с убогим скарбом и восковыми детьми.

— Колючей проволокой опутывалась Россия. Более, чем четвертую часть территории СССР заняли под концентрационные лагеря. Границы — на замке. Отгораживая Россию от мира, большевики пытались вырастить поколение молодежи, привыкшее жить взаперти и покорное режиму. Но жизнь взаперти неизбежно вызывает тягу на волю, к скитальчеству. Жизни ставя на карту, молодые советские люди перебегали в Турцию, Китай, Афганистан, Румынию. Те, что оставались в России, невзирая на опасности, искали контакта с иностранцами.

Не знаю, как это могло случиться, наш вагонный спутник был один. Гид Интуриста не то отстал от поезда не то ехал в другом вагоне. Пытались мы разговаривать жестами. Американец развернул карту и показал берег синего моря: Калифорния. Перелистал атлас и ткнул пальцем в коричневые горы: Армения. Понятно, родом из Калифорнии, а едет в Армению. Темные, несколько тяжелые глаза и смуглое лицо показывали, что он армянин по происхождению.

— Уильям Сароян, — представился он.

Жестов, разумеется, было недостаточно для большого разговора. Думалось: вот встретились два молодых человека... Один родился в Сибири, в таежной деревне, а другой — в виноградной калифорнийской долине. Один вырос взаперти, в стране, окутанной колючей проволокой, а другой на воле. Кто же он, мой калифорнийский ровесник? Едет в Армению... Чего ищет? Что лежит у него на душе? На что он внутренне опирается? От той встречи в моей памяти зарубка: «проблема Сарояна». Что «Я» и что «ОН»? Что «МЫ» и что «ОНИ»? Кто они, мои ровесники в Европе и Америке?

*

Как только в России подымалась волна арестов, люди бросали дом, колесили из конца в конец по стране — жили случайными заработками, нередко под чужими именами. Так жи и я — без дома, без гнезда. Двигался по Сибири от города к городу. Потом перекинулся на Кавказ. Опять Сибирь, спять Кубань и Терек — по второму кругу. Поволжье, средняя полоса России. И Москва, как центр, от которого начинался очередной круг невольных скитаний, бродяжничества.

В 1939 году, покинув опостылевшую журналистику, поехал я в занесенную снегами Ясную Поляну — хранителем музея Льва Толстого. Где бы ни находился и чем бы ни занимался, «проблема Сарояна» не исчезала из поля зрения. Вспремежку с томами «Войны и мира» на моем столе лежали «42-я параллель», «Гроздь гнева», «Прощай оружие!» — любимейшая моя книга, на которой, мне думается, лежит печать Толстого. Как-то раз почтальон принес журнал «Интернациональная литература». На обложке значилось: Уильям Сароян «Смелый юноша на летящей трапедии».

То был первый рассказ Сарояна. История безработного юноши, умирающего от голода. Нетрудно понять, почему московский журнал перепечатал новеллу Сарояна. Показать, что

в Америке кризис, застой, депрессия. Юноша нашел в водосточной канаве цент: профиль Линкольна и надпись: «Богу мы вверяем свободу». Какую свободу? Свободу подыхать с голоду? Жизнь в советской России была тяжела и порождала тягу за границу. Но что там, по ту сторону? Потрясало не то, что юноша умер от голода: на Кубани вымирали хутора и станицы. Потрясало ощущение пустоты, окружавшей юношу. Как и я, оторванный от корней, от дома, метался в пустоте, так и мой американский товарищ находился в положении извергнутого, неприкрепленного, не знающего, куда пристать и к чему прилепиться. Когда он, отправляясь искать работу, останавливается на холме — перед ним город, башни, крыши, сады — он видит, что он вне всего этого и нет ему доступа. Краткая ремарка Сарояна:

— Несправедливая земля или, быть может, несправедливое время.

Поразительно, что такое же острое ощущение несправедливости, какое испытывал я, гнезилось и в моем калифорнийском ровеснике. На моих глазах разворачивался страшный опыт коммунистического устройства жизни: вместо чаемого единства, консолидации — распад, хаос. Калифорнийский ровесник — человек другого строя, но и там пустота, дезинтеграция. Так что же делать? Уильям Сароян не давал ответа. Непокорившийся порядку на земле, смелый юноша делал... «к Богу или к ничему».

«Проблема Сарояна» — моих ровесников в Европе и Америке — не оставляла меня и во время войны. Перегородки, разделявшие народы, рухнули. Перед Москвой произошли мои первые — лицом к лицу — встречи с ровесниками-европейцами.

Памятна одна встреча. Утром 21 января 1942 года мы вступили в Можайск. Город горел, дымился. На стенах домов, облупившихся под пулями и осколками, виднелись нарисованные мелом олени рога. В Можайске квартировала немецкая дивизия «Оленья голова». На крутом взгорье, в морозном дыму, стояла тонко-стрельчатая розовая Никольская церковь. Наша полевая артиллерия грохотала поблизости, под этой крутой и кривой горой; в двух-трех километрах, у Татариновой и Марфина брода, отстреливались немецкие арьергарды. Невзирая на бой, возле церкви толпились, плакали и крестились бабы, старики, ребятишки. Под высокими сводами, посередине церкви, поленицей лежали трупы, раздетые до белья, поверху обгорелые. В алтаре престол был завален телогрей-

ками, ватными стегаными штанами, на полу у стены ранжиром стояли валенки. Немцы не успели захватить отобранную у пленных, драгоценную по тогдашним морозам одежду. Бабы и старики ворвались с нашими пехотинцами в церковь и потушили облитый горючей смесью, удушливый, густо дымивший кустер. Моя рота очищала Можайск от мин, заложенных немцами, а заодно хоронила бойцов, лежавших в церкви.

Поздно ночью, при свете пожаров, я пошел в штаб бригады, расположившийся на окраине города. Там как-раз привели пленных немцев. Капитан из сельского отдела — по работе среди войск противника — допрашивал молодчика из дивизии «Оленья голова». Крепкая, красная шея, коротко остриженный затылок, а спереди белый взлохмаченный чуб... На мундире зеленая ленточка: медаль не то за Норвегию, не то за Грецию. Возле двери, охраняемой конвоиром, сидел на табуретке пленный, не похожий на немца. Не по-фашистски, а нормально подстриженные волнистые черные волосы, карие глаза на выкате. Боец-конвоир, уже привыкший к немецкомуговору, сказал:

— А этот, по-какому он допочет? Ни шута не разберешь!

Vous êtes Français ?

— *Mais oui... du bataillon Doriot.*

Батальон Жака Дорио занимал деревню Татаринову на берегу Москва-реки. Командир этого батальона был хорошо известен в советской России. В 1923 году, тогда еще юноша, простой рабочий из Сен-Дени, Дорио приезжал в Москву на III конгресс Коминтерна. На протяжении многих лет он был факельщиком Коминтерна, поджигателем мировой революции. Помогал кровавому восстанию Абл-эль-Крима в Марокко, подымал резню в Индо-Китае. По этим заслугам его произвели в генеральные секретари французской коммунистической партии. Но в 1934 году исключили за принадлежность к трошкизму. Не долго думая, Дорио основал «Народную партию», которая насчитывала среди своих членов известных писателей, бывших послов, представителей аристократии. Наряду с Огненным крестом де ля Рока, Аксьон Франсэз Шарля Морраса, «Грэнгуаром» Карбуттиа, партия Дорио представляла «национальные», т. е. крайние правые силы, «реальные партии», которые хвалились тем, что они имеют «здравые идеи и здравые принципы».

Какие идеи, какие принципы имел этот француз из батальона Дорио? Гитлеровские гвардейцы, несмотря на их «бездну в глазах», были понятны: после Версаля каждый немец,

урезывая голодный паек, откармливал военную собаку. Теперь они упивались тем, что не только вернули Эльзас и Лотарингию, но стали хозяевами Европы, захватили пол-России, дошли до Москвы. Немцев не надо было спрашивать, каким идеалам они служат и какой собираются строить порядок на завоеванных пространствах. Немецкие пленные давали материал для «политической географии». Иное дело — француз, пришедший с ними на берега Москва-реки. Тут открывалась «геология», подпочвенные пласты, сама сущность проблемы моих ровесников в Европе. Какие в них движущие силы? Какие моральные и духовные ценности?

— Антуан Лебре, — ответил француз и усмехнулся, скользнув по мне карими выпуклыми глазами. — 32 года, рожден в девятьсот девятом. Нет, не в Париже, а в Монпелье. Совершенно точно, сударь, в Монпелье, на юге Франции.

По лицу, на котором только что лежал испуг, теперь блуждала бессознательная улыбка превосходства. Как мне было прошибить непроницаемость француза? Как сделать, чтобы он раскрылся? Кажется, он понимал, что я не из седьмого отдела, не интересуюсь расположением войск, состоянием батальона, данными, которые обыкновенно требуются от пленного на допросе. Поговорили о Монпелье, знаменитом университете. Дружески-искренне, от чистого сердца, я сказал, что он, вероятно, сожалеет, видя себя не во Франции, а тут, «в степях» на передовых позициях.

— Конечно же! — энергично проговорил француз невольно отвечая на искренность искренностью. — Вы думаете, быть может, что я — троцкист, деятель четвертого интернационала или какой-нибудь антисоветской лиги? Пуф! Плевал я на политику! Троцкизм, ленинизм... Хотя бы и сам Дорио, это такая дрянь, если вы хотите знать! Я всегда говорил, что он куча дерьма и ничего больше. Тем не менее, я у него в батальоне. И куда забрался — под Москву!

— То-то меня и озадачивает... Как вы к нему попали?

— Длинная история, господин. Тут, на позициях, я и сам этим вопросом задавался. Лежишь в воронке, фугаски рвутся — жизнь так вдруг и озарится вспышкой. Картина отчетливая: в Монпелье колыбель, а в Можайске яма, куда меня бросят, наверное, еще этой ночью до рассвета.

— Ну, что вы, какая яма! — запротестовал я, но француз криво усмехнулся и увлеченный мыслью, продолжал:

— Колыбель, дом родительский... Мой отец — старшим мастером на заводе. Тепер ему под шестьдесят. Юность его,

МОЙ РОВЕСНИК ИЗ КАЛИФОРНИИ

следовательно, пришлось на конец прошлого века. Вот и сравните нынешние и те времена, мои молодые годы, и юность того поколения. В двадцать лет отец мог, ни мало не рискуя ошибиться, наметить план всей его будущей жизни. Монета была устойчива, стоимость жизни варьировалась в очень ограниченных пределах, промышленность и коммерция процветали, перед молодежью простиралось необозримое поле для применения энергии, активности, предприимчивости. Вступая в жизнь, молодой человек шел по твердой дороге. Впереди ясно видел цель: на таком-то пункте, которого я достигну через столько-то лет, у меня будет все необходимое, чтобы прилично женить сыновей, выдать дочерей замуж и обеспечить самому себе достойную отставку. Посмотрите теперь, что такое была наша юность? Начнем с лица: шла война, учителя остались или дряхлые старики, или зеленые, неопытные, — неудачное вступление с первого шага. Потом безумный послевоенный период, когда Франция ни о чем не думала — только о деньгах и наслаждениях. Помню, как меня вместе с несколькими товарищами — примерными учениками — повезли в Париж на экскурсию. Видели бы вы, господин, послевоенный Париж! Игорный дом, гигантское казино — вот что такое был Париж. Деньги! Женщины, шелка, меха... люкс, без которого жизнь не имеет смысла... все приобретается на деньги. Какие соблазны! Думалось: окончу ученье, урву же и я свой кусок пирога! А не вышло. Как жизнь соскочила с оси, так и не поправилась. Наступила пора нашей зрелости, пора входить в жизнь по-настоящему, тут тебе трах, крах... Кризис! Жизнь цветущую, полную денег и наслаждений, мы только понюхали, но не попробовали.

Антуан Лебре приближался к жизни, как к чему-то блистающему и сверкающему, наполненному радостями. Но, углубившись в жизнь, он вдруг с ужасом ощутил, что вокруг него пустота. Отцы обанкротились. Кризис не только в промышленности и коммерции — банкротство политики, религии, литературы. Политика? Но французской политикой управляли, по словам моего собеседника, или слишком усталые люди, или слишком откормленные, как индюки. Кровопролитная война сплотила французскую нацию. Рвы, разделявшие классы, были засыпаны. Казалось, что временам, когда французы ссорились в своем доме, более нет возврата. Надежды не оправдались: траншейное братство кончилось, солдаты, «люди Огня», не оказали влияния на послевоенные судьбы страны. Только один бывший комбатант возглавлял политическую

группу в парламенте — Андре Тардые; остальные были Эррио, Блюм, Кашен... Религия? На вопрос о религии Антуан Лебре засмеялся:

— Кому теперь молиться? Бог умер, провонял. Протухли все христианские истины. Бедным — покорность, подчинение установленному порядку... ха-ха-ха! Порядку! Богатым — примирение с заповедью о равенстве людей перед Богом, презрение к богатствам мира сего. Милосердие... Что есть милосердие? Милостыня, стакан воды жаждущему, один поданный нищему су, который вознаграждает нас благополучением вечной жизни? Пусть христианские проповедники ищут кого поглупее!

Поколение Антуана Лебре видело, что оно кругом обмануто. Наследства, которое играет такую огромную роль во французской жизни, эти юноши не получили. Никакой обеспеченности — ни материальной, ни духовной. Единственная связь между отцами и их общипанными наследниками состояла в том, что вторые высмеивали и поносили первых. Поносились все ценности прошлого: религия, любовь, семья, отечество. От нигилизма — один шаг к фашизму. Нога Антуана Лебре была уже поднята, чтобы сделать и этот последний шаг!..

— Наша страна наводнена интернациональными проходимцами всякой масти. Испанские красные, подозрительные русские — проповедники советского рая... Впрочем, это пустяки, а гораздо хуже то, что на руинах Австро-Венгрии и империи Вильгельма II, как грибы, расплодилось ростовщики-израэлиты. Щупальцы их протянуты по всему миру. Они торгуют всем, захватывают все места, проникают во все поры нашего прогнившего, гноящегося чирьями парламентаризма. Как можно считать себя французом, если видишь, что во главе страны, некогда чистой и героической, гордившейся своей душой и честью... о! во главе Франции, как преемник Шарлеманя и Луи XI, Ришелье и Луи XIV, стоит некий Блюм и вся его клика... Интернационал на интернационале... Пышные речи, парламентские дебаты, и все только затем, чтобы заглушить звон монеты, воруемой из государственных сейфов!

Отшатнувшись от Франции, Антуан Лебре неминуемо должен был прилепиться к Германии. Коренную европейскую проблему он решал одним махом: Германия и Франция должны объединиться. Не только экономически, но и политически. Германия.... там в почве, под сознанием народа заложены пласты потенции. Так насыщенно, наполнено, налито, что необхо-

дима разрядка. Германия хочет жить и расти, а у нее отнимают колонии, флот и армию сводят к нулю. Нет, такие выходы не проходят безнаказанно! Даже Наполеон, и тот не смог лимитировать прусскую армию. Великая Германия бессмертна. А потом... она имеет величайшего вождя.

— Гитлер!.. Этот, по крайней мере, трудился, страдал с народом, воевал за народ. А наши политики, что они сделали для народа? — сказал Антуан Лебре с мрачной злобой. Карие на выкате глаза, однако, заискали при этом насмешкой, которая выдавала, что он презирает не только французских политиков, но и немецкого фюрера, фашистско-тропкистского гаулейтера Жака Дорио, все и вся на свете.

Нет, Антуан Лебре не был нацистом, фашистом, и если пришел с немцами в Подмосковье, то не затем, чтобы устанавливать «новый порядок» на русской земле, «порядок», картину которого мы видели в задымленной, заваленной обгорелыми трупами Можайской церкви. Он был просто несчастный человек — опустошенный, отчаявшийся.

После войны, попав в Париж, я не отступался от проблемы моих ровесников. Положение молодежи во Франции неизменно тяжелое. Восстановительные работы требуют огромного количества рабочей силы, она имеется в избытке, но нехватка оборудования и сырья не позволяет занять ее полностью. Война длилась шесть с лишним лет, и тот, кто до 1939 года не утвердился в промышленности или коммерции, в каком-нибудь деле, ремесле, профессии, тот теперь слишком вырос, чтобы проходить ученичество. Молодежь повисла в воздухе. Духовный кризис глубок. Перед войною молодежь была уже выбита из рабочей колен, сбита с обычной житейской дороги. Война дала молодежи занятие: одни пошли в батальон Дорио и антибольшевистские лиги, иные в резистанты и коммунистические ячейки, хотя и те, и другие могли бы легко поменяться местами. Человеку не важно, куда идти, если он гол, как сокол: вооружен только презрением ко всему и насмешкой.

Атмосфера послевоенной Франции не может быть лучше охарактеризована, нежели это сделал один вдумчивый пожилой француз в беседе с Ек. Дм. Кусковой:

«В близкую войну я не верю, и это не решение всех назревших вопросов. Меня страшит военно-авантюрная психология весьма широких масс, даже большинства интеллигенции. Последствия войны, полная неспособность войти в какую-либо рабочую колею. Вы постоянно слышите: хотя бы что-нибудь случилось! Скука и однообразие размеренной рабочей жизни —

невыносимы. Люди ищут приключений, развлечений, остроты. Уверяю вас, во Франции люди не хотят или разучились систематически работать. Им нужна авантюра: куда-то бежать, ехать с какими-то миссиями в неведомые страны, кинуться в любую резистанс, ехать в колонии, где происходит борьба против их же отечества. Люди ненавидят оседлую жизнь. Они женятся, но без сожаления бросают семью и мчатся неизвестно куда. Попробуйте заставить молодежь систематически изучить какое-либо ремесло или — Боже сохрани! — спуститься в шахты, чтобы помочь своей стране. Стоять в конвейерах больших заводов? А фильм Чаплина, высмеивающий это «поедание человека» машинизмом? Долой капитализм! Но... и работу тоже! В этом главное страдание Европы. Вы удивитесь: да вед это — готовые кадры для всякой войны, независимо от ее целей! Броситься в атаку, потом взять город, грабить беспрепятственно и бесцеремонно; любить женщин и обновлять эту любовь по мере похода, — вот вам современная психология. «Производителей благ», оседлых жителей прошлого века, любящих свой очаг, накопление, устройство жизни для будущих поколений, — где всё это, — я не вижу!»

Тягчайшая произошла утрата — утрата дома, очага, семьи, стремления к работе, производству благ, обеспечению себя и будущих поколений, — всего того, на чем жизнь держалась отвлека. На что же теперь опереться? *De quelle force, de quelle puissance se protéger ?* — в отчаянии спрашивают молодые французы.

На джипе привезли меня в лагерь, расположенный на окраине г. Плауэна, в Саксонии. Вешний ветер полоскал у ворот два флага: красный и полосатый со звездами. На зеленом лугу американцы и русские играли в мячик, как бы в лапту. Возле барака стоял длинный, сколоченный из грубых досок стол, за которым сидели, склонив головы, девушки: тут была школа — писали по-английски. Под старым ветвистым дубом веселый рыжий парень играл на гармошке и горланил песню. Широкое, тронутое оспой лицо и ухающие выкрики были пензенские, а песня американская, переложенная кем-то на русский язык:

Нашел я чудный кабачек... кабачек!
Вино там стоит пятачек... пятачек!
С бутылкой сам сижу я на соне,
Не плачь, милашка, сбо мне'

Баракы были битком набиты. 5.000 человек жило в лагере — толпилось, прогуливалось по усыпанным песком дорожкам, каталось на велосипедах, лежало на солнышке, играло на гармошках, гитарах, пело, смеялось. В комнате, куда меня поместили, стояло пять кроватей. Невысокий белоголовый паренек в американской униформе, с какою-то даже орденскою ленточкой, сидел у окна и читал книжку. Увидев мои русские погоны, он привстал и отрекомендовался:

— Сержант Павел Дронов. Вот эта койка у стены свободна. Располагайтесь, товарищ капитан!

Мы разговорились. До войны Павел Дронов учился в педагогическом институте в Ставрополе. Попал в плен в Феодосии. Потом большая дорога: теплушки, концентрационный лагерь, подземный завод в Касселе. То, что он рассказывал о заводе, леденило кровь. На широкий, круто откиннутый лоб его всползла взволнованная бровь, в глазах сгустилась сперва казавшаяся неосязаемой, а теперь плотная и тяжелая голубизна.

— А как помрет, то наверх не подымали, там, в подземной галлерее и закапывали. Кончилась, думаю, жизнь твоя, Павел Сергеевич Дронов, хутора Нижне-Бековского, 1918 года рождения, сержант 74-го понтонного батальона... Готовясь к смерти! Помните, товарищ капитан, в «Войне и мире» описано, как перед началом Бородинского сражения ополченцы надевают чистые рубахи, чтобы приготовиться к смерти? В Ставрополе, еще студентом, читал я эту книгу и не обратил внимания, а тут, под землей в Германии, как-то само собой припомнилось. Даже и сказать совестно... заплакал! Конечно, белой рубахи у меня не было, куда там, только лохмотья на исхудалом теле. Но — чтобы душа была белая, чистая! Первый раз в жизни такое подумалось — «душа». Поверите, нет-ли, не знаю, — да я и объяснить, пожалуй, не смогу — почувствовал я неожиданно что-то окрепло во мне, что-то воздвиглось внутри. Нет, думаю, шалите, немчики... я вам не поддамся! Мы — русские люди... Мой дед белую рубаху налезал и шел в атаку!

Павел Дронов бежал с немецкого подземного завода. Из Германии пробрался во Францию, к макиزارам. Из партизан — к американцам, когда те высадились в Нормандии. Не пленным, а солдатом-победителем, — опять в Германию. Вторично был ранен: под Феодосией в плечо, под Саарбрюкеном в ногу. Американский капитан, командир роты, представил Дронова к награде и предложил:

М. КОРЯКОВ

Поедем, говорит, с нами в Америку. Там у отца есть маленькая механическая мастерская. На первую пору работа тебе обеспечена. Потом оглядишься, выберешь профессию, какую хочешь... У нас, говорит, в Америке очень свободно. Только нет... Не поехал! Домой хочу — на родину!

Дронов поднял глаза. Из них брызнуло легкой, проясневшей голубизною. Побывав на краю смерти, он будто заново родился. Так и многие русские люди. То, что говорил Дронов, мне было близко, понятно, родственно. В том и состоял духовный опыт войны, что мы почувствовали в себе душу. Интересы которыми жили мы до войны, были исключительно материальные — интересы тела. Только о теле и заботились — кормили, поили, обували, одевали, мыли, брили. Тело — к портному, тело — к медику. Телом страдали, телом любили... Тело было нашим «Я», нашей сущностью. Но вот — война! Буря огня и железа. Всё то, на чем держалась жизнь, сразу рухнуло: материальные интересы недействительны перед лицом смерти. Неожиданно человек останавливался и понимал, что всё, решительно всё, что прежде казалось важным и значительным, теперь совсем неважно и незначительно. Война пожирала тела, но истребляла культ тела, религию материальных ценностей, которым человек прежде поклонялся. Тело в человеке умирало, вырастала душа: некая внутренняя сила, подымающая на подвиг, на жертву. Наше «Я» — не тело, но то, что действует посредством тела, и в более узком смысле — наше действие, акт, поступок, т. е. наш дар, наша жертва. Положить душу за други своя... — древний завет христианства утверждался в душе молодого солдата. Недавний бродяга, скиталец, он уже не был отрубленной веткой, но частью дерева. Возникла связь с дедами, стоявшими в белых рубахах, по колено в крови, на Бородинском поле. Новое чувство — чувство родины, дома, гнезда. Кончилась война. Позади осталась дымящаяся дорога. На фронте-ли, на каторжных ли работах в Германии, повсюду русские люди противостояли немцам. Теперь они повернулись лицом на восток: — Родина! Поистине святое чувство освещало их изнутри. Инстинктом они понимали, что это чувство может быть сохранено исключительно при одном условии: если стена, отделявшая Россию от мира, не будет возведена снова, а останется в руинах, воспоминанием о страшной довоенной жизни в советской тюрьме. Надеялись, что советское правительство «поймет», что «самим фактом победы над Германией обеспечиваются внутренние перемены»,

что «теперь всё пойдет по-другому». Надеялись и стремились за Эльбу — к нашим...

— Когда же нас на родину отправят? — сказал Дронов в задумчивости. — Не так давно: в январе сорок второго года немцы меня залапали. А вы только что с той стороны, товарищ капитан? Как там теперь у нас?

— Насчет чего? — усмехнулся я.

— Ну, насчет всего... этого, — замялся Дронов, повидливому, стесняясь сказать «насчет свободы».

— Ничего, живут люди, — уклончиво ответил я и перевел разговор: — Что это у тебя за книжка?

— Так, американская книжка. Уильям Сароян, «Человеческая комедия».

Жадно и, должно быть, с взволнованным лицом взял я книгу с подокопника. То было дешевое издание «покет-бук», в пестрой обложке, с надписью «Пошлите эту книгу сыну в армию — почтовые расходы только 4 цента». Дронов, заметив мое волнение, спросил, понимаю ли я по-английски. Я повел головой отрицательно, и он, несколько смущаясь, предложил:

— Тут на последней странице заметка об авторе. Хотите, я переведу?

Кое-что из того, что говорилось в заметке, я знал со времени встречи в поезде на берегу Каспийского моря. Уильям Сароян родился в 1908 г. в Фресно, Калифорния. Его отец был русский армянин, учитель, принимал участие в национально-освободительном движении, сидел в тюрьме, эмигрировал в Америку. Вначале один, без семьи. Несколько лет проработал в Нью-Йорке дворником: копил деньги, чтобы перевезти семью. Потом переселился в Калифорнию — работал по виноградникам на чужих фермах, пока не купил маленькую свою. Но отец скоро умер. Уильям Сароян с восьми лет должен был работать, помогать семье. Был газетчиком, курьером на телефафе. Первый рассказ он напечатал в 1933 году, под псевдонимом Сирак Гороян, в армянском журнале. В следующем году, однако, «Смелый юноша на летящей трапеции» принес ему всеамериканскую славу. 1937 — книга «Маленькие дети», 1939 — «Мир прекрасен», 1940 — «Меня зовут Арам» и пьеса «Время нашей жизни», за которую ему была присуждена премия Пулитцера; он отказался от премии, заявив, что коммерция не должна покровительствовать искусству. Наконец, в дни войны он написал повесть «Человеческая комедия».

Не медля, я начал учиться английскому языку. Книги мое-

го калифорнийского ровесника были первыми книгами, прочитанными мною по-английски. Первым делом, разумеется, я искал в этих книгах Россию. Сароян пересек нашу страну от берегов Балтики до гор Армении. Большую часть пути мы проделали вместе. Что он увидел на русских пространствах? Как он воспринял нашу жизнь? Какие в нем пробудились чувства?

«В России, так близко от нашей родной страны, — пишет он в «Человеческой комедии», подразумевая Армению, — от нашей прекрасной маленькой нации, миллионы людей, миллионы детей голодают изо дня в день. В мороз, босоногие, они бредут там и сям, и нет им места, чтобы поспать, и просят они хотя бы сухую корочку хлеба и где-нибудь прилечь и отдохнуть... хоть бы одну ночь поспать спокойно».

Нет, Уильям Сароян путешествовал с открытыми глазами по России. Жизнь громадного народа, очутившегося без дома и обреченного на бродяжничество, открылась юноше, приехавшему из Калифорнии. Увиденное врезалось в память, в сердце открылась рана. Боль России — боль страждущего человечества. Струна эта громко звучит у Сарояна.

Так что же делать? — спрашиваю я, русский парень из далекой сибирской деревни. «*De quelle force, de quelle puissance se protéger ?*» — спрашивает мой сверстник-француз. *Which way go ? What to believe ?* — говорит в «Человеческой комедии» Джон Стрикман, парень из Пенсильвании. Неприкаянность по всему миру. Немало русской молодежи, обманутой большевизмом, потом вторично обманутой нацизмом, теперь сползло в болото отчаяния. В тине запутались и молодые французы, презирующие всё на свете и готовые на всяческие авантюры. «Не знаю, что это такое со мною, — признается парень из Пенсильвании. — Ничего не интересует меня. Ничего нет такого, что имело бы для меня значение. Не люблю людей, не люблю быть с ними поблизости. Не доверяю людям. Мне не нравится их манера жить, ни то, во что они верят». Парню этому наплевать на всё: «Я не прочь убить тебя, не возражаю и против того, чтобы самому быть убитым».

Мир болен. Большевизм, фашизм, нацизм — вариации одной болезни. Болезнь не исключительно русская, не европейская даже, а мировая, в том числе и американская. В книге Сарояна мысль эта отлично выражена. «Мир целостен, подобно одному человеку, — говорит старик Вилли Гроган юному Гомеру Маколею. — Точно так же, как в тебе зло соседствует с добром, имеется зло и добро во всех людях. Это перемешано

в каждом человеке, в миллионах людей всех наций. И нашей нации, разумеется. Как сознание отдельного человека борется против того, что противостоит ему в собственной натуре человека, так эти противоположности ведут борьбу в целостном организме всего живущего — во всем мире. Так возникает война. Организм борется против проникших в него болезней».

Как? Каким образом борется? Признаться, я не надеялся найти ответ у Сарояна. Повинны в этом были дикие, невежественные представления об Америке, как стране механической цивилизации. Автомобили, холодильники, всяческая машинерия в громадном количестве и — стандартизация человека. Научившись читать по-английски, я не мало удивился, что Америка не только фабрикует автомобили и холодильники, но в то же время создает идеалы нового, более справедливого устройства жизни, находится и в духовном отношении на подъеме. Наиболее благородная функция русской литературы — защита униженных и оскорбленных — ныне целиком перешла к американской литературе. Почти повсюду, не говоря уже об СССР, традиция эта утрачена, тут же сохранена, обновлена, усилена. Кончик нити, оборвавшейся в России, подхвачен Москвой американской литературе. Почти повсюду, не говоря уже об себе, как о наследнике Достоевского и Толстого, Тургенева и Чехова, — это правда. Во многих его рассказах есть «touch of Russia». Немало рассказов, прямо посвященных русской теме: «Русский писатель», «Маленькая собаченка смеялась», «Пролетарский джаз», «Черные татары», «Свист», «Армянин с армянинизмом», «Нищие», «Гитарист из Омска». Только человек высокого духовного типа, писатель, воспитанный на великой русской литературной традиции, мог написать такую полную благородства книгу, как «Человеческая комедия». Книгу, проникнутую болью и озаренную тихим светом надежды. В ней идет речь о болезни, проникшей в целостный всечеловеческий организм, и о пути выздоровления.

Мы видим американскую семью в годы войны. Вдова Кити Маколей и трое детей — Бесс, Гомер и четырехлетний Уллис; старший, Маркос, в армии. Бедная семья: солдатского пособия не хватает, Гомер, 14-ти лет, днем посещая школу, ночами работает курьером на телеграфе. Первая телеграмма, которую ему пришлось доставить, извещала вдову Розу Сандовал, что сын ее, Хуан Доминго, убит в бою; впоследствии такую телеграмму получила и вдова Кити Маколей об ее сыне Маркосе. Война — болезнь мира. Болезнь эта проявляется не только в убийстве людей людьми на передовых позициях. Парень из

Пенсильвании приходит ночью к Томасу Спанглеру, начальнику телеграфа, чтобы ограбить и, если придется убить: «Каждый убивает каждого и я не прочь убить тебя, не возражаю и самому быть убитым». Только крошка Уллис не знает страданий: он в радости первых открытий мира. Мэри, соседская девушка теряет жениха. Гомер делает первые шаги в жизни, и вот его одолевают кошмары, он плачет и кричит во сне. Тем не менее, в атмосфере, окружающей эту семью, как и всё страдающее человечество, есть нечто, что вселяет уверенность: болезнь мира будет преодолена.

«Организм борется против проникших в него болезней, — говорит Сароян устами старика Грогана. — Но не тревожься насчет исхода битвы, потому что добро длится вечно, а зло погибает тотчас же, как рождается. Больное тело и больной дух всегда восстанавливаются. Они могут быть снова поражены болезнью, но они всегда становятся лучше. Всякий раз, как новая болезнь прихлдит и уходит, тело и дух крепчают, пока не станут могучими, какими и должны быть, чистыми от всякой гнили, более утонченными, мягкими, благородными, недоступными разложению. Каждый человек, какой бы он ни был, правильный или дурной, ищет. Вор и убийца — тоже в поисках. Никто не умирает попусту. Умирают, ища милости, ища правды и справедливости. И настанет день, когда все человечество — каждый из нас, каждый последний из нас — обретет дом, получит милость, и этот чудесный и дурной мир станет царством доброты и благодати».

Тема утраченного и обретенного дома — центральная тема повести Сарояна. Начинается повесть картинкой: крошка Уллис машет рукой вслед проходящему товарному поезду, и ему откликается путешествующий на грузовой платформе негр — песней о старом доме в Кентуки и радостным криком «еду домой, парнишка!». Томас Спанглер, к которому ночью пришел грабитель, протягивает ему 75 долларов, оказавшихся в наличии: «Бери деньги, садись в поезд и двигай домой в Пенсильванию. Иди к дому, которому ты принадлежишь. Ты не преступник, и ты не так болен, чтобы не выздороветь. Твоя мать ждет тебя. Эти деньги — мой подарок ей. Ты не будешь вором, если возьмешь их. Бери деньги, положи револьвер и иди домой. Брось револьвер, ты почувствуешь себя лучше». Наконец мы попадаем в воинский эшелон, по дороге к фронту. Тоби Джордж, приятель Маркоса Маколея, полкидывает, воспитывался в приюте. Вырос он одиноким, не знает отца-матери, одни принимают его за испанца или француза, другие за ита-

льянца или грека, а он и сам не знает своей национальности. Только в войну — подобно тому, как это было у нас в России — он обрел чувство родины. «Первый раз в моей жизни я чувствую, что я чему-то принадлежу», — говорит он. И потом молится: «Дай мне обрести дом. Найди дом каждому бездомному». Маркос гибнет, но приятель его, потеряв одну руку, возвращается в Итаку, в семью Маколеев, где его встречают, как сына и брата. «Мать улыбнулась ему, как бы то был сам Маркос, и солдат вошел в дверь, в тепло и свет дома», — так заканчивается книга.

Тепло и свет дома — целительны. Болезнь человечества не будет излечена, если молодежь не вернется к дому. Тут лежит проблема войны и мира... Тихий летний вечер в деревне: крестьяне едут с пашни, пастух гонит коров с пастбища, тянутся цепочкой утки с реки, хозяйка сзывает семью на вечерю — типическая мирная картина. В ней два момента: всё имеет свое место; ничто не существует само по себе, а представляет часть целого. Таковы устои мира. Когда они рушатся — происходит война. В «Человеческой комедии» мы видим островок мира — семью Маколеев. Какие бы ветры вокруг ни свистели, в семье Маколеев равновесие не нарушится. Потому что как первая, так и вторая опоры крепки.

Едва читатель открывает книгу, его обступает солнечный, утренний мир Уллиса, младшего из Маколеев. Птица на ореховом дереве, сурок в норе, старик на тропинке, проходящие поезда, негр и его песня, — на всё малыш смотрит внимательными, широко открытыми глазами. Мягкая улыбка, озаряющая детское лицо, как бы говорит «да» всему, что открывается перед ребенком на земле и в небе. Но это «да» сохраняют и взрослые люди: старик Гроган смотрит вокруг «с какою-то странною нежностью ко всему», даже с «яростью влюбленного». Кити Маколей говорит: «Мир полон вещей, которые нелегко понять — хороших и плохих, прекрасных и уродливых, щедрых и жестоких, но все они вместе составляют одно целое — мир и жизнь людей в мире». Целостное принятие жизни — всего, что есть в ней хорошего и плохого, потому что плохое тоже имеет и всегда будет иметь свою долю в жизни. Не в том дело, как воображают некоторые, в особенности коммунисты, чтобы истребить зло и добиться абсолютной справедливости (установить рай на земле); такая борьба, напротив, ведет к нагромождению зла на зло и установлению абсолютной несправедливости, что и показывает пример России. Проблема состоит, если так можно выразиться, в возможно

более человеческой организации несправедливости, чтобы она — неизменно тяжкая для человеческого тела — не была бы невыносима для души, т. е. сущности человека «Yes to all things» — только такая душевная установка помогает человеку находить свое место в жизни. Маркос Маколей пишет младшему брату из армии: «Я не чувствую себя героем. У меня нет дара подобных переживаний. Ни к кому у меня нет ненависти. Так же не чувствую себя настроенным патриотически, потому что я всегда любил мою страну — ее народ и города, мой дом и мою семью. Пожалуй, я не хотел бы быть в армии, и лучше, если бы войны не было. Но я в Армии и здесь Война. Потому я хочу быть лучшим солдатом, насколько это для меня посильно. Ничего не знаю о том, что меня ждет впереди, но я покорно готов ко всему. Когда придет время, я сделаю то, что положено, и, может быть, даже больше, чем положено. Вместе со мною ребята со всей Америки, из тысяч таких городов, как Итака».

Найти свое место можно только будучи частью целого. «Птица в небе, сурок в земле, рыба в море — многообразные выражения жизни, нашей жизни, — отвечает Кити Маколей на вопрос Уллиса о чудесных вещах, увиденных им утром за оградой. — Всё, что есть живого, всё, что вокруг — солнце, земля, небо, звезды, реки и океаны, все вещи составляют часть нашей жизни». Беседуя с другим сыном Гомером, она говорит: «Нечто от нас есть в самом злом человеке и нечто от него есть в каждом из нас. Он — наш, и мы — его. Мы неделимы один от другого. Молитва крестьянина — моя молитва, преступление убийцы — мое преступление». Так человек входит в тонкие, разветвленные отношения не то что с миром, но с мирами — прошедшего, настоящего, будущего.

Широкий круговорот жизни: отцы — сыновья — внуки. Мой отец, полуграмотный крестьянин, никогда не выезжал из Сибири, а я исколесил Россию, прошел Польшу, Германию, Францию, пересек Атлантический океан, тем не менее, корни мои там, на берегу холодного, сверкающего форелью Кана, в бревенчатой деревне у подножия горы Янды. Жизни — моя и отцовская — непохожи только по видимости. Корявые корни непохожи на ветви, обряженные узорчатой листвой, а зелень ветвей отличается от пестроты цветов, но и корни, ветви, цветы — одно дерево. Напряженное чувство дома в равной мере присуще как мне, так и моему ровеснику из Калифорнии. Не одной повестью, а всем своим творчеством Уильям Сарсян выражает идею органического развития. В одном автобиогра-

фическом рассказе он, сидя за пишущей машинкой, разговаривает с портретом отца. «Портрет — точно зеркало, я вижу в нем самого себя. Почти в таком же возрасте, как отец в момент, когда фотографировался. Точно такие же усы, как и он носил в то время. Я обожаю этого человека. Всю мою жизнь я сболжал его. И теперь, печатая этот рассказ, я хочу показать вам, что я и мой отец — один и тот же человек». На следующей странице автор переходит от темы отца к теме внуков, т. е. своих сыновей: «Вместе с отцом я буду в земле, которую мы оба так любили. На поверхности этой старой земли я оставлю сыновей, юных друзей, которых попрошу быть смиренными, как некогда мой отец просил меня: «Будь смиренным, мой сын. Ищи Бога».

Тут мы подошли к истоку: творчество Сарояна берет начало в глубинах христианского сознания. На какую силу опереться? — тревожно спрашивает молодежь по всему миру. Во что верить? Какой дорогой идти? На вопрос о религии Антуан Лебре расхохотался: «Бог умер...». Вина тут не Антуана Лебре. Вины ваты ли несчастные русские мальчики, выросшие в тюремных стенах, что они утратили чувство родины? Нет, виноваты те, что воздвигли стены. Кто бросит камень в юношу, сказавшего, что в нем «Бог умер...»? Нет, надо прежде подумать о тех, которые умертвили в нем Бога. Но воскресения православные священники выходят на амвоны, католические и протестантские поднимаются на кафедры и жалуются: верующие охладели к церкви неверующие одержимы ненавистью к церкви... Были же, однако, времена, когда церковь воспламеняла апостолов, преодолевала ненависть языческих жрецов. Не потеряла ли сама церковь — историческая церковь — ту закваску, без которой не творится хлеб? Джон Стрикман, парень из Пенсильвании, говорит: «Дайте мне найти одного непродажного, честного человека в мире, чтобы и я мог быть честным, чтобы и я мог верить и жить». Но так же мог бы сказать и Антуан Лебре: «Дайте мне увидеть хоть одного глубоко верующего человека — не такого, который принимает к сведению папские энциклики или отбивает поклоны в церкви, а который живет верой по-настоящему, героически, творчески, тогда и я смогу жить в вере». Творчески Уильям Сароян устремлен к героическому христианству. Христианство — творческая религия. Не только вера в Бога, но и вера в человека, в проявление в человеке божественного начала. «Жизнь должна быть творима каждым человеком, который имеет в себе дыхание Бога, — пишет Сароян. — Я сказал, что я глу-

боко религиозен. Да, это так. Я верю, что я живу, и надо быть религиозным, чтобы поверить в это».

Так, наконец, нашла решение «проблема Сарояна». Более десяти лет назад в моем сознании возник вопрос: что — «мы», советские молодые люди, и что — «они», наши ровесники в Европе и Америке? Теперь жизнь ответила: никаких «мы» и «они» — только одно большое «Я». В Нем, про которого было сказано «се Человек», объединяются все люди, рассеянные по лицу земли. В Нем и я, белоголовый парень, появившийся на свет в бревенчатой избе в Сибири, и мой ровесник, выросший среди виноградников Калифорнии. Какая преграда между нами? Только стена, воздвигнутая Советами. Правда, внешне мы непохожи: иные привычки, иные привязанности, иной язык, ибо даже разговаривая с милой по-английски, я не могу обойтись без русского слова «лапочка». Богу было угодно сделать меня русским человеком — таково мое назначение в этом мире. Это вовсе не значит, что я ношу русское имя, как кокарду на лбу, медаль на груди или перо на шляпе. Имя это мною не куплено и не заслужено — «русскость» никакая не награда и не привилегия. Просто-напросто таким родился: «русскость» разлита в моей крови и от меня неотделима. Точно так же иные рождаются бразильцами, французами, китайцами, американцами, турками, англичанами... Как бы ни были мы непохожи внешне, мы составляем целостный все-человеческий организм. Посмотрите, как дерево связывает воедино многообразные — непохожие внешне — частности. Так и Он объединяет нас, не уничтожая наших особенностей, не стирая нашего многообразия. Кем бы я ни был — Минька ли из сибирской деревни или Майкл, Мишель, Михась, Мигел, Микеле — я только Его кровинка, только крохотный лепесток на всемирном древе жизни. Будучи русским, я имею мой дом — Россию. Будучи Его сыном, я имею мой дом — Церковь вселенскую, понимаемую, как тело Христа.

Драгоценно духовное наследство минувшей войны. Много умерло и многое окрепло в душе солдата. В особенности же поднялось и утвердилось чувство дома, очага. Тепло и свет дома — единственная гарантия от войны; в такой атмосфере вредоносные бактерии не размножаются, гибнут. Большевики, носители заразы, попрежнему вытравливают понятие дома, обрекают молодежь на новые скитания. Провозглашают «советский» патриотизм, который-де выше старорежимного русского, обрывают установившуюся было связь внуков с дедом. Железным занавесом отгородили Россию — у солдат.

побывавших в Европе и опять очутившихся за тюремной стеной, теперь еще большее, нежели до войны, наваждение заграничьи. Ненавистническую ведут кампанию против западных демократий — в ходу прежнее «мы и они», нарушение кровобращения в мировом организме. Надеемся и твердо верим, однако, что теперешние старания большевиков безуспешны. Психологический климат переменился в военные годы. От одного того уже переменилась обстановка, что мы, советские молодые люди, познакомились лицом к лицу с нашими ровесниками в Европе и Америке — познакомились, узнали, кто чем жив и кто чем болен, духовно породнились. На той и другой стороне происходит крутой поворот — к религиозной культуре, братству народов, единению в теле Христа.

...Майской зеленой ночью мы проснулись в досчатом бараке, в лагере возле г. Плауэна, от какофонии автомобильных гудков, режущего света фар, хриплой руготни шоферов. На поляне перед лагерем табунились сотни три студебекеров. Павел Дронов посмотрел в окошко и протяжно свистнул:

— Приехали!

Начиналась эвакуация лагеря. Машины были американские, а шоферы русские: везти нас, бывших военно-пленных и остовцев, на тот берег Эльбы. Только из комнаты вышли двое других товарищей, живших с нами, Дронов присел на краешек моей кровати и спросил вполголоса:

— Какое же принял решение, капитан?

— Известное, — ответил я. — Позиция занята, отступать не буду.

Неделя, что мы провели в лагере, нас сдружила. Неподкупной искренностью, свежестью чувства веяло от рассказов Дронова о боях под Феодосией и десанте, где его ранило, о немецком концлагере и подземном заводе, о смерти и новом рождении. Простые, открытые его глаза то яснили, то наливались плотной и тяжелой синевой. Он с тоской говорил о России, о хуторе где-то на берегу Терека, о ставропольских степях, осененных белыми вершинами Кавказа. Всей душой он стремился на родную землю, хотя и подозревал, что его там ждет колючая проволочная ограда концентрационного лагеря, каторжная работа в лесах Печоры или на золотых приисках Колымы. После того, что он перенес у немцев, его уже ничто не страшило. «Двух смертей не бывает, а одна... уже была», — говорил он с улыбкой. В терском хлопце, повилимому, талантливому (он хорошо говорил по-немецки, по-польски и довольно сносно по-английски), развевывалась пружина: он считал,

что возвращение солдат из побывавшей в Европе армии, военнопленных и остовцев из лагерей рано или поздно, но непременно послужит на пользу России. Вместе с тем, он утверждал, что я, проделавший войну от начала до конца в рядах Красной армии, должен идти далее на запад: посланцем, вестником, гонцом. Наши дороги скрещивались: ему — нести в Россию правду о Европе, мне на Запад — правду о России, о войне, о духовном опыте русской молодежи. Правда — одна. Мир — один. Пришла пора всем нам вернуться к теплу и свету дома.

— Китай во Францию, а то и дальше — за океан, в Америку! — сказал Дронов, положив руку мне на плечо. — Знаешь, в той американской книжке, что я читаю, есть забавная сценка... военного времени, кажется, сорок второго года. Три солдата пришли в кино. Показывают кино-хронику. На экране появляется Черчилль. произносит речь. «Большой человек! Большой американец!» — воскликнул один солдат. — «Позволь, я думал, Черчилль — англичанин», — отозвался сосед. — «Конечно! — ответил первый. — Но и американец тоже. From now on every good man is going to be an American!» Поезжай в Америку! Америка — тоже наш дом, как и Россия!»

Начиналась погрузка на машины. Дронов посоветовал мне выйти из барака без шинели и вещевого мешка — налегке, чтобы не обращать внимания сыщиков, подброшенных в лагерь от НКВД. В карман я положил плоскую консервную банку, ломоть хлеба и — на память от Дронова — покет-бук, «Человеческую комедию» Уильяма Сарояна, моего ровесника из Калифорнии. На прощание пожимая руку, Дронов озарился улыбкой и повторил слова бродяги-негра, ехавшего на грузовой платформе в Кентуки и кричавшего крошке Уддису:

— Going home, boy — going back where we belong

Михаил Коряков.

ПИСЬМО О ПОСЛЕДНЕМ БЕРДЯЕВЕ

О мертвых говорить хорошо, или не говорить ничего, принято с древних времен. Иногда это делается одновременно: так говорят хорошо, что ничего этим не говорят. Но такая речь не подходит к памяти ушедшего с земли Н. А. Бердяева, мыслителя, умевшего от имени русского народа и его культуры мыслить и говорить вслух многих людей, во многих народах... Не раз подчеркивалось, что его книги, вышедшие на главных европейских языках, доставили ему известность и уважение во всем мире гораздо большие, чем он имеет в русской эмиграции, не говоря уже о сегодняшней России. Незадолго перед своей кончиной он был награжден в Оксфорде степенью доктора *Honoris causa* вместе с фельдмаршалом Монтомгомери. Очевидно, его наградили, как... фельдмаршала русской религиозно-философской мысли. Так или иначе, почет воздали не только ему, но и русскому религиозному сознанию.

О Бердяеве надо говорить, и говорить надо хорошо, не в смысле надгробном, но со всею философской искренностью и религиозной правдивостью. Но с его памятью связаны, в наши трудные дни, мучительные проблемы русского зарубежья. Этим объясняется, что строки, до сих пор посвященные его памяти в зарубежных изданиях, носят характер сдержанности и недоумения... Бердяев, незадолго до своей кончины, слишком близко подошел к демаркационной линии, отделяющей, по мнению русской эмиграции, белое от черного. Не мало людей, и в Европе, и в Америке, к этой же самой линии легко подходило во время войны. Тогда это «было можно»... Но благоприличие этого, как быстро началось, так быстро и кончилось; упали маски, поблекли декорации. И с одной, и с другой стороны. Многие это — сейчас поняли. Бердяев — а м е д л я — это понять. Он, может быть, счел неприличным для своей философии слишком скоро, т. е. слишком политически это понять... И вот, эмиграция не может этого ему простить. Когда по окончании войны настала уверенность, что

Карл Маркс в России вновь победил победителя немцев Александра Невского, и нет более оснований надеяться на и д е я н о е о к о н ч а н и е русской эмиграции, Б е р д я е в не поднял своего христианского пророческого голоса, столь часто в его жизни звучавшего... Этого не могла ни понять, ни простить эмиграция именно ему, Бердяеву, автору «Генеральной линии советской философии», социальному пророку, автору «Писем к недругам по социальной философии». Здесь произошло что-то непонятное для многих: пред лицом ложных стилизаций русской народной жизни и зазываний русского зарубежья, социально-христианская совесть Николая Александровича не издала нужных звуков; стала издавать что-то бледное и двусмысленное. Горячность бердяевская заменилась теплопрохладностью кламарской, и странными словесами, как людям казалось — «про-советскими», выступал Бердяев в Париже... В эмиграции менее удивились бы, если б Николай Александрович сейчас же поехал разделить судьбу своего народа в Москву, т. е., иными словами, в сибирскую тундру, в молчание... Казенным восхвалителем режима он бы ни при каких обстоятельствах не стал. Но то, что случилось с ним, вызвало недоумение, и даже всепримиряющая смерть не развеяла горечи его друзей, как «по социальной», так и вообще по философии... Надо что-то попытаться всё-таки распутать... Бердяев более связан с русской эмиграцией, чем это ей кажется, и чем это ему казалось. Он связан и с историей русской мысли. И здесь как-то нужно сейчас пойти, попытаться пойти по живому следу (пока мы, знавшие его, живы) и найти психологическую тропинку для его будущих биографов и исследователей, а также, может быть, отчасти и для себя. Чтоб улеглись все черты ушедшего в вечность человека в некое умиротворяющее единство. Где же разгадка последнего виража его личной и философской, не боявшейся никаких парадоксальностей, этики?

Бердяев никогда не хотел быть политическим писателем; но он всё же им был. Бердяев был и политическим писателем, хотя всё время аристократически старался держаться над политическими страстями. В сущности, он не от политических воззрений, как таковых, отталкивался, а от «политической кухни» и от политических страстей, ибо признавал для себя только философскую страсть. Здесь, повидимому, первый ключ к пониманию его а-политичности. Он был социализированным религиозным философом, т. е. и политиком, и социологом, и даже экономистом (он прекрасно говорил, что хлеб для нас

самых — это материальный вопрос, а хлеб для ближнего — это уже духовный вопрос).

Он христианизировал сколь мог всю социальность и «политику», как ее неотъемлемую часть. Был он чужд каких-либо специальных политических кулис или партийной психологии, но оставался не чужд партийной с т р а с т и, хотя ему, может быть, казалось, что он всегда парил над нею. В Бердяеве жила огромная парадоксальность: он был философом с т р а с т н о й м ы с л и, что не может быть для философа парадоксальностью. Это был фон его пророчества. Страстная а н т р о п о ц е н т р и ч е с к а я мысль, плюс воля к Царству Божию, — воздух его философического творчества. Он писал без помарок сжато-круглым почерком, повторялся, новыми кругами подходил к старому. Лишь в самых последних его книгах не так ощутительны эмоциональные нажимы пера смирятся тон и отходит от мысли «буйство молодости»; Бердяев приближается к философской эпичности.

Очень достойно Ек. Д. Кукова взяла назад свою обмолвку о том, что Бердяев «Небесного Царствия Божия не искал», а искал только земное. Без исканий Града Вышнего Бердяев, конечно, совсем необъясним и необъяснимы его земные искания. Последняя его книга «Опыт эсхатологической метафизики» особенно показывает это. Но в Бердяеве действовала еще и здоровая, чисто-православная реакция против отвлеченного спиритуализма. Здесь корни его экзистенциальности. Не в Ясперсе, а в Халкидонском исповедании Бого-человечества (равно - р е а л ь н о с т и человечества и Божества во Христе). За э т о т догмат, представляющий собою сущность христианства всех веков и всех христиан, Бердяев боролся всей своей философией, боролся против всякого теоретического и главным образом «практического монофизитства». Он реабилитировал всю жизнь во Христе, все ее проявления, всё творчество человека и даже всю его «душевность», ущербленность земную, хотя сознавал, что эта ущербленность человека неизбежно упирается в эсхатологию, в глубокий смысл смерти, как начала и условия новой великой и уже бессмертной жизни. П о л и т и ч е с к и е ж е м о т и в ы входили всё время в социально-общественные и биографические этюды Бердяева. Здесь он «заземлялся», говорил на языке мира, стремясь иногда титанически приподнять чрез энергию т в о р ч е с т в а всю нравственную и социальную атмосферу земли. Видел он, конечно, и обреченность подобных попыток, и упал опять в эсхатологию.

Марк Вишняк поставил острый вопрос: чем объясняется непоследовательность Николая Александровича самому себе, проявившаяся в увлечении советской властью после войны? Ни психологически, ни философски, М. Вишняк не берет на себя толкование сего факта. Ек. Д. Кускова нечто предлагает в его объяснение. Но защита ее добрая, дружеская, остается словно недоконченной. «Считать что-либо в мире (в данном случае большевизм) исторически-законмерным и вследствие этого приемлемым для себя, и вообще для всех Бердяев никак не мог; он всю жизнь боролся именно против принятия какой-либо «закономерности» чего-нибудь, составившего на личность человеческую, на ее свободу, на неповторимый «образ Божий» в человеке. Историю Бердяев совсем не понимал, как благополучную или неблагополучную закономерность; он видел в истории перманентную революцию духа человеческого за или против Бога; он титанически боролся против всякой «закономерности» падшей, косной родовой человеческой эмпирии. Он хотел эту не-экзистенциальную эмпирию упразднить усилием личности, свободного духа. Он потому так и ценил, в сущности прометеевскую, утопическую философию Н. Федорова, что тот восстал даже против физической смерти людей в самой истории, в эмпирии этого мира. Бердяев был в восторге от этого сверхдержновения Федорова, предложившего человечеству общим волевым усилием воскресить всех своих мертвецов-предков... Возможности человеческой свободы представлялись и Бердяеву почти неограниченными, в силу этого его доверие к экзистенциальной сущности человека. Из этого выросла вся философия свободы Бердяева, всё его борение за достоинство и преображение человеческого духа. Он высоко ценил Федорова, но сам, в сущности, не был таким историческим и метафизическим оптимистом; видел конец истории, необходимость нового, богосыновнего зона.

В почитании и прославлении свободы богосыновства Бердяев был безусловно христианином. Был он им и в служении идеи преображения личности и всего космоса в Духе Святом. Он был аристократичен, если не всегда в истоках, то всегда в направленности своей мысли. Он был более ортодоксален, чем о нем думают (и чем он сам о себе, может быть, думал), но говорил он на подчёркнуто светском языке, избегая богословских терминов неизменно опасаясь упрека в «официальной ортодоксальности» (страх, оставшийся у него от молодости; в этом страхе есть

черты несвободы). Он был аристократом мысли, и всякая «комюнотарность» убеждений и верований его невольно страшила; — был в нем и отзвук Ницше. Нечто в его писаниях объяснимо некоей юношеской чертой его характера. Он всегда подчеркивал свою свободу от школ и авторитетов.

Ек. Д. Кускова недостаточно верно, без учета его духовной, религиозной стороны, в которую никогда не вникала (как сама признает), поняла Бердяева. Ни философски, ни психологически бердяевское «принятие октября» необъяснимо ссылкой на историческую неизбежность «октября» в русской истории. Но верно то, что «октябрь» обьясним некоторыми чертами русской истории, а также и русских исторических грехов.

Бердяев никогда не считал себя эмигрантом. Он не бежал из России. Он был выслан с большой группой профессоров и никогда не забывал факта своего недобровольного отъезда из России. Все годы парижской жизни он принадлежал церковно к г-не Ретову к «Патриаршему» приходу. Он и внешне, «юридически», держался в церкви за русский ствол, хотя был достаточно философичен и православен, чтобы видеть совершенную религиозную равноправность и равночестность в Европе и юрисдикции Вселенского Патриарха, куда, ища спокойствия мыслей и совести, отошла почти вся православная эмиграция Франции, после осознания ряда трудностей, связанных с церковноадминистративным отношением к Москве. Он подчеркивал необходимость для себя «разделять судьбу России». Он несколько искусственно создавал в себе мир не-эмигрантский, отмежевывал себя от классической парижской эмиграции. Он не хотел быть вообще ничем «классическим, тем более эмигрантом, хотя хотел, конечно, пользоваться предельной социальной и интеллектуальной свободой эмиграции.

Бердяев писал не только для эмиграции. Во время и после войны в нем несомненно укрепилась мысль о, может быть, предстоящих вскоре возможностях непосредственного его обращения к русскому народу... Он жил этой мыслью, как всякий русский писатель. Он был писателем. Говоря справедливо, что «заграницей» «Бердяева и читали, и понимали больше, чем в русской эмиграции», Ек. Д. Кускова, нам кажется, преуменьшает значение журнала «Путь» и влияние книги Бердяева на русскую эмиграцию двадцатых и тридцатых годов. Она не заметила того факта, что с Бердяевым в русской среде не принято соглашаться, но его книги всегда

читались мыслящими людьми эмиграции, и журнал «Путь», направляемый Бердяевым, был одним из больших культурных явлений русской эмиграции.

В 1945 году Николай Александрович стал «зондировать» советскую действительность, пытаясь наладить контакт с ней, предельно «истощаясь» в этом отношении, приспособляясь к приему таких гостей, каких видел у него Мих. Коряков... Он искал и ждал чего-то. Может быть, умер оттого, что не нашел. Не хотел «отстать» от России, и, в чем только возможно, из Кламара, из своего домика (подаренного ему, кажется, одной читательницей, какой-то голландкой *), пытался «разделить судьбу русского народа», принять его путь, впрочем, как мы знаем, с некоторой осторожностью (о чем свидетельствует и Ек. Д. Кускова в своей статье). Здесь было нечто от старика, который хочет идти в ногу с жизнью, с временем... Этим он себя привязывал к времени, поработал ему.

Конечно, и скепсис в отношении эмиграции играл свою роль в этом благожелательном (хотя все же и несколько свысока) обращении его к советской действительности. Бердяев всё-таки видел, что его главная будущность литературная — в России; он, может быть, не хотел войти в историю лишь как без-диалектический отрицатель немалого уже «советского периода» русской истории. Он воспользовался последней войной, для себя самого, для своей души воспользовался, чтобы принять нечто реальное, что «весь народ переживает». Он проявил нетерпение... Он хотел и пережить неизведанное. Он был любителем своеобразных интеллектуальных «острых ощущений».

Он знал, что его «Генеральная линия советской философии» и его «Философия неравенства» («Письма к недругам по социальной философии») есть, может быть, самое острое, что было написано не только им, но и вообще, против большевизма и его философии... Николаю Александровичу нужно было «замкнуть диалектику», испытать себя теперь по-человечески разговаривающим с ближайшими наследниками своих «недрузей по социальной философии»... Здесь было и нечто от ари-

*) Помнится, добродушно над этим шутили в Париже: "Бердяев стал.., домовладельцем"... Это был парадокс...

стократического (между прочим, чисто западного, не русско-го) интеллектуального снобизма и чуть-чуть от достоевщины.

Есть еще одна психологически-объяснимая, как нам кажется, сторона в этом его «замыкании» диалектики. Бердяев был и чувствовал себя, всю свою жизнь, апологетом *духовного начала в «левом секторе»* русской общественности. Он хотел быть всегда «певцом во стане русских»... революционеров. Ни в каком другом стане. Здесь его подстерег тот соблазн последних дней, о котором справедливо и не без горечи упомянул М. Вишняк. Но — «кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Никто, почти никто не может «бросить камень» в Николая Александровича. Но, конечно, *про р о ч е с к и* и эсхатологически, арбитром подлинной христианской все-человечности может быть тот, кто стал *в ы ш е п о л и т и ч е с к и х э м о ц и й* и национальных пристрастий.

В противоположность Вл. Соловьеву, Бердяев оказался, в последний период своей жизни, ниже своей собственной большой религиозной установки. Здесь и он отдал дань «практическому монофизитизму», в котором справедливо упрекал некоторых церковников. *Ц а р с т в е н н а я* *в с е ч е л о в е ч н о с т ь* иногда отлетала от Николая Александровича. То были срывы.

Близость к «левым католикам» (значительному социальному и философскому движению во Франции) еще более укрепила Бердяева на его несколько провинциальных, для философа его масштаба, социальных позициях последнего времени. Он так и не смог пересилить своего общественно-левого аристократизма. Несомненно, он также боялся, что его как-нибудь зачислят в «капиталистический» лагерь, слугой которого его считал еще Бухарин, за его выступления не только против капитализма, но и против диктатуры партийных и государственных идей.

Нам кажется, что кламарский Бердяев немного пережил романтику своей молодости и старческое стремление к своей земле. Всё это человечно; не в высшем, конечно, смысле, а в самом простом, земном. Он жадно, хотя и несколько половинчато, переживал новую «встречу с Россией» и больше *н о* хотел «по-бердяевски» громить марксизм в России, как *п о с л е д н ю ю ф о р м у б у р ж у а з н о с т и* *м и р о в о г о с е к у л я р и з о в а н н о г о д у х а*; не хотел — может быть, перед лицом русских страданий и ран. Но он несомненно еще яснее, чем раньше, видел убоже-

ство и претенциозность советской идеологии, возвращавшейся к некоторым истинам общечеловеческой культуры, как и неким особым замечательным достижениям «нового», «советского» человека. Он, повидимому, как-то по-федоровски поверил, что убогая идейность линияющей революции может переключиться в «революцию духа», возвестителем и возжигателем которой был он. Он поверил в воскресение своего творчества в России.

В огромных достижениях серых, безгласных (или, что еще трагичнее, стандартно-гласных) советских масс, в их суровом подневольном аскетизме, во всечеловечности и полярности русского характера он, повидимому, хотел найти зерно того будущего исторического эона, той более «целостной» культуры человечества, которую он некогда возвещал... Нам, современникам, не приходится выносить ему исторического приговора. Для лучшего познания своей собственной культурной и религиозной ответственности, нам дано лишь распутывать клубки идей и намерений этого большого и человечно-взволнованного мыслителя, себя самого старавшегося всё перерасти и пережить.

И с нашей стороны было бы человечным — помочь освободить память его, возвестителя экзистенциальности, от всего неэкзистенциального.

И. Пантелеев.

ОСЕННЯЯ ЛЮБОВЬ ДЕНИСА ДАВЫДОВА

(ИЗ КНИГИ «ДЕНИС ДАВЫДОВ»).

Летом 1832 г. Давыдов, которому исполнилось 48 лет, стал сознавать, что радости ушедшей молодости им утрачены навсегда. Он решил оставить столицу с ее шумной, завлекательной жизнью и перебраться на год-полтора в деревню. Он поэтому со всей семьей переехал в Мазу, свое симбирское имение, и вскоре оттуда, поглощенный провинциальным уютом, радостно писал приятелю своему, кн. П. А. Вяземскому: «Поверить не можешь, как сельское безмолвие и чистый воздух упоительны... Я нежусь в моем уединении. Ничего не хочу, кроме спокойствия... Жена да дети — пища душевная, а для лакомства — книги, бумага, перо и чернила, охота псовая и ястребина...»

Позднее в другом письме он ему же писал: «Я проживаю здесь так, что лю-лю! И не думаю о столицах». Впрочем, под боком у Давыдова была приманка — Пенза, всячески тянувшаяся за Москвой. Веселая, широкая жизнь Пензы привлекала, конечно, его, как он и признавался в письме: «Зимой хочется съездить в Пензу, пензенские жители дают вечера и балы». Здесь он по старой привычке ухаживал за местными прелестницами и между прочим на одном из балов повстречал Евгению Дмитриевну Золотареву, племянницу старинного своего приятеля Дмитрия Алексеевича Бекетова, прадеда Александра Блока, доброго и образованного человека, который был в дружбе и с князем П. А. Вяземским. «От нечего делать, — признавался ему Давыдов, — я напевал на ухо твоей Eugénie».

С первой встречи Давыдов был захвачен Золотаревой и под свежим впечатлением написал четверостишие:

Вошла, как Психея, томна и стыдлива,
 Как юная Пери, стройна и красива...
 И шопот восторга бежит по устам,
 И крестятся ведьмы, и тошно чертям».

Стихи эти были первыми из целой серии, написанных им в дальнейшем для овладевшей надолго его думами «Eugénie».

В начале 1834 года Давыдов, только что несколько оправившийся от припадков астмы, которою страдал, отдавая себе отчет в своем новом увлечении, писал о молодой провинциальной красавице:

«В тебе, в тебе одной природа, не искусство,
 Ум обольстительный с душевной простотой,
 Веселость резвая с мечтательной душой,
 И в каждом слове — мысль, и в каждом взоре — чувство».

Вяземскому, хорошо знавшему семью Золотаревых и, видимо, также увлекавшемуся Евгенией Дмитриевной, Давыдов писал: «Я из степного жилья моего переехал на зиму в Пензу, где теперь, как сыр в масле, что кстати для масленицы. Здесь ежедневно балы, гастрономические обеды, вечера, катанья, благородные спектакли и концерты, словом, весь хаос столы с ее надеждами, сплетнями, интригами, волокитством, а как я, подобно тебе не могу быть без юбки-вдохновительницы, то избрал для себя бывший твой предмет Золотареву и подобно тебе веду ее к бессмертию».

Золотарева была, по воспоминаниям современников, «молодая девушка выдающегося ума и образованная красавица». В семье прочны были литературные традиции; так, Вяземский еще в 28-м году писал Пушкину о матери Евгении Дмитриевны: «Золотарева баба-молодец, все главы Онегина знает наизусть». На 50-летнего Давыдова «Eugénie» произвела очень сильное впечатление и, как с ним бывало в подобных случаях, вызвала в нем к новой жизни молчавшего «беса поэзии». Взволнованно писал он 30-го апреля Вяземскому: «Я теперь в восторге поэтическом, без шуток, от меня так и брызжет стихами. З-ва как будто прорыла заглухший источник. Последние стихи сам скажу, что хороши». О том же Давыдов писал Языкову 16-го февраля: «Пенза — моя вдохновительница; холм, на котором лежит этот город, есть мой Парнасс: здесь я опять принялся за поэзию».

Оказавшись снова во власти как будто навсегда заглух-

шего чувства, Давыдов свои переживания поверял и Пушкину: «Знаешь ли, — сообщал он ему 4-го апреля, — что струны сердца моего опять прозвучали? На-днях я написал много стихов, так и брызгало ими. Я, право, думал, что рассудок во мне так разжирел, что вытеснил последнюю поэзию; не тут-то было, вострепелась небесная, а он дай Бог ноги! Так что и по сию пору не отыщу его. Совестно мне посылать тебе мои пустые сердечные бредни, но если прикажешь, я исполню волю моего парнасского отца и командира».

Золотарева захватила 50-летнего Давыдова целиком и вновь пробудила в нем весь былой жар его. В своем письме к Вяземскому от 3-го апреля он признавался: «З-ва всё поставила вверх дном: и сердце забилося, и стихи явились, и теперь даже «текут ручьи любви», как сказал Пушкин». А в ответ на шутливые попреки Вяземского, напоминавшего ему про разницу в годах, Давыдов писал: «Я что-то не верю твоей зависти моей помолоделости. Да и есть ли старость для поэта?»

Мысль эта, однако, тревожила его, и не раз возвращался он к ней. Так, тому же Вяземскому он 28го мая писал: «Что я за Мазепа другой, чтобы соблазнять другую Марию? Я под старость чуть было не вспомнил молодые лета мои; этому причина бродящий еще хмель юности и поэзии внутри головы и черная краска на ней снаружи; я вообразил, что мне еще по крайней мере 30 лет от роду».

Давыдов, действительно, отдался своему последнему увлечению со всем пылом своих былых тридцати лет. Всё пленяло его в Золотаревой. «В тебе», обращался он к ней, «... в тебе одной природа, не искусство ...». Вдохновленный «чудом красоты и прелести», по выражению Давыдова, он Н. М. Языкову 16-го февраля переслал «на суд» посвященную Золотаревой чрезвычайно грациозную пьесу «Вальс»:

«Кипит поток в дубраве шумной
И мчится скачущей волной,
И катит в ярости безмной
Песок и камень вековой.
Но покорен красотой невольно,
Колышет ласково поток

Слетевший с берега на волны
●сенний, розовый листок.
Так бурей вальса не сокрыта
Так от толпы отличена,
Летит воздушна и стройна
Моя Любовь, моя Харита,
Виновница тоски моей,
Моих мечтаний, вдохновений,
И поэтических волнений,
И поэтических страстей».

Золотарева овладела всеми думами Давыдова.

«Виновница моей мучительной мечты...», называл он ее в написанном ей в альбом стихотворении, смягчив словом «виновница» первоначально вырвавшееся у него слово «владычица»:

«О, кто, скажи ты мне, кто ты,
Виновница моей мучительной мечты?
Скажи мне, кто же ты? — Мой ангел ли хранитель,
Иль злобный Гений разрушитель
Всех радостей моих? — Не знаю, но я твой!
Ты смяла на главе венки мой боевой,
Ты из души моей изгнала жажду славы
И грезы гордые, и думы величавы.
Я не хочу войны, я разлюбил войну, —
Я в мыслях, я в душе храню тебя одну.
Ты сердцу моему нужна для трепетанья,
Как свет очам моим, как воздух для дыханья.
Ах! Чтоб без трепета, без ропота терпеть
Разгневанной судьбы и грозы, и волнения,
Мне надо на тебя глядеть, всегда глядеть,
Глядеть без усталости, как на звезду спасенья!
Уходишь ты, — и за тобою вслед
Стремится мысль, душа несется,
И стынет кровь, и жизни нет!..
Но только что во мне твой шорох отзовется,
Я жизни чувствую прилив, я вижу свет,
И возвращается душа, и сердце бьется!..»

Свой «Вальс» Давыдов отправил 20-го февраля Вяземскому с просьбой «отдать Смирдину за деньги», и тут же по-

яснял: «По стихам этим ты подумаешь, что я смертельно влюблен, и хорошо сделаешь...»

Между тем, пьеса эта была без ведома и разрешения Давыдова напечатана в «Северной Пчеле» в корреспонденции из Пензы известного водевилиста того времени П. Н. Арапова, подхватившего стихотворение в ходившем в городе списке и снабдившего его более чем прозрачным примечанием: «Один из любимых наших поэтов, отдыхающий у нас от бурь военных — в мире счастливый певец Вина, Любви и Славы — смотря на наших полувоздушных спутниц Терпсихоры, порхающих в вальсе, воспел одну из них следующим образом».

Эта нескромная заметка, равно как и самовольное опубликование стихов, вызвали, естественно, сильное неудовольствие автора, не желавшего давать лишнюю пищу городским разговорам. В довершение беды, Вяземский, поместивший вслед затем «Вальс» в «Библиотеке для Чтения», снабдил пьесу зачем-то красноречивой пометкой «Пенза», снова приурочивавшей стихи к определенному месту и лицу. Давыдов, вероятно уже и без того принужденный выслушивать попреки жены, до сведения которой не могли не дойти толки о новом увлечении мужа, писал поэту Вяземскому 28-го мая из Мазы, куда он на время вернулся: «Злодей, что ты со мной делаешь! Зачем же выставлять «Пенза» под моим «Вальсом»? Это уже не в бровь, а в глаз. Ты забыл, что я женат, и что стихи писаны не жене... Видно придется любить прозою и втихомолку».

Дальше Давыдов отшучивался: «Если бы, подобно тебе, я сначала приучил жену читать стихи мои ко всем красавицам без разбору... Правда, что жена моя не верит моим восторгам к другим, ну, а как неравно поверит? Ведь такую гонку задает, что своих не узнаешь».

Несмотря, однако, на свое искреннее и сильное увлечение Золотаревой, Давыдов по старой привычке продолжал одновременно отдавать должное и другим местным «красавицам». Так, Языкова он 16-го февраля из Пензы, сообщая о получении им письма от Боратынского, недоуменно спрашивал: «Неужели симбирские красавицы не имеют влияния на поэта и на поэзию? Приезжайте сюда, ручаюсь, что здесь самый сухой приказный ударит по струнам лиры».

Вяземскому Давыдов 20-го февраля писал: «Простовологая головка продолжает побеждать заезжих и проезжих. Блонина стала любезнее и еще пламеннее, чем была, но всё строгая хранительница клокующей лавы, тщетно рвущейся в кра-

тер наслаждения». Видимо, Давыдов имел основания шутливо писать в своем письме к Языкову: «О гомеопатии ничего не скажу; я здесь аллопатически пью вино и удовольствие. В Мазу еду 6 или 7 марта очищаться от грехов всех родов поэзии».

Перед отъездом Давыдову удалось получить разрешение Золотаревой с ней переписываться. Опасаясь огласки и не будучи, видимо, вполне уверенной в его скромности, она долго отказывала Давыдову в согласии на обмен письмами. В одном из своих первых писем к ней Давыдов поэтому указывал, что сомнение в данном им слове он может простить только ей, «а то каждого он сумеет бы заставить верить ему»; он добавлял при этом для ее успокоения, что сохранение тайны переписки не менее дорого и ему, как человеку женатому.

Завязалась тайная переписка на французском языке. В своих письмах, однако, Давыдов говорил о своем чувстве с таким жаром, так страстно, что Золотарева вынуждена была, отвечая Давыдову, указать: *le langage passionné que vous tenez dans la lettre que je viens de recevoir, me fait frémir; pourquoi empoisonner le charme de cette correspondance qui me ravit*».

Золотарева, повидимому, думала ограничиться сентиментальной перепиской в духе литературы романтической эпохи. Давыдов, всегда во власти необузданно владевших им чувств, начав с более или менее откровенных любовных признаний, мечтал претворить в действительность свою тоску по всепокоряющей любви. В ответ на непонятные ему упреки Золотаревой в чрезмерной страстности он поэтому писал ей: *«Vous avez le courage de me proposer l'amitié, mais, cruelle amie! l'amour n'est-il pas comme la vie, qui une fois eclose, ne revient plus au néant. Voyez donc franche une fois dans la vie: voulez vous vous débarrasser de moi, qui, je le sens, vous pèse et vous importune. Tuez moi raide, enfoncez moi le couteau au cœur sans sourciller en me disant: je ne vous aime pas, je ne vous ai jamais aimé. Tout de ma part n'était que tromperie, je me suis amusée»*.

Тяжелые сомнения в осуществимости любви, о которой Давыдов мечтал, тяжкие раздумья о новой любовной неудаче воплотились в стихотворении «Романс». Обращаясь к своей невольной мучительнице, Давыдов говорил:

«Не пробуждай, не пробуждай
Моих безумств и исступлений,
И мимолетных сновидений
Не возвращай, не возвращай!

Не повторяй мне имя той,
Которой память — мука жизни;
Как на чужбине песнь отчизны
Изгнаннику земли родной.

Не воскрешай, не воскрешай
Меня забывшие напасти,
Дай отдохнуть тревогам страсти
И раи живых не раздражай.

Иль нет! Сорви покров долой!..
Мне легче горя своеволье,
Чем ложное холоднокровье,
Чем мой обманчивый покой».

В другом посвященном той же Золотаревой стихотворении Давыдов заявлял:

«Я вас люблю так, как любить вас должно:
На перебор судьбы и сплетней городских,
На перебор, быть может, вас самих,
Томящих жизнь мою жестоко и безбожно.
Я вас люблю, — не от того, что вы
Прекрасней всех, что стан ваш негой дышет,
Уста роскошествуют и взор востоком пышет,
Что вы — поэзия от ног до головы!
Я вас люблю без страха, опасенья
Ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы, —
Я мог бы вас любить глухим, лишенным зренья..
Я вас люблю затем, что это — вы!
На право вас любить не прибегу к пашпорту
Иссохших завистью жеманниц отставных:
Давно с почтением я умоляю их
Не заниматься мной и убираться к чорту!»

Но всё же мечта о счастье, при всей ее безнадёжности, была так сильна, что свое полное отчаяния письмо к Золотаревой, предлагавшей дружбу вместо любви, Давыдов заканчи-

вал стихотворным признанием, способным, казалось, расшевелить даже камень:

«...Я съединил и пламенно люблю
Весь Божий мир в одном предмете,
В едином чувстве — жизнь мою».

Возбужденная ею в Давыдове страсть явно напугала Золотареву, и не думавшую о действительной любви между нею, молодой провинциальной барышней, и состарившимся в военных походах и житейских бурях, хотя и сохранившим былой гусарский пыл, пятидесятилетним генералом. Все усилия ее были теперь направлены к тому, чтобы ввести их переписку в более спокойное русло дружеской литературной корреспонденции, бывшей в то время в моде в кругах европейского дворянства. Письма ее, конечно, никак не могли удовлетворить Давыдова, справедливо называвшего их ледяными, — *des lettres à la glace* — и всё же с жадностью их ожидавшего. Отсутствие их, как он признавался, вызывало столько горя, что он, не получая писем, плакал целые дни, как ребенок.

Чтобы забыться, он обращался к своей обычной утехе и рыскал по полям или же садился за свои воспоминания о Польской Кампании. Вяземскому, бывшему в курсе тяжелых переживаний старого друга, Давыдов писал 28-го мая 1834 г.: «Собачья охота и травля поляков, о которой я пишу, увлекали меня в другую сторону...»

*
*
*

Запоздалая осенняя любовь захватила его без остатка, как он и признавался в новой стихотворной пьесе «На голос русской песни»:

«Я люблю тебя, без ума люблю!
О тебе одной думы думаю,
При тебе одной сердце чувствую,
Моя милая, моя душечка.

Ты взгляни, молю, на тоску мою
И улыбкою, взглядом ласковым
Успокой меня беспокойного,
Осчастливь меня несчастливого.

Если жребий мой умереть тоской —
Я умру, любовь проклинаячи,
Но и в смертный час воздыхаючи,
О тебе, мой друг, моя душечка!»

Письма его к Золотаревой были полны слез и воздыханий. Посылал он также ноты и книги. При отправке «*Adolphe*» Бенжамена Констана он указывал, что роман этот замечателен. Советовал прочесть «*Les feuilles d'automne*» Victor Hugo.

Из романсов он отобрал Верстовского и разные арии, слышанные им на вечере у ген. Орлова в исполнении «*La fameuse M-lle Barténeff*». У своего книготорговца Bellizard Давыдов запросил разные романы для Золотаревой. «*Vous n'aimez que le moins frivoles* — пояснял он ей, *il vient de m'envoyer un des fameux de A. Dumas. Je ne sais s'il est digne de vous être offert, je ne l'ai pas lu, car je viens de le recevoir hier... Je vous envoie «Повести Пушкина», lisez les, je suis sûr que vous les placerez au dessus de Павлов. Surtout «Выстрел», que Пущкин m'a lu lui-même un couple de fois, et que je relis avec plaisir*».

Не переставал Давыдов называть Золотареву в своих письмах: «*ma vie, ma déesse, mon ange*», несмотря на холодность и сдержанность ответов ее на его пламенные письма.

К душевным его страданиям присоединились и физические, так как припадки ревматические и астматические участились.

Давыдову уже не сиделось в деревне; последней надеждой его было личное присутствие в Пензе, где в июне, в день Петра и Павла, начиналась ярмарка и где он надеялся снова повидать Золотареву. В Пензе же мог Давыдов снова окунуться в необходимую ему праздничную и торжественную атмосферу встреч и обедов с приятелями, снова обрести суматоху, порожденную съездом со всех уездов помещиков с семьями, о которой он как-то писал Вяземскому: «У нас здесь Корсаков, у нас Тучков, оба с карамельками их фабрики. Ив. Сабуров со своими длинными периодами и короткими идеями, Яков Сабуров с обедами à la Polocky, Горкин с маской и остроумием Мефистофелеса, Обрезков с оттопыренным гузом, Устинова, проповедующая добродетель, и пр., и пр.».

Звал, конечно, в Пензу Давыдов и Вяземского. «Не приехать ли в Пензу, — писал он ему 30-го апреля, — как бы ты хорошо сделал... Я в Пензе буду на ярмарке в конце июня и

часть июля». Дальше Давыдов пустился в воспоминания о былом своем беззаботном житье в Москве. В памяти пронеслось традиционное, установившееся еще со времен Петра, гулянье под Москвой, где многие езжали в золоченых каретах цугом, запряженных лошадьми в перьях. Принимавший не раз участие в этом нарядном гулянии, где бывало до четырех тысяч экипажей и много лиц оставалось на воздухе в особо устроенных палатках, Давыдов писал: «Завтра, 1-го мая. гулянье в Сокольниках. Где Вяземский, где Давыдов... О, времена, о, век!»

Не переставал Давыдов уговаривать и Языкова ехать в Пензу. «Пустимтесь все вместе в Пензу, — писал он ему 4-го апреля, — куда я еду на ярмарку. Это будет и полезный, и приятный *«partie de plaisir»*. Тут же Давыдов мимоходом сообщал, что есть «несколько пьес, вырвавшихся из души», причем, ссылаясь на то, что «так со мной поступают друзья мои, Жуковский, Боратынский, Пушкин, Вяземский», просил, как всегда «что надо, исправить».

В одном из следующих писем Давыдов просил Языкова: «Скажите мне ваше мнение по-гусарски или по-студенчески, это всё равно, ибо и там, и там душой вино и откровенность». Тут же Давыдов, повторяя свои старые признания: «Я с вашими стихами за пазухой был в двух сражениях», добавлял чрезвычайно характерное, новое, указывая: «Я их часто читал той, которой старался тронуть сердце».

К своим переживаниям обращены были все мысли Давыдова, когда он, говоря о брате Языкова, только что объявленном женихом горячо любимой им девушки, писал: «Я не спрашиваю, чем Александр Михайлович занимается. О н л ю б и т... это звание самое привлекательное и прелестное».

**
*

В Пензе Давыдов, как и надеялся, снова встретил Золотареву. В навеянных этой встречей стихах: «После разлуки», написанных в подражание вольтеровскому «Мадригалу», Давыдов правдиво отобразил свое состояние. Он писал:

«Когда я повстречал красавицу мою,
Которую любил, которую люблю,
Чей власти избежать я лстыл себя обманом,
Я обомлел...»,

а дальше приравнивал себя к солдату-беглецу, гуляющему на

воле и встречающему «случаем неожиданным» своего «безбожного» капитана.

В Пензе же Давыдов написал еще одно стихотворение: «Моя звездочка», в котором о себе говорил:

«Море воеет, море стонет,
И во мраке, одиноко,
Поглощен волною, тонет
Мой заносчивый челнок.

Но счастливее, пред собою
Вижу звездочку мою —
И покоен я душою,
И беспечно я пою;

Молодая, золотая
Предвещательница дня,
При тебе беда земная
Недоступна для меня.

Но сокрой за бурной мглой
Ты сияние свое —
И сокроется с тобою
Провидение мое!»

Встречаясь в Пензе постоянно со своим «кумиром», Давыдов должен был окончательно убедиться, что чувства, которые питала к нему Золотарева, никак не отвечали его желаниям. Золотарева, правда, была увлечена романтическим ореолом геройства, овеявшим голову посевшего Давыдова. Провинциальную барышню, хотя бы и выше того среднего уровня, который был обычен в русской глуши того времени, притягивало легендарное имя бывшего бойца Отечественной войны, к тому же еще прославленного поэта. Однако, разница лет и мало привлекательная внешность Давыдова делали свое дело: настоящей любви, искренней и всепоглощающей, у Золотаревой к Давыдову не было. Не то было с ним. Давыдов был весь во власти любви, как он и признавался в своем стихотворении «Речка»:

«Давно ли, речка голубая,
Давно ли, ласковой волной
Мой челн привольно колыбля,
Владела ты, источник рая,
Моей блуждающей судьбой?

Давно ль с беспечною милой
В благоуханных берегах
Ты влагу ясную катила
И отражать меня любила
В своих задумчивых струях!..

Теперь, печально пробегая,
Ты стонешь в сумрачной тиши,
Как стонет дева молодая,
Пролетной призрак обнимая
Своей тоскующей души.

Увы! Твой ропот заунывный
Понятен мне, он — ропот мой;
И я пою последние гимны
И твой поток гостеприимный
Кроплю прощальною слезой.

Наутро пурпурной зарею
Запышет небо, — берега
Блеснут одеждой золотою
И благотворнсю росой
Закаплют роши и дуга.

Но вод твоих на лоне мутном
Всё будет пусто!.. Лишь порой,
Носясь полетом бесприютным,
Их гостем посетит минутным
Журавль, пустынный кочевой.

О, где тогда осиротелый,
Где буду я! К каким странам
В какие чуждые пределы
Мчат будет гордо парус смелый
Мой челн по скачущим волнам!

Но где б я ни был, сердца дани
Тебе одной. Через даль морей
Я на крылах воспоминаний
Явлюсь к тебе, приют мечтаний,
И мук, и благ души моей!

Явлюсь, весь в думу превращенный,
На берега твоих зыбей,
В обитель девы незабвенной,
И тихо, странник потаенной,
Невидимым приникну к ней.

И неподвластный злым укорам,
Я облеку ее собой,
Упьюсь ее стыдливым взором
И вдохновенным разговором,
И гармонической красотой;

Ее, чья прелесть — увлечение:
Светла, небесна и чиста,
Как чувство ангела в моление,
Как херувима сновиденье,
Как юной Грации мечта!»

Стихотворенье «Речка» вдохновило одного из пензенских музыкантов-любителей написать к нему музыкальную иллюстрацию. Давыдов немедленно переслал ноты Золотаревой, но и эта посылка оказалась всё так же безуспешной, как и все до того ей отправленное.

«Я в мыслях, я в душе храню тебя одну.
Ты сердцу моему нужна для трепетанья...»

признавался он в тщетной надежде услышать ответное трепетанье; увы, ему оставалось только утешать себя, как он писал позднее:

«В былые времена она меня любила
И тайно обо мне подругам говорила,
Смущенная и очи опустя,
Как перед матерью виновное дитя.
И нравился мой стих, порывистый, несвязный,
Стих безыскусственный, но жгучий и живой,
И чувств расстроенных язык разнообразный,
И упоенный взгляд любовью и тоской.
Она внимала мне, она ко мне ласкалась,
Унылая и думою полна,
Иль, ободренная, как ангел, улыбалась
Надеждам и мечтам обманчивого сна...

И долгий взор ее из-под ресниц стыдливых
Бежал струей любви и мягко упал
Мне на душу — и на устах пылал
Готовый поцелуй для уст нетерпеливых...

Отчаявшись добиться успеха, Давыдов вернулся к себе в Мазу. Не легко ему было покинуть Пензу и как бы навсегда отказаться от так долго делеянной мечты о счастье; Золотарева же, как ясно понимал Давыдов, воспринимала его отъезд чуть ли не как избавление. В одном из писем к ней этого времени он даже прямо писал: «Я видел при самой минуте моего отъезда улыбку вместо печали». Дорогой в деревню, вспоминая об этой тяжелой минуте, Давыдов набросал один из самых прочувствованных своих строк:

«Унеслись невозвратимые
Дни тревог и милых бурь,
И мечты мои любимые,
И небес моих лазурь...

Не глядит она печальная
На пролет надежд моих,
Не дрожит слеза прощальная
На ресницах молодых».

Потянулись для него скучные и однообразные дни. В конце лета семья собиралась уехать, и Давыдов полагал найти покой и одиночество. Вяземскому он писал: «В августе всё семейство мое переселяется в Москву, а я останусь таскаться по мхам и болотам за волками и зайцами — до октября». Золотаревой он тоже писал из деревни: «Только одиночество может меня утешить». Стараясь забыться, Давыдов головой ушел в хозяйственные заботы. Охота, псарня, хороший стол должны были ему заменить тот

«...край очарованья,
Где столько был судьбой гоним,
Где я любил, не быв любим,
Где я страдал без сострадания...
Где так жестоко испытал
Неверность клятв и обещаний —
И где никто не понимал
Моей души глухих рыданий...»

как с горечью писал Давыдов в стихотворении «Романс». Как бы подводя окончательный итог пережитому разочарованию, Давыдов говорил:

«Жестокий друг — за что мученье!
Зачем приманка милых слов?
Зачем в глазах твоих любовь,
А в сердце гнев и нетерпенье?
Но будь покойна только ты,
А я, на горе обреченный,
Я оставляю все мечты
Моей души разоруженной...»

Ища утешения в повседневности, Давыдов вернулся к заброшенным было сношениям с соседями.

Хозяйство, чтение, гомеопатия, отвлекая на время Давыдова от тяготивших его дум, не могли всё же окончательно заглушить владевшую им последнюю старческую любовь и ее болезненные вспышки. Не находя желанного покоя в одиночестве в деревне, он надумал обрести таковой в бегстве в Москву, в тихий круг находившейся там семьи. О своем решении он писал Языковым: «Я еду в начале сентября... надолго в Москву».

Перед самым отъездом Давыдову удалось вновь свидеться с Золотаревой и, повидимому, даже вырвать у нее какое-то согласие, какую-то уступку, на которую она пошла, вероятно, только чтобы избавиться от его слишком настойчивых требований, и которое ему вскоре, однако, пришлось в письмах, полных упреков в вероломстве, называть «клятвой от нетерпенья».

Пока же, в коротком чаду от неожиданного, выстраданного счастья, Давыдов в стихотворении «25 октября», исполненный радости, писал:

«Я не рошшу. Я вознесен судьбою
Превыше всех! — Я счастлив, я любим!
Приветливость даруется тобою
Соперникам моим...
Но теплота души, но всё, что так люблю я,
С тобой наелине...
Но девственность живого поцелуя...
Не им, а мне!»

Счастье, вырванное силой и настойчивостью, длилось, однако, недолго. Уже на ближайшем бале в «Записке», посланной Золотаревой, Давыдов с упреком говорил ей:

«...Тебе легко — ты весела...
Ты радостна, как утро мая,
Ты резвишься, не вспоминая,
Какую клятву мне дала...

Ты права. Как от упоенья,
В чаду кадилъниц не забыть,
Обет, который, может быть,
Ты бросила от нетерпенья».

В письме, к которому была приложена «Записка», Давыдов, завидуя молодости Золотаревой и развлечениям, в которых проходила ее жизнь, говорил, что хотел бы, чтобы и она грустила и плакала, как он; про себя же он писал в «Записке»:

«Я плачу, как дитя, прикинув к изголовью,
Мечусь по ложу сна, терзаемый любовью,
И мыслю о тебе... И об одной тебе!»

Бесповоротно уверившись в тщете своих надежд, Давыдов поспешно собрался в Москву; расстояние, легшее между ним и Золотаревой, как будто успокоило его. Из Москвы он, как ни в чем не бывало и словно совершенно равнодушный и остывший, писал Золотаревой 27-го ноября о бале, на котором ему довелось присутствовать: *«J'ai été encore à un autre bal, celui du prince Scherbatoff... dont la maison est renommée pour réunir la plus haute société d'ici...»*

Между тем, драматические перипетии увлечения Давыдова не могли, естественно, остаться незамеченными в провинциальной пензенской тиши. Суды и пересуды городских сплетниц дали повод отставному инженер-капитану Ивану Васильевичу Сабурову попробовать свои силы в качестве литератора. До того Сабуров был известен только своим фанатическим увлечением разведением мериносов, так что Давыдов даже как-то сообщал Вяземскому про него: «Сабуров выдал дочь за какого-то мериноса». Теперь Сабуров под псевдонимом Мурза-Чет выпустил довольно сумбурную книжку: «Че-

тыре роберта жизни», в которой задумал дать забавную городскую хронику, выводя под прозрачными псевдонимами известных в городе лиц и вызвав тем большую кутерьму среди пензяков. В своей книжке Сабуров много говорил и о Давыдове, называя его «партизан-подагрик» и «старый гусар». ● Об увлечении Давыдова Золотаревой Сабуров прозрачно повествовал так: «Не смею распространяться о поэтической женщине; в дни мира — счастливый певец, любезный собеседник и душа общества, при звуке трубы военной — лихой наездник-партизан написал уже ее портрет красками Рубенса и кистью Греза». В подтверждение же своих слов Сабуров без стеснения приводил стихи Давыдова, вдохновленные его «красавицей». На книжку горе-писателя, в сущности отнесшегося к Давыдову и его страсти скорее сочувственно и незлобно, Давыдов ответил всё же эпиграммой, в которой не постеснялся сказать про Сабурова:

«Меринос собакой стал,
Он нахальствует не к роже...»

Между тем, Золотарева всё реже отвечала на непрекращавшиеся письма Давыдова, полные упреков в молчании; с другой стороны, жена, до которой и раньше доходили городские разговоры о затянувшемся увлечении мужа, видимо, досаждала Давыдову попреками и сценами. Слова ее, видимо, запали у него глубоко в памяти, так как много позднее, сообщая о потученных им сведениях о браке Золотаревой, Давыдов писал жене: «Надеюсь, что из тебя пензенская дурь вышла». Надо было подвести итог своим отношениям к Золотаревой. Приняв окончательное решение, Давыдов отправил ей последнее, прощальное письмо, в котором писал: «Je savais bien que tout devait se terminer ainsi, mais cela n'amortit pas le coup. Tout est fini pour moi; plus de présent, plus d'avenir! Le passé seul me reste. Or ce passé est dans les lettres que je vous ai écrit durant mes deux années et demie de bonheur!»

К Золотаревой к этому времени уже сватался давно за ней ухаживавший Машнев, за которого она затем и вышла в 1836 г. замуж.

Сердечная рана Давыдова не заживала. Старые воспоминания с новой силой овладели им, когда он в 1836 г. собрался в Москву, где узнал о состоявшемся браке Золотаревой. Жене он отсюда мимоходом сообщал об этом и даже указы-

вал, что «прошла борьба моих страстей». Так начиналось стихотворение, которое он написал теперь при новом соприкосновении с былыми мечтами, под характерным названием «Выздоровление»:

«Прошла борьба моих страстей,
Болезнь души моей мятежной,
И призрак пламенных ночей,
Неотразимый, неизбежный,
И милые тревоги милых дней,
И языка несвязный лепет,
И сердца судорожный трепет,
И смерть, и жизнь при встрече с н е й...
Исчезло всё! — Покой желанный
У изголовия сидит...
И каплет кровь еще из раны,
И грудь усталая и ноет, и болит!»

Думы о Золотаревой, всколыхнутые встречей с ее семьей, не покидали Давыдова, несмотря на сделанное им в свое время в письме к ней заявление:

«...Унеслись невозвратимые
Дни тревог и милых бурь...»

Не раз снова обращались в долгую и тяжелую дорогу из Москвы в деревню мысли его к той, кого он называл:

«...владычица моей страдальческой мечты».

В дороге же ему напелись стихи, которые по приезде в Мазу он набросал на бумагу. Одному Пушкину решил Давыдов поверить их. «Вот что я дорогой мысленно сложил», писал он ему 16-го апреля, посылая стихотворение, завершившее собою цикл выстраданных стихов, порожденных увлечением его Золотаревой:

«Я помню — глубоко,
Глубоко мой взор,
Как луч, проникал и роши, и бор,
И степь обнимал широко, широко...
Но, зоркие очи,
Потухли и вы...
Я выплакал вас на деву любви,
Я выплакал вас в бессонные ночи».

Это выраввшееся из души признание Давыдов доверял

Пушкину, как другу, с просьбой не печатать эти стихи. Более того, оберегая свое святилище от нескромных взоров даже друзей, он писал: «Пожалуйста, не давай никому даже списывать! Есть причины этому».

Получив эти прочувствованные строки, Пушкин, как и следовало ожидать, счел нужным их показать испытанному другу Давыдова — Вяземскому, который, придя от них в понятный восторг, посоветовал Пушкину напечатать их вопреки запрета Давыдова. Пушкин и сам рад был бы поместить в «Современнике» эти совершенные по форме и по содержанию стихи, но не решался нарушить волю Давыдова, почему и обратился к нему за разрешением. «Я бы рад, — писал он ему, — да как-то боюсь. Как ты думаешь, вель можно и без имени».

Давыдов, однако, решительно воспротивился опубликованию своих столь человеческих, столь искренних строф. «Они» не позволю тебе напечатать ни за что, даже без подписи», был его категорический ответ. Он не хотел, чтобы последняя вспышка так долго владевшей им страсти стала достоянием гласности. Уйдя снова с головой в хозяйственные и семейные дела и заботы, Давыдов надеялся окончательно освободиться от лелеянной им столько лет несбыточной мечты о новой, всепоглощающей ответной любви.

Но мысли о Золотаревой всё не оставляли Давыдова, и осенью, покинув деревню для долгой городской зимы и подводя итоги радостям деревенской жизни, он в письме, отправленном Вяземскому уже из Москвы, писал: «Итак, я оставил степи мои надолго. Дети так подросли, что уже нет возможности оставаться около риг и гумен. Однако, не могу не обратить и мысли, и взгляды мои туда, где провел я столько дней счастливых и где осталась вся моя поэзия. Здесь у меня под окнами пожарное депо... поневоле вздохнешь и о хижине моей, в степях затерянной, и о двухсотверстных визитах моих, моих собаках, моих ловитвах. *mon Eugénie et mes am urs*. Но последнее из пера вырвалось», заканчивал он, как бы ища оправдания в своей слабости перед старым другом.

В свое время он просил Золотареву вернуть ему его письма и переданные ей портреты. Она эту просьбу не уважила, а в дальнейшем оставшиеся у нее и находившиеся потом в обладании семьи ее предметы, после неполного опубликования их в 90-х годах, затерялись и, вероятно, за годы революции пропали.

Александр Шик.

ТЕМА „ТАЙНОЙ СВОБОДЫ“ У ПУШКИНА

Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

(Пушкин).

Пушкин, тайную свободу
Пели мы вослед тебе,
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!

(А. Блок).

Пушкин первый : потребил, Блок подхватил выражение «тайная свобода». «Ответ на вызов написать стихи в честь государыни императрицы Елизаветы Алексеевны», откуда заимствована приведенная пушкинская цитата, написан в 1819 году, в период прославления «вольности» (послание Чаадаеву, «Деревня» и друг.); ссылка на «тайную свободу» должна была повлечь, объяснить появление стихов в честь императрицы. Этим выражением было подчеркнуто основное свойство всякого творчества — его автономность, независимость от каких бы то ни было внетворческих целей. Поэзия ничем не связана, она вправе прославлять все, что находит достойным этого.

В статье «О назначении поэта» Блок указывал на «три дела, возложенных на поэта»:

«Во-первых, освободить звуки из родной, безначальной стихии, в которой они пребывают, во-вторых, — привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в-третьих, — вынести эту гармонию во внешний мир».

Если третья задача зависит от многих, вне поэта лежащих обстоятельств: материальных условий, цензуры, одобрения и неодобрения читателя и т. д., то первая и вторая задачи зависят только от самого поэта: никто не может ни заставить его видеть то, что он в мире видит, ни заставить его видеть то, чего он не видит. Ядро творческого процесса независимо от внешнего давления, зависима только его оболочка, его проявление во внешнем мире. Можно запретить напечатать, даже писать стихи, но нельзя запретить их сочинять. А как раз это и важно. Важнее, что «Венера найдена в мраморе, нежели то, что существует ее статуя» (Блок). Важно, что хотя бы в одной точке мира осуществлена новая ценность, «открыта» новая реальность, знает ли кто-нибудь об этом — менее существенно. Однажды созданное произведение искусства по существу бессмертно, хотя бы был уничтожен или даже никогда не существовал его материальный носитель.

Эта независимость «тайной свободы» от всякого внешнего воздействия делает ее неуязвимой. Только сам поэт может изменить своей «тайной свободой», испугаться травли или равнодушия, соблазниться деньгами или славой» но никто не может его к этому принудить. Неуязвимость «тайной свободы» дает поэту возможность быть правдивым всегда, когда он этого хочет. Но именно из этой возможности быть правдивым возникает и обязанность быть правдивым.

**
**
**

«Тайная свобода» есть абсолютная правдивость, бесстрашие, неподкупность. Поэт должен обладать двумя добродетелями: он должен быть чутким и искренним.

«Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горный ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

И он к устам моим приник,
 И вырвал грешный мой язык,
 И празднословный, и лукавый,
 И жало мудрых змеи
 В уста замершие мои
 Вложил десницею кровавой.

(Пушкин. «Пророк»).

В свое время Вячеслав Иванов возражал против общепринятого сближения поэта с пророком и указывал, что сам Пушкин размежевал эти понятия, подчеркнув в стихотворении «Поэт» эпизодичность поэтического творчества, в противоположность длительному служению пророка:

«Пока не требует поэта
 К священной жертве Аполлон,
 В заботах суетного света
 Он малодушно погружен;
 Молчит его святая лира,
 Душа вкушает холодный сон,
 И меж детей ничтожных мира,
 Быть может, всех ничтожней он».

Замечание Вячеслава Иванова верно, и едва ли Пушкин был склонен отождествлять эти два понятия. Но это не противоречит правильности подобия, параллелизма поэтического призвания пророческому. И поэт, и пророк имеют одну и ту же задачу — служить голосом народной и даже общечеловеческой совести.

«И истину царям с улыбкой говорил».

(Державин).

Уже частностью является вопрос, выполняется ли это задание с постоянным, непрерывным горением пророка, или кратковременными, разрозненными вспышками поэтического вдохновения.

Понятия «поэт» и «пророк» — понятия разноплоскостные. Будучи поэтом, можно быть пророком, можно и не быть; — и наоборот. Поэт — призвание, пророк (в том смысле, как он

здесь берется) — отношение к призванию. Пророком, как и святым, может быть человек любой профессии, — поэт, врач, изобретатель, государственный деятель... Приравнению пророку именно поэта только потому распространено, что среди людей художественных профессий чаще встречается бескорытно-преданное, «героическое» отношение к своему призванию, чем у людей других профессий. Принципиально же пушкинский «пророк» может быть поставлен как задание перед каждым человеком. Важно для пророческой мысли — «исполнись волею Моей»; будет ли «глагол, жгущий сердца людей», рифмованным или нерифмованным — это уже техническая подробность.

У Пушкина сближение поэтического и религиозного служения несомненно. Очень часто он пользуется образами и прилагательными, приравнивающими первое второму.

«Веленью Божию о, муза, будь послушна».

«Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон».

«Молчит его святая лира».

«Но лишь божественный глагол».

«Небом избранный певец».

«Небес избранный».

«Божественный посланник».

«Но, забыв свое служенье,

Алтарь и жертвоприношение,

Жрецы ль у вас метлу берут?»

«И плюет на алтарь, где твой огонь горит,

И в детской резвости колеблет твой треножник».

И т. д.

Часто видят противоречие между пушкинскими «Памятником» и «Чернышом»: в «Памятнике» поэту якобы ставится задача нравственного усовершенствования ближних:

«И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал»,

в «Черни» же требование толпы: «сердца собратьев исправляй» поэтом резко отвергается:

«Идите прочь, какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело:
Не оживит вас лиры глас.

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв —
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв».

Это кажущееся противоречие возникает благодаря тому, что из-за приведенной предпоследней строфы «Памятника» забывается доминирующая над ней последняя:

«Веленью Божию, о муза, будь послушна.
Обиды не страшись, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца».

В «Памятнике», как и в «Черни» (как и в «Поэте») верховной задачей поэзии указывается подчинение «веленью Божию». «Пробуждение добрых чувств» не отрицается, но низводится в подчиненное положение. Оно не ставится целью поэтического творчества, а отмечается, как его следствие.

Поэзия не подчинена этике, а порождает этику. Она пересматривает этику заново, исследует и дополняет ее. Задача искусства — выработка новых нравственных норм, а не пропаганда или принятие существующих.

Искусство, как и природа, никого ничему не учит, оно только создает. Все, что создается, создается ради него самого. Поэт хочет одного, чтобы его творение было. Искусство стоит над разделением на нравственное и безнравственное, стоит «по ту сторону добра и зла». Нравствен-

но или безнравственно существование мира? — нелепый вопрос; точно так же нелеп вопрос о нравственности или безнравственности существования Наташи Ростовой, Хлестакова, Татьяны, Онегина. Все они что-то несравненно большее, чем существа ж и в ы е. В жизни каждого из нас Евгений Онегин или Татьяна играют не меньшую роль, чем любой из наших «настоящих» знакомых. Вдумываясь в судьбу и тех, и других, можно кое-чему научиться, но это не самое важное. Самое важное, что мы з н а е м их, л ю б и м их, что они составляют какую-то часть нашей жизни, нас самих, что они с у щ е с т в у ю т. Если когда-нибудь мир будет закончен, осуществится рай, то среди обитателей этого рая должны оказаться и Татьяна с Онегиным — реальные и живые, не менее реальные и живые, чем каждый из нас.

**
*

Пушкинский подход к теме «тайной свободы» может быть понят, если прибегнуть к несколько избитому сопоставлению его «Пророка» с «Пророком» Лермонтова. Строго говоря, их нельзя было бы вообще сравнивать, потому что мы имеем здесь дело с двумя совершенно различными темами: у Лермонтова дано отношение пророка к толпе, у Пушкина — отношение пророка к Богу. Пушкин описывает момент избрания пророка, Лермонтов — столкновение уже вышедшего на проповедь пророка с толпой и претерпеваемые им гонения. Но в ряде других пушкинских стихотворений («Чернь», «Памятник» и особенно в сонете «Поэту») лермонтовская тема о непризнании поэта (— пророка) толпой предусматривается:

«Поэт, не дорожи любовью народной:
Восторженных похвал пройдет минутный шум,
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной...»

Пушкин не выводит, однако, отсюда необходимости ухода пророка в пустыню, отказа от своей миссии, как это делает Лермонтов; напротив, он предписывает поэту полное игнорирование голоса черни:

«Но ты останься тверд, спокоен и угрюм».

Пушкин видит то же и так же, как Лермонтов, несколько не переоценивая действительности; но, видя то же, он иначе

реагирует. Там, где для Лермонтова тема кончается, для Пушкина она только начинается. Там, где Лермонтов соглашается сложить оружие, Пушкин требует бесстрашного продолжения борьбы. Оправдание творчества лежит для Лермонтова в социальной, для Пушкина — в религиозной плоскости. Согласно Лермонтову, стихи пишутся для «ближнего», согласно Пушкину — для «Бога».

**
*

Для кого пишутся стихи? — Ставится свеча, «да светит всем в доме». Поэт не виноват, если вокруг свечи оказываются одни слепые. Свеча ставится ради немногих зрячих. Искусство существует ради «немногих счастливых» (выражение Стендаля).

«Не всякого полюбит счастье,
Не все родились для венцов.
Блажен, кто знает сладострастье
Высоких мыслей и стихов,
Кто наслаждение прекрасным
В прекрасный получил удел
И твой восторг уразумел
Восторгом пламенным и ясным».

(Пушкин. «Жуковскому». На издание книжки его: «Для немногих»).

Стихи пишутся ради тех, кто их поймет и подхватит, просто ради тех, кому они п о н р а в я т с я. Очень часто при этом поэту приходится передавать их далеко через головы своих ближайших соседей.

Итак, диалог между Пушкиным и Лермонтовым развивается в такой последовательности:

Пушкин: («Пророк»):

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!»

Лермонтов («Пророк»):

«Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья.
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот, в пустыне я живу,
Как птицы — даром Божьей пищи».

Пушкин («Поэту»):

«Поэт, не дорожи любовью народной!
Восторженных похвал пройдет минутный шум,
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Ты — царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд,
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит,
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник».

У Лермонтова пророк кончает н и щ и м, у Пушкина
— ц а р е м.



Очень знаменательно сближение творчества «для Бога» с творчеством «для себя», обнаруживающееся при сопоставлении приведенного сонета с «Памятником». Подчинение творчества «велению Божию» заменяется здесь верховным подчинением поэта самому себе: «Ты — царь: живи один», «Ты сам свой высший суд». Единственным мерилom подлинности «божественного глагола» оказывается творческая совесть поэта.

Писать «для себя» — ради чистого, не разбавленного никакими посторонними соображениями творчества — это и значит писать «для Бога». Писать «для Бога» — это и значит писать для своего высшего, строжайшего суда. В конечном счете обе задачи сливаются.

**
*

Художественная совесть поэта есть высший законодатель и судья его творчества — в этом и заключается его «тайная свобода». Каждый поэт подходит к своему творению, как ничем не ограниченный, никому не дающий отчета, всеобъемлющий, самовластный гений. Он может выслушивать советы и указания, взвешивать их, учитывать, следовать им. Но советы и указания бывают различными, в чем же объективный масштаб правильности того или другого из них? Что может заставить художника слепо довериться какому бы то ни было авторитету? Последнее решение, последнее творческое «быть или не быть» накладывается им самим. Это — его высшая привелегия и вместе с тем — его священнейший долг.

**
*

Поэтическое призвание — миссия, а не профессия. «Вдохновение», «звуки сладкие» и «молитвы» стоят в одном ряду: поэзия — не развлечение, не поучение, а религиозное действие. «Слова поэта суть уже его дела» (Пушкин). Писать хорошие стихи (это значит: лучшие, на какие он способен) для поэта — нравственная и религиозная обязанность. Блок говорит об «освобождении звуков из родной безначальной стихии» и о «приведении этих звуков в гармонию»; ни то, ни другое несколько не зависит от требований рынка, от соображений заработка, успеха, злобы дня, от каких-либо предвзятых установок — нарочито-оптимистических или пессимистических. Весь интерес поэзии сосредоточен на той реальности, которую она первая усматривает, на тех «звуках», которые она пытается уловить и оформить.

Только в отношении к третьей задаче поэта — к задаче обнародования его произведения — «спрос определяет предложение» и влияет на него; творчество же, как таковое, ни от какого спроса не зависит. Пушкин выразил это положение в формуле: «Пишу для себя, печатаю для денег». Но при этом: «Писать для денег, видит Бог, не могу».

Пушкин не только не мог писать для денег, но и не мог переделывать написанное из каких-либо материальных соображений. «Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное» (из письма Бенкендорфу, 1826). В этом отношении он был очень стоек. В ответ на некоторые критические замечания, сделанные императором Николаем I по поводу «Бориса Годунова», он, рискуя навлечь на себя немилость государя, писал тому же Бенкендорфу:

«... Следует обращать внимание лишь на дух, проникающий все сочинение, и на общее впечатление им производимое. Моя трагедия есть произведение правдивое, и я не могу по совести исключить из нее то, что мне кажется существенным.

Прошу его величество простить мне смелость, с которой я решаюсь противоречить ему. Я знаю, что этот протест поэта может показаться смешным; однако, до сих пор я отвергал все предложения книгопродавцев, принося безмолвно эту жертву воле его величества. Но в настоящее время я нахожусь в стесненных обстоятельствах и умоляю его величество развязать мне руки разрешением на издание моей трагедии в том именно виде, как я желаю». (16 апр. 1830).

Когда цензура нашла недостаточно нравственными строки «Кавказского пленника»:

«Немного радостных ночей
Судьба на долю ей послала!»

и заменила их:

«Немного радостных ей дней
Судьба на долю ниспослала»,

Пушкин писал Вяземскому:

«Зарезала меня цензура! Я не властен сказать, я не должен сказать, я не смею сказать: е й д н е й в конце стиха. Н о ч е й, н о ч е й, — ради Христа, н о ч е й с у д ь б а н а д о л ю е й п о с л а л а. То ли дело ночей, ибо днем она с ним не видалась — смотри поэму. И чем же ночь неблагопристойнее дня? Которые из 24 часов именно противны духу нашей цензуры? Бируков (цензор) добрый малый: уговори его, или я слягу».

Пушкин не только создал новую поэзию, но и указал очень точно моральные требования, определяющие отношение поэта к поэзии. При этом он нисколько не отрицал материальной зависимости поэта от его профессии. Напротив, он гордился тем, что зависит от своего литературного заработка, подчеркивал и даже скорее преувеличивал эту зависимость. Поэты до-пушкинской эпохи были или сами богаты, или всецело зависели от щедрости мецената (в большинстве случаев — двора). Это низводило положение поэта до положения высококвалифицированного шута. Пушкин был одним из первых русских профессиональных литераторов.

Материальная зависимость от государя и правительства, в которой Пушкин запутался под конец жизни, была одной из причин его гибели. Он дал втянуть себя в денежные обязательства, соблазнился, изменил своей «тайной свободой». Он принужден был в какой-то мере кривить душой, братья за темы, угодные его покровителям, а не ему самому, должен был насиловать свою творческую свободу. Это поставило его в ложное положение по отношению к правительству и обществу и привело к трагической развязке.

* * *

«Тайная свобода» в корне отрицает возможность какого бы то ни было «закза» (социального или какого-либо другого). Заказ делает творчество излишним, он предопределяет заранее, что именно должно быть сказано; при заказе поэт говорит не свое, для слушателя не ожидаемое, а чужое, по существу уже известное, т. е. ненужное. При заказе нет творчества, а есть только подтверждение, повторение. Искусство же в силах не только подтверждать и популяризировать старые, но и открывать новые ценности. Поэтому ограничивать искусство заказом значит заведомо суживать его поле действия, ставить ему границы. Искусство (во всяком случае первокачественное) — сила ведущая, а не служащая. Вернее, его служение в том и заключается, что оно ведет.

**

*

Гений — не лист на дереве жизни, а его цветок;
не средство, а цель исторического процесса. Гений — это
то, чем народ оправдывает свое существование перед другими

народами, это подарок народа остальному человечеству. В гении народ проявляет, расходует себя, а не питает. Народ служит гению, а не гений — народу, как мать служит ребенку, а не ребенок — матери.

**
*

«Тайная свобода» не только исключает всякий заказ, но исключает и всякую тенденцию: «писать бодро», «описывать положительные типы и явления», «быть оптимистом» и т. п. Если бы Шопенгауэру предложили создать систему оптимистической философии, то не было бы Шопенгауэра. «Положительные типы», которых критика и общество требовали от Гоголя, свели его в могилу. Если поэт видит в мире смерть и распад, а не рост и процветание, то я должен противопоставить его поэзии свою поэзию, его философии свою философию, но не закрывать для него на этом основании страницы моего журнала. Это-то как раз в нем и интересно, что он говорит не то, что я.

**
*

Пушкин воспринял всю поэтическую культуру века, сполна сохранив свою самобытность. Он у всех учился, никому не подражая. Он всегла остается хозяином положения, сохраняет способность трезвого выбора. Это тоже «тайная свобода»: не бояться влияний и никогда не отдаваться им слепо; брать нужное, отвергнуть ненужное; как угодно перерабатывать взятое. «Тайная свобода» — это писать все, что хочу, что нравится, что люблю, не боясь ни банальности, ни одиночества.

**
*

Понятие «тайной свободы» может быть расширено из области эстетической в область этическую. «Тайная свобода» — не только верность своему художественному, но и верность своему человеческому лицу. «Ты сам свой высший суд» применимо как в искусстве, так и в жизни. И там, и здесь «тайная свобода» означает конечную независимость личности от всего внешнего: результат действия может не соответствовать желанию человека, но само действие всегда соответствует его желанию если он только в полной мере правдив.

«Тайная свобода» есть господство внутреннего над внешним, «совести» над «законом». Она охотно подчиняется закону, пока чувствует его правоту, но не боится действовать помимо закона при его недостаточности. Пушкинская Татьяна в одном случае нарушает «закон» — первая открывается Онегину в любви, в другом случае подчиняется «закону» — отказывается изменить мужу. В обоих случаях ею руководит только чуткий нравственный вкус: в первом случае, ее поступок ничего не затрагивает, кроме ряда пустых условностей, на карту ставится только ее собственное доброе имя; во втором — от ее решения зависит счастье и честь другого человека — ее мужа.

Свобода и долг не стоят в противоречии: долг есть дисциплинированная свобода, свобода, переставшая быть мимолетным капризом, ставшая твердой длительной волей.

Высший нравственный долг поэта — осуществление его призвания; но все же, «тайная свобода» автономна, и в этом отношении сущность человека шире призвания. Призвание для человека, а не человек для призвания, — лучше «зарыть талант», чем зарыть себя под талантом.

Что выше — стихи, семья, честь? Здесь не может быть правила, все решается «тайной свободой», от ее чуткости зависит верность или неверность пути. Немыслимый случай, чтобы Пушкин отказался от дуэли, ссылаясь на недописанные стихи; и настолько же немислимый — чтобы из любви к жене он изменил хотя бы одну строчку стихов. Пушкин мог забывать жену для стихов, и стихи для жены, и в обоих случаях оставаться правым.

Но все таки смысл и оправдание жизни Пушкина — его стихи, а не жена, не дети, не дуэль. Пушкин, в противоположность Толстому, чужд стремлению к нравственному самоусовершенствованию (в теософско-моралистическом смысле).

«И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он»,

— это сказано без малейшего «раскаянья» или желания «исправиться». Поэт оправдывается другим — самоотверженной готовностью немедленно подчиниться «божественному глаголу», как только последний прозвучит:

«Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта вострепнется,
Как пробудившийся орел».

Справдание поэта в творческом напряжении. Бог хочет знать, каков простой, средний, грешный человек, и каким видит он созданный Богом мир. Поэт вглядывается в себя, вглядывается в мир, и, не мудрствуя лукаво, прямо и честно Богу об этом рассказывает.

Подход к искусству, особенно к литературе, как к пророческому и даже религиозному служению, был до революции настолько распространен в России, что казался многим само собой разумеющимся. В действительности, это не было так: Западу, например, такое воззрение было чуждо. На Западе смотрели и смотрят на профессию писателя, как на всякую другую: перед тем, как избрать ее, взвешивают материальные возможности и материальные перспективы, учитывают свои силы и склонности, приобретают соответствующее образование и т. д. Подход к искусству, как к священнослужению, — чисто-русская традиция; так подходили к нему все наши классики; драма Гоголя и Толстого, самый их отказ от художественного творчества отчасти обусловлен чрезмерно-высокими требованиями, предъявлявшимися обществом писателю, и писателя — самому себе. После революции точка зрения на этот вопрос изменилась. «На писателя смотрят у нас, как на жреца», писал после революции один русский критик, «или как на дармоеда, смотря по настроению. Революции ни жрецы, ни дармоеды не нужны». Однако, восстановление этой традиции было бы очень желательно. Среди продажной, близорукой, жадной, тупо-корыстолюбивой современности традиция творческой честности (хотя бы простой профессиональной порядочности) была бы чрезвычайно ценна.

К. Гершельман.

ПУТИ ПОСЛЕВОЕННОЙ РОССИИ

Что произошло в России за 4 года, протекавшие со времени окончания военных действий? На первый взгляд — ничего существенного. Всё так же всемогуща, беспощадна, произвольна и всепроникающа власть тех, кому она принадлежит по преемству от захвативших ее, в октябре 1917 г., во имя немедленного осуществления в России социализма. Всё так же бездушна, порой бессмысленна и расточительна, централизованная машина планового хозяйства, работающая не на благо народное, а на убоготворение кумира, каким стал план. Всё так же придавлена и принижена русская культура.

Это первое впечатление в основном правильно, но всё же не передает действительности в ее полноте. На монотонно-серой поверхности русской жизни под большевиками всё же проступают какие-то линии. Эти линии не располагаются в хаотическом беспорядке, но, напротив того, идут в определенных направлениях. Их не так легко рассмотреть, потому что медленен ход истории в условиях диктатуры, ставшей самоцелью.

Чтобы их уловить, полезно присмотреться к линиям развития недавнего прошлого. С 1917 по 1921 и с 1928 по 1934 г. г. диктатура ставила себе задачей осуществление в России коммунизма в том понимании, какое дал ему Ленин. Этот идеал был отнюдь не только экономическим: коллективизация орудий производства занимала в нем первое место, но на этом фундаменте должна была возвыситься определенная надстройка. В ее состав должны были войти экономическое, социальное и культурное, а не только юридическое равенство; свободные союзы мужчин и женщин вместо традиционной семьи; новый человек, отвернувшийся от религии и ставший сознательным марксистом; отвергшая дряхлые традиции школа; новая, неведомая пролетарская культура, отвергшая национальные особенности и зовущая народы к слиянию во всечеловечество. А как средство к осуществлению цели — диктатура пролетариата, его ведущего звена, коммунистической

партии, построенной по военному образцу, со строго централизованным руководством.

Дважды, около 1920 г. и в начале тридцатых годов, это руководство полагало, что цель была близка, — и дважды было вынуждено к отступлению. Первое из них, так называемая новая экономическая политика, было сравнительно мелким, хотя и коснулось самого фундамента, т. е. хозяйственной системы. Второе отступление, начавшееся в 1934 г., оказалось более глубоким и длительным. Его сущностью было сохранение политической диктатуры и государственной монополии хозяйства (хотя с некоторыми в ней брешями), ценой возврата, в надстройке, ко многим чертам дореволюционного быта. Народу было приказано вернуться к крепкой семье; была проявлена изумившая мир веротерпимость; в школе были восстановлены старинные порядки и программы, во многом напоминавшие деляновские времена; музыкантам было приказано вернуться к традиции русских классиков, художникам — к традиции передвижников. Русская культура была выдвинута на первое место, объявлена наивысшей из всех; вместе с тем почетное место было возвращено русской истории и ее двигателям, общественным и даже церковным деятелям минувших веков. И как-то незаметно был сдан в архив принцип равенства: новое коммунистическое общество допустило социальные различия, пожалуй превышающие те, какие существовали в дореволюционной России или существуют в капиталистических обществах.

Великое отступление от коммунистического идеала началось за 7 лет до того дня, когда гитлеровские полчища ринулись на Россию, — оно и было предпринято в предвидении войны, в качестве психологической к ней подготовки. Естественно, что за время войны основная линия развития 1934-1941 г. г. продолжилась. Но, как это потом выяснилось, — когда дело идет об СССР, многое выясняется лишь потом — на основном фоне русской жизни проступила и другая линия, много менее отчетливая, но представляющая большое значение: пользуясь тем, что внимание власти было отвлечено к вопросам войны и победы, там и сям русские люди стали самовольно захватывать некоторые элементы свободы: музыканты, литераторы, ученые стали отступать от преподанных им директив, а предприимчивые люди разных званий стали работать на прибыль, в элементарных формах частного хозяйства.

Когда война кончилась, страна стояла перед тремя возможностями, выбор между которыми, в условиях диктатуры, при-

надлежал власти. Во-первых, можно было пойти навстречу росткам свободы и либерализовать режим, на путях частичного раскрепощения хозяйства и культуры и даже привлечения к власти если не всего народа, то избранных социальных групп. Это было бы решение в духе эволюционной теории, в двадцатых годах господствовавшей в русской эмиграции, а также в духе неопределенных чаяний наших дней, отразившихся во многих писаниях Ди-Пи. Во-вторых, можно было признать, что великое отступление предвоенных и военных лет выполнило свою задачу, и предпринять новую, **третью** попытку построить последовательно коммунистическое общество; насколько можно судить, в эмиграции преобладает мнение, что именно этим путем власть и пошла. В-третьих, можно было сохранить то национально-историческое перерождение коммунистического строя, которое произошло за годы великого отступления, и даже местами углубить его, но одновременно искоренить самовольно поднявшиеся ростки свободы.

Каким же путем пошла власть? Этот вопрос можно решить только путем тщательного просмотра линий развития, проступивших в разных сферах русской жизни.

В политической сфере, ни за военные, ни за послевоенные годы подлинных изменений не произошло. Их и не могло быть, так как на политическую сферу великое отступление никогда не распространялось; именно для сохранения полноты власти Кремль и пошел на частичные уступки на второстепенных фронтах.

Знаменательно, однако, что в наши дни власть так часто и настойчиво прославляет советскую демократию, единственную подлинную демократию, противопоставляя ее дже-демократиям Запада; особенно подчеркивается, что советская печать воистину свободна, тогда как печать Америки и других капиталистических стран состоит в полном рабстве капиталу. Настойчивость этих заявлений свидетельствует о том, что в русском народе, или по крайней мере в русской интеллигенции, идея свободы не умерла. Даровать России свободу власть не собирается; но ей надо думать о том, чтобы угодить свободолюбцев, и этого она пытается достичь доказывая им, что они уже имеют то, чего хотят.

Знаменательны и две символические перемены: 15-го марта 1946 г. верховный совет СССР признал за благо переименовать народных комиссаров в министров, а председателя их совета — в председателя совета министров. Сталин теперь носит то самое звание, которое некогда принадлежало графу

Витте и Столыпину. А ведь в начале октябрьской революции Ленин восторженно принял предложенное Троцким звание «народного комиссара»: в нем, казалось тогда, как бы символически воплотилась революция. Переименование, в наши дни состоявшееся, — яркий случай возврата к национально-исторической традиции и уж конечно не свидетельствует о тенденции возврата к чистому коммунизму.

Несколько менее ярка вторая символическая перемена: с осени 1946 г. нет больше Красной армии и красноармейцев, а есть советская армия и солдаты.

В хозяйственной сфере военные годы дали яркое проявление недоверия власти к чисто коммунистическим приемам. В то время, как большинство воевавших стран ввело систему полного и для всех равного рационирования и боролось с черным рынком, на котором цены определяются законом спроса и предложения, советское правительство, вернувшись к отмененному в 1934-5 г. г. рационированию, придало ему своеобразное значение: районы обеспечивали каждому (по крайней мере, на бумаге) необходимое для поддержания жизни, притом по низким ценам; но они сочетались с вполне законным, голым, а не черным рынком, на котором каждый мог восполнить скудный паек покупкой товаров по ценам, установленным на основе чисто-капиталистического закона спроса и предложения.

Игрой этого закона, у некоторых лиц, преимущественно из крестьянской срады, накопились значительные суммы, представлявшие как бы потенциальную экономическую энергию, сосредоточенную в частных руках. Так как от хозяйственной монополии власть никогда не думала отказываться, это было недопустимо, и потому только-что названный зародыш хозяйственной свободы был с корнем вырван актом 14-го декабря 1947 г., который реформировал денежную систему в порядке конфискации излишнего накопления, но одновременно отменил рационирование, — в третий раз за сравнительно недолгую историю советской власти. Это было, конечно, далеко не в духе коммунизма.

Не в духе коммунизма были и две другие меры послевоенного времени. 9-го ноября 1946 г. была восстановлена кооперативная торговля в городах. Известно, что кооперативная торговля в СССР мало отличается от государственной. Но симптоматично, что мероприятие было объяснено желанием власти возродить конкуренцию и тем подхлестнуть застывшую в бюрократической рутине государственную торговлю.

29-го августа 1948 г. советским гражданам было предоставлено право покупать и строить для себя дома, с правом владеть ими неограниченное время и передавать по наследству кому угодно. Подобные акты издавались и во времена НЭП-а и с тех пор не были отменены. Но никогда еще не знало советское право такого приближения к частной собственности на недвижимое имущество. Конечно, не о духе чистого коммунизма этот акт свидетельствует; он ясно идет навстречу частно-хозяйственным вожеланиям каких-то групп населения, надо думать, близких к самому центру власти, ибо только там могут найтись деньги, нужные на строительство.

В других случаях власть энергично пресекала ростки хозяйственной свободы. 9-го января 1948 г. были приняты меры к закрытию предприятий, по типу приближающихся к потогонным мастерским доброго старого времени. Техника предприимчивых людей была незамысловата: они создавали лже-артели, набирали заказы, получали по дешевке сырье, а работу раздавали, по низким ценам, на дом тем членам коммунистического общества, которые до зарезу нуждались в дополнительных заработках. Всё это пресечено — но не в этом дело, а в том, что на четвертом десятилетии коммунизма такими делами занимались русские люди.

Частно-хозяйственный дух, по неоднократным заявлениям советской печати, проступает и в потребительской кооперации. А в колхозах начальство торгует землей, тогда как рядовые члены покупают трудовни, чтобы работать не на колхозной, а на своей земле; эту же последнюю они всячески стараются расширить за пределы, допускаемые законом. И это пресекается. Но то, что пресекается, это пережат частно-хозяйственной стихии через плотину, намеченную для нее за годы предвоенного отступления. Происходит не отмена уступок, тогда сделанных, а введение в законные рамки частно-хозяйственной стихии.

Перейдем к линиям развития в сфере семьи, религии и школы, этих трех устоев культурной традиции. В этих сферах, за предвоенные и военные годы отступление зашло так далеко, что дальнейшего его углубления трудно было бы ожидать. И всё же, указ 8-го июля 1944 г., столь затруднивший развод, усугублен был распоряжением по советской армии, согласно коему офицер, желающий возбудить дело о разводе, должен предварительно испросить, по команде, разрешение высшего начальства. По отношению к религии, указ 14 августа 1945 г., вернувший России колокольный звон и частично

восстановивший право приходов владеть движимым имуществом, был издан за несколько дней до победы, — значит, уже не в порядке какой-то временной уступки, вызванной чисто военными соображениями. А в 1946 г. патриарх Алексий был награжден орденом Красного знамени — символически это столь же значительно, как занятие Сталиным кресла Столыпина, — и почти одновременно были освобождены от налогов монастыри, которые, кстати сказать, возродились без всякого законного титула. Летом 1948 г. в Москве состоялась конференция православных церквей, которая рассмотрела ряд вопросов, в свое время намечавшихся к решению на вселенском соборе, о созыве которого православные люди давно мечтали. Уполномоченный советского правительства приветствовал конференцию и подчеркнул ее значение не только для русской, но и для вселенской православной церкви. Этим он, в сущности, дал санкцию ее решениям, выдержанным в ультраконсервативном духе: церковного, т. е. юлианского, календаря не менять; англиканскую иерархию признать только в случае полного принятия ею всех догматов православия; экуменическое движение осудить и отвергнуть. Любопытно, что один из этих решений состоялось по докладу митрополита Серафима парижского, некогда карлованкой, а ныне московской юрисдикции: Москве он мог доложить то самое, что доложил бы карловчанам. И вот такие решения благосклонно приняты той самой властью, которая в двадцатых годах покровительствовала живой церкви, собиравшейся «догнать и перегнать» лютеровскую реформуацию.

В школьном деле великое отступление от коммунистического эксперимента завершилось в 1943 г., с прекращением совместного обучения мальчиков и девочек. После войны, программа десятилетки была усилена введением логики и психологии. В преподавании истории, т. е. предмета, на котором, по необходимости, должно было сильнее всего отразиться национально-историческое перерождение коммунистического строя, произошли известные колебания. В 1946-7 г. г. рекомендованные учебники истории подверглись критике за то, что они недостаточно подчеркивали роль великорусского народа в историческом развитии отечества и влияние, оказанное им на другие народы. Но по выходе нового издания учебника для средней школы, в угоду такой критике переработанного, оно подверглось новой критике за слишком фактическое изложение событий и недостаточное внимание к теории и обобщениям. Вот он, возврат к чистому коммунизму, скажет чита-

тель. Не совсем, ибо имеется в виду реформированная теория и на ней основанные обобщения. А за годы великого отступления марксистская догматика стала сильно смахивать на героическую теорию Карлейля.

В области науки, послевоенные годы ознаменовались несколькими разгромами, из коих нашумел на весь мир разгром биологии. Начался он с дела профессора Жебрака, который во время войны осмелился напечатать статью в американском журнале и в ней заявить, что он не согласен с официально принятой генетикой Лысенки, а, напротив того, придерживается классической генетики Менделя. Завершился разгром в августе 1948 г., увольнением ряда видных биологов и закрытием их лабораторий. История эта сравнительно хорошо известна, и потому здесь достаточно отметить следующие пункты: 1) лысенковская генетика была включена в состав официальной, для всех обязательной истины еще в 1936 г., так что новое гонение лишь продолжает старое, прерванное было войной; 2) несмотря на недвусмысленные заявления власти большинство профессоров биологии продолжало преподавать генетику по системе Менделя; 3) одним из эпизодов печальной истории было многолюдное публичное собрание, созданное кафедрой генетики Московского университета, на котором видные биологи не побоялись обличать невежество Лысенки и некоторых официальных философов, выступивших на его защиту; 4) в обвинениях против Жебрака и других прозвучала новая нотка: они неправы уже потому, что принимают взгляды западной, т. е. буржуазной науки, тогда как по предмету спора существует советорусская теория. Смысл истории таков: за время войны советские биологи самовольно вернули себе свободу научного мнения; по окончании войны власть решила такое развитие пресечь и, пресекая, использовала мотив советорусского патриотизма.

Схожие черты яро проступили и в других нажимах власти на науку. Под конец войны венгерский коммунист Варга, неплохой экономист, по поручению партии составил доклад о военном развитии и послевоенных перспективах капитализма и пришел к далеко не ортодоксальным выводам: капиталистические государства не являются игрушками в руках монополистов капитала; за время войны, эти государства недурно справились с планированием; положение их рабочего класса улучшилось; нет оснований в скором времени ожидать глобального кризиса в Соединенных Штатах или острого экономического конфликта между ними и СССР. Мысли эти были под-

хвачены рядом других экономистов, которые стали проводить их в редактируемых ими изданиях. С июня 1947 г. началась реакция: Варгу и его последователей стали усиленно травить; некоторые сопротивлялись долго и упорно, но в апреле 1949 г. Варга не выдержал и подписал отречение по всем пунктам. Власть восторжествовала, но то, что она успешно поборола, была свободолюбивая тенденция ряда советских ученых, которым как будто показалось, что настало время говорить правду. Их правда подавлена официальной истиной; но ни отказ от официальной истины, ни отказ от совершенно определенных взглядов на неизбежные тенденции развития капитализма в состав великого отступления не входил.

В другом нажиме, направленном против профессора Виноградова, автора книги «Русский язык», прозвучала националистическая нота. Виноградову было поставлено в упрек допущение следующих мыслей: в некоторых своих формах русский язык менее развит, нежели другие; временами он подвергался иностранным влияниям; такие же влияния имели место в русской филологии. Такие мысли были объявлены прислужничеством ко всему иностранному, болезнью, по словам критиков, широко распространенной среди русской интеллигенции. Как и при атаке на биологию, многие ученые и студенты, на открытом собрании, заявили о своей солидарности с Виноградовым.

Официальной истине в науке соответствует официальный стиль в литературе, театре, музыке, графических искусствах и т. д. В этих сферах культуры за послевоенные годы произошло несколько разгромов, привлечших к себе внимание мирового общественного мнения. Прологом послужила появившаяся в июле 1946 г., в газете «Культура и жизнь», статья Еголина и Лебедева, которые отметили, что за последние годы не было ни одной выдающейся театральной постановки, не появилось ни одной хорошей русской оперы и ни одного идеологически и технически сильного фильма. Особенно было подчеркнуто пристрастие советского театра к иностранным пьесам, преподносящим публике чуждую идеологию, и отсутствие критики буржуазной цивилизации.

Первым актом был удар по советской литературе. В августе 1946 г. имена Ахматовой и Зощенко были занесены в советский индекс, один из издававшихся в бывшей северной столице журналов был закрыт, а другой подвергнут преобразованию. Как в постановлении ЦК по этому предмету, так и в опубликованном месяц спустя докладе Жданова было осо-

бенно подчеркнуто отсутствие в ленинградской литературе подлинно советской идеологии и слепое преклонение перед Западом. Для исправления ошибок было повелено вернуться к социалистическому реализму, т. е. стилю, господствовавшему в годы вежливого отступления. Опять, как и за десять лет перед тем, были сделаны попытки определить, что такое социалистический реализм, и опять они ни к чему не привели. По словам Фадеева, нового главы союза советских писателей, чтобы писать в духе такого реализма, нужно описывать советского человека таким, как он есть, и одновременно таким, каким он должен быть. Возможно ли это, спрашивает он сам себя, и категорически, но голословно, отвечает — конечно, возможно. Читатель ждет разъяснений. Вместо них он получает пространные рассуждения о Бальзаке, который, по словам Фадеева, соединил в себе реализм с романтизмом. То же самое, очевидно, должен сделать советский писатель. Так как одной из существенных черт романтизма является восхищение перед прошлым, то несчастный советский писатель как будто поставлен перед задачей прославить в советском человеке прошлое, настоящее и социалистическое будущее!

Второй акт атаки на культуру составил из ряда нажимов на театр и кино. Театру было предписано сосредоточиться на советском репертуаре, который, как мимоходом было отмечено, обнаруживал тенденцию сойти на-нет. В сфере кино главный удар пришелся по Эйзенштейну, который был обвинен в формализме и антиисторичности.

Третий акт, разыгранный в феврале 1948 г., был направлен против музыки. Незадолго перед тем Сталин был в Большом театре и слушал оперу Мурадели «Великая дружба народов». Опера ему не понравилась; было назначено расследование, а затем состоялось постановление ЦК, которое обвинило трех крупнейших композиторов СССР, Прокофьева, Шостаковича и Хачатуряна, а заодно и ряд меньших композиторов, в возврате к формализму, осужденному еще в 1936 г. Всем было предписано вернуться к великой традиции русской классической музыки и впредь сочинять музыку, понятную широким массам, а также воздерживаться от подражания разложившейся музыке буржуазного Запада. На состоявшемся в конце года пленуме правления союза советских композиторов было отмечено исправление Шостаковича и Мурадели, но резко осуждена новая опера Прокофьева «История нового человека», которая, де уродует и искажает благородный образ советского человека; отмечено было также, что формализм стал

принимать новые формы, маскируясь в псевдоклассические одежды...

В четвертом акте атака расплылась по множеству направлений и захватила второстепенные и побочные проявления культуры. «Крокодилу» было поставлено на вид, что он осмеивает советский быт вместо того, чтобы сатирой парализовать влияние Запада. Театральные критики были резко осуждены за то, что русские пьесы они ставили ниже западных. Советский цирк был обвинен в формализме и космополитизме, спортивные обозреватели — в насаждении среди советских спортсменов индивидуалистических идей Запада. Даже деятели рабочих клубов были осуждены за то, что не устраивают для советской молодежи иных танцев, кроме западных.

Что же показывает многоактная трагедия, только что вкратце воспроизведенная? Прежде всего она показывает, что за годы великой страды многие деятели культуры позволили себе отклониться от официального стиля. Ленинградские писатели, хотя и слабыми намеками, «прославили свободу» и Запад. Композиторы попытались вернуться в русло современной музыки, вместо того, чтобы перепевать песни, другими спетые 75 или 100 лет тому назад. Эйзенштейн взглянул на Ивана Грозного своими, а не сталинскими глазами, театральные критики позволили себе иногда говорить горькую правду и т. д. Против этих ростков свободы и были направлены главные скорпионы.

А что деятелям культуры приказано делать? Вернуться к стилям, которые были связаны с коммунистическим экспериментом? Как раз наоборот: им приказано вернуться к стилю, намеченному с начала «великого отступления», к социалистическому реализму в литературе, к классикам в музыке. Иными словами, линия развития, за годы войны отклонившаяся от прямой, властно выравнена.

Одновременно сохраняется и сугубо националистический подход к прошлому и настоящему русской культуры. В речи по поводу 800-летия Москвы, Сталин отметил исторические заслуги столицы, объединившей разрозненную до того Россию. Не так давно Фадеев говорил о прогрессивной роли русского империализма — не будь его, завоеванные Россией народы были бы захвачены другими хищниками и уведены с той великой дороги, которая в конце концов привела их в Советский Союз. И в других выступлениях не раз подчеркивалось единство русской истории, до и после октября. Ныне, как и до

и во время войны, коммунистическая революция объявляется естественным исходом русской истории.

С другой стороны, сильнее, нежели до войны, противопоставляется всё советорусское всему западно-буржуазному: не только потому, что оно советское, но и потому, что оно русское. Иными словами, довоенное отступление на национально-исторические позиции углублено.

Не только углублено, но получило карикатурные, а иногда прямо болезненные формы. За последние два года советская печать, по всякому удобному и неудобному случаю, утверждает, что всякое открытие или изобретение, в сущности, сделано русскими. В начале т. г. одному автору досталось за то, что открытие пенициллина он приписал англичанину Флемингу; всем известно, было поставлено ему на вид, что он открыт тремя русскими учеными. Почти одновременно, «Комсомольская Правда» выступила с утверждением, что первый полет человека на машине тяжелее воздуха состоялся в России еще в 1882 г., за 22 года до полета братьев Райт, с которого мир привык вести начало авиации. Для большей убедительности, советская газета дала факсимилэ какой-то русской газеты тех времен. Уж не один ли из фантастических романов Жюль Верна тогда в ней печатался?

Это карикатурно. Болезненно то, что с начала т. г., в советской прессе появилась новая линия: неуважение к России и преклонение перед Западом приписывается «безродным космополитам»; нередко такие космополиты перечисляются; при этом первенствующее место дается евреям, псевдонимы которых раскрываются. Возрождается практика союза русского народа...

— Этим можно закончить обзор явлений, проступивших на поверхности жизни послевоенной России, обзор, предпринятый для того, чтобы решить, каким из трех возможных путей она пошла. Ясно, что она не пошла первым путем, либерализации режима; как раз наоборот, власть усиленно занялась искоренением ростков свободы. Но не пошла она и вторым путем, возврата к чистому коммунизму: мероприятий такого рода наш обзор не обнаружил. Двигаясь по третьему пути, власть как бы консолидировала великое отступление, странное слияние коммунизма с обрывками национально-исторической традиции, а этой поведней придавала болезненно-заостренную форму.

В этой болезненной заостренности, в противопоставлении России гнилому Западу, в приписывании русской культуре

того, что ей по праву не принадлежит, в возрождении антисемитизма — главное отличие послевоенной России от довоенной; доза же коммунизма осталась неизменной. Конечно, Маркс - Энгельс - Ленин - Сталин на первом месте; но они были на первом месте и до войны. А вот четыре символа, которые десять лет тому назад показались бы немислимыми: Сталин в кресле Столыпина, орден Красного знамени — патриарху; русский аэроплан, летавший за 22 года до изобретения авиации на отсталом Западе; безродный космополит-еврей в качестве козла отпущения.

Чем объяснить это обострение национального элемента в современной, скажем, нео-коммунистической культуре? Прежде всего, социальной инерцией, общим законом социальных явлений, согласно коему социальные процессы развиваются в раз принятом направлении, пока тому не встречается препятствие. От интернационализма 1917-34 г. г., почитавшего буржуазным предрассудком возвеличение какой-либо культуры, развитие, вызванное опасением войны, привело к восстановлению русского национализма в умеренной форме, которая допускает признание инациональных ценностей. От этого этапа, под влиянием опасений, вызванных во власти встречей русских людей с подлинным Западом, развитие привело к подавлению всяких ценностей, кроме национальных, к придаче национализму самоуверенного, кичливого, лживого и агрессивного характера. И от этого этапа, вероятно, под влиянием необходимости найти нового козла отпущения вместо всем надоевшего недорезанного буржуа, развитие привело к конечному этапу зоологического национализма, выражающегося в антисемитизме.

Последние этапы развития не оставляют сомнений в том, что сущность процесса — не в антитезе социализма и капитализма, а именно в антитезе России и Запада. Вернувшийся в Россию после нескольких лет отсутствия американский корреспондент Г. Сольсбери был поражен новым национализмом Москвы, лишь стыдливо прикрываемым наклеиванием на всё западное ярлыка «буржуазное». А другой вдумчивый иностранный корреспондент, Дрю Мильтон, сообщил об одной своей беседе с видным театральным критиком, который объяснил ему, что раньше можно было показывать русским людям изнеженную и лишенную идейности жизнь Запада, но что теперь это невозможно, так как ныне русские люди могут и такой жизнью соблазниться. В усиленном, доведенном до предела национализме советская власть усмотрела наилучшее

противоядие против западной отравы, которую, очевидно, не побороть ни политическими карантинами оттуда возвращающихся, ни политическим перевоспитанием, ни угрозой концентрационным лагерем, — не посадить же туда всех молодых людей военного возраста!

Е какой-то мере, частичным возвратом к национально-исторической традиции кончается всякий революционный процесс. Могут торжествовать гегельянцы, строя процесс, как триаду, в которой дореволюционный строй оказывается тезисом, революция — антитезисом, а сочетание старого и нового в пореволюционном строе — синтезом. Современные социологи могли бы переменить выдвинутый Парето закон восстановления нарушенного равновесия. Важны, конечно, не эти ярлыки, а самый акт неизбежности частичного возрождения прошлого, казалось, «навсепла» упраздненного революцией.

Что именно из прошлого возрождается, повидимому, никому закону не подлежит. В русском случае выбор зачастую выпадает на самые темные элементы прошлого. Тирания в стиле возвеличиваемого большевиками Ивана Грозного; служащая государству церковь; делянская школа; кичливый национализм типа «шапками закидаем»; ксенофобия и антисемитизм — вот то, что сочеталось с ведущей свой род от Маркса коллективизацией орудий производства, с изобретенной Лениным однопартийной системой, с так же Лениным придуманной, но лишь при Сталине до конца продуманной и введенной системой официальной истины в науке и официальном стиля в искусстве.

Прочно ли это сочетание? Всё зависит от того, в самом ли деле искоренены, или только загнаны вглубь те проявления свободолюбия, с которыми пришлось неоднократно встречаться при обзоре путей послевоенной России. От ответа на этот вопрос зависит русское будущее. Но данных для ответа пока нет.

Н. С. Тимашев.

„Я ГРАЖДАНИН ЛЕНИНГРАДА“

VII.

И потянулись дни в осажденном городе..

Начало октября. Уже холодно. Жизнь становится все труднее. Жалованье не выплачивают. Денег в сберегательных кассах не выдают: все счета закрыты. В особенности сложен вопрос с питанием.

Продолжающиеся воздушные налеты и систематический артиллерийский обстрел отступают на задний план. Постепенно все внимание населения сосредотачивается на вопросе питания. Паяк настолько мал, что просуществовать на него невозможно. Картофеля и других овощей нет совсем. Учреждения прикрепляются к столовым, где можно раз в день, по карточкам, получить еду. Плохую еду. В столовых большие очереди и чем они длиннее, тем наглее становятся подавальщицы. В магазинах и по карточкам ничего не получить. Хуже всего приходится беженцам.

Трамвай идет через Дворцовый мост. Я стою на площадке вагона. Очередь артиллерийских снарядов ложится посреди Невы перед Университетом. Взрыв взмётывает в небо снопы воды и тонкий ледок. Я хочу выглянуть, но какой-то гражданин успевает высунуться передо мной и заслоняет меня. Он шатается и падает.

Кровь в трамвае. Кровь на снегу.

Судьба...

*) См. 21-ю книгу "Нового Журнала".

«Ты слышала, Ирочка, новую легенду? Пока памятник Петру — цел, его город никто не возьмет».

«Я слышала другую. Пока мощи Александра Невского покоятся в Лавре, нельзя завладеть городом. Но человек, рассказывавший мне это, прибавил, что мощей там давно нет».

«Не знают ленинградцы сейчас, что делать. Желать ли, чтоб мощи Александра Невского здесь были, или радоваться тому, что большевики их удалили; чтобы стоял Медный Всадник, или был разрушен снарядами. Но с невольной гордостью многие говорят, что Ленинград, мол, такая столица, которую еще никто не брал. Единственная в истории».

Забывают они о том, что Петроград давно взят врагом: он пал под выстрелами с крейсера «Аврора».

Пугание ухудшается с катастрофической быстротой.

Четырнадцатого октября деканов и профессоров института вызывают на экстренное заседание в дирекцию.

— Товарищи, — голос Пастухова срывается, — товарищи, вы знаете, что немцы отрезали Ленинград. Вы видите, что противник приступил к осаде города. Нечего закрывать глаза на действительность. Положение наше сложно. Но партия и правительство принимают все необходимые меры: Красной Армии отдан приказ разорвать кольцо блокады и восстановить связь с Ленинградом. Но выполнение этого решения потребует некоторого времени и повлечет за собой ряд тяжелых, но совершенно обязательных мероприятий. Так, с завтрашнего дня придется снизить паек населению. Товарищи! Я уверен в том, что вы сумете объяснить студентам и преподавателям неизбежность этого и поддержать железную дисциплину.

Мой сосед хочет что-то спросить, но останавливается. Все молчат и, наконец, молча расходятся.

Странное чувство владеет мной. Я под впечатлением не того, что сказал Пастухов, а того, как он это сказал. В его тоне и даже взгляде было что-то не совсем привычное.

Что именно?

Пожалуй, то, что он не говорил так безапелляционно-

поучающе, как всегда, когда возвещал о решениях партии и правительства. В голосе пробились неуверенные, просящие нотки. Он не требовал, он искал у нас помощи.

Что мне напомнил этот тон? Мое прощание с ним перед отъездом на фронт? Нет.

Так что же тогда?

И я вспоминаю: первые дни после начала войны. Толпы народа у репродукторов; говорит генеральный секретарь коммунистической партии большевиков и глава правительства СССР: «Товарищи!», голос срывается, и вдруг: «Братья и сестры!..» Пауза. Бульканье воды, наливаемой в стакан...

Содержание речи Пастухова я сознаю лишь на следующий день вечером, когда Ира кладет на стол два небольших куска хлеба, вернее, клейкой массы. Ее и мой паек...

Голод?

— Ирочка, есть у нас еще что-нибудь дома?

— Да, но очень мало, Саша.

Ходят слухи, что генерал Кулик послан с особой армией на прорыв кольца.

Население ждет 7-го ноября, для празднования 24-ой годовщины советской власти. Население надеется, что к этому дню будут произведены значительные выдачи продовольствия. Полное отсутствие последнего объясняется некоторыми, как желание власти сделать к этому дню необходимые запасы.

7-ое ноября.

Ожидавшиеся выдачи не производятся.

С территории Ленинграда исчезают голуби и воробьи. Немного позднее — вороны. На домах появляются в большом количестве записки: «Куплю кошку», «Кто продаст собаку в хорошие руки?». Предметом зависти являются служащие лабораторий, где есть подопытные животные, но в собенности

служащие Зоологического сада. Из пустых магазинов исчезает последнее, что там есть: горчичный порошок, перец, лавровый лист, крахмал, костяная мука. Из этого пытаются печь лепешки и варить супы. Касторка ценится на вес золота: это единственный жир. Но его в аптеках уже не достать. Лепешки от кашля и всякие другие съедобные лекарства тоже уже раскуплены. Из жмыхов научились делать котлеты. Но жмыхов уже не достать.

Внешний вид ленинградцев меняется.

Г о л о д.

VIII.

Повидимому, немцы полагают, что в районе, вернее, в квартале, где мы живем, находятся военные объекты, так как подвергают его систематическим бомбардировкам. От сотрясений, воздушных волн и осколков наш дом все больше и больше приходит в негодность. Кругом довольно много поврежденных и разрушенных зданий. Одна из наших двух комнат стала окончательно непригодной для жилья. Вторую нам удалось соответственно времени и возможностям привести в порядок: заколотили окно фанерой, закрыли тюфяками и завесили ковром. То же сделали с дверью, ведущей в соседнюю, нежилую комнату. Дневной свет теперь к нам не проникает, живем при электричестве. Дров с прошлого года осталось мало, поэтому установили маленькую железную печурку.

Коля с Марией Федоровной продолжают оставаться у тети Кати, так как ее дом, повидимому, в более благоприятном районе. Кроме того, Кате разрешили прикрепить карточки Марии Федоровны и Коли к столовой лечебницы, где она служит и где обеды несколько лучше. Те немногие продукты, которые еще имелись в хозяйстве, мы снесли Марии Федоровне. Тетя Катя прибавила к ним свои. В течение некоторого времени они смогут, таким образом, иметь дополнительное питание.

Ира и я условились приносить домой суп из столовой, чтобы можно было поесть вечером.

Сегодня после такого ужина Ира дает мне конфету.

— Вкусно? Отгадай, из чего она сделана!

Оказывается, из Пертусина — капель от кашля.

Вчера скончался в возрасте 54 лет доцент моей кафедры Петр Петрович Беляев, человек с большой эрудицией, хороший товарищ. По характеру тихий и скромный.

Петр Петрович всегда немного прихварывал, но такого близкого конца никто не подозревал. Он угас в течение нескольких дней без особой видимой болезни.

Его жена и двое детей-подростков остались в тяжелом материальном положении. Мне удалось выхлопотать в институте немного денег на похороны. Кроме того, мы сами собрали небольшую сумму для семьи.

Вечерами, как всегда, работаю, стараюсь не прерывать работы во время обстрелов и бомбардировок. Работаю не потому, что надо или хочется, а чтобы отвлечься от мыслей о еде.

Студенческая молодежь голодает. Некоторые устроились донерами и получают дополнительное питание. Многие теперь стремятся устроиться на оборонные работы, где дают двойной хлебный паек.

Неожиданно умер доцент моей кафедры Николай Владимирович Зарубин, полный жизни, на вид крепкий 42-летний мужчина. Последний месяц он не бывал в институте, так как был привлечен к оборонным работам. Недели тому назад он слег и больше не встал. Причиной смерти считают ослабление сердечной деятельности. Его семья на Кавказе.

В дирекции мне говорят, что за эти дни умерло несколько сотрудников института. Двое от обострившегося туберкулеза. Один от последствий язвы желудка.

Ира опечалена смертью сослуживицы, с которой она проработала семь лет.

Ленинградцы начинают опускаться. Одежда становится

перяшливой, закапана едой. Видно, что некоторые прекратили мыться. Мужчины, как правило не бреются. Нередки случаи воровства на службах, в среде сослуживцев.

Ассистентка Павлова принадлежит к числу тех, которые стараются не опускаться. Сегодня она особо элегантна. Котиковое манто, котиковая шапочка. Губы полведены. Она в приподнятом настроении.

— Александр Константинович, поздравьте меня, — я вчера вышла замуж. По правде сказать, я всегда думала, что выйду замуж, но что в качестве жаркого на свадебном обеде будет сервировка такса, — этого я себе представить не могла.

У тети Катинной сослуживицы из-за кошки неприятности. Опираясь на свой опыт, она на службе очень хвалила кошачье мясо. Ее вызвали в НКВД, обвинили в распространении ложных слухов и хорошенько припугнули. Она теперь не только не ест кошачьего мяса, но вздрагивает даже, когда слышит слово «кошка».

К воздушным налетам, артиллерийскому обстрелу и все увеличивающемуся голоду прибавился страшный враг
х о л о д.

Говорят о большой смертности в городе.

Немцев больше никто не ждет.

Слухи об армии генерала Кулика давно замолкли, как и вообще всякие слухи о событиях вне колыца. Им нет доступа в Ленинград, отрезанный от всего мира двойным кольцом, из которого выйти нельзя: внешним, образуемым немецкими войсками, и внутренним, состоящим из войск Красной Армии. Но и со своего Ленинградского фронта сведения поступают чрезвычайно скупо. Отпусков, даже однодневных, красноармейцам не дают, и у населения нет возможности общения с ними. Писем тоже нет. Из районов размещения войск граж-

данское население выселено. Дело с питанием обстоит и в армии плохо. Красноармейцы голодают и пухнут. Более или менее достаточные пайки получают лишь части, находящиеся в окопах передовой линии обороны.

Красная Армия не знает о положении в Ленинграде.

У Марии Федоровны продукты приходят к концу. Сама она выглядит плохо. Отекает.

Тетя Катя бодрa духом, но сильно похудела.

Ира всегда была худенькой, поэтому ее похудание не так резко бросается в глаза.

Ире и мне всегда мучительно хочется есть. Стараемся держаться. и это, кажется, пока удастся.

Лабсрантка Петухова, выхлопотавшая отсрочку рысылки, и ее мать, умерли. Последние слова Петуховой были:

— Счастливая Аксакова... Нет! Не хочу быть на ее месте.

— На столе лежали руки, Саша. Я не могла оторвать от них глаз. Это были страшные руки. Восковые руки покойника... Лежали они как-то отдельно, сами по себе... Руки с длинными желтыми ногтями... Совсем близко от меня. Я с усилием перевела глаза на человека, положившего эти руки. Это был Чернов, наш старший научный сотрудник. Лицо, как у всех, похудевшее и бледное. Только вот руки... Это было неделю тому назад. Да, ровно неделю, двадцать пятого ноября. Нас вызвали на заседание. Не помню, о чем тогда шла речь. Да, о том, что в план работ надо внести изменение... Выбыли некоторые сотрудники... Директор не сказал «умерли»... Так вот, Саша, эти руки... Когда я на них смотрела, я знала, что этот человек должен умереть и что руки его уже умерли... Сегодня мне сказали, что его уже нет...

Эти руки...

— Как вы изменились! Что с вами, Александр Константинович?

Василий Яковлевич, повидимому, действительно удивлен.

— Ничего не поделаешь. Времена такие.

— Присаживайтесь. Сюда, в кресло. А я чайку поставлю.

— Я к вам на минуточку, по делу.

— Но чайку мы с вами все-таки выпьем, крепкого.

Василий Яковлевич Сизов живет сейчас один. Его жена и дочь эвакуировались еще осенью. По профессии он педагог, но в настоящее время служит в штабе воздушной обороны. Василий Яковлевич принадлежит к числу так называемых ловких людей и всегда умеет устроиться. И сейчас он выглядит бодрым и здоровым, а на столе появляется хлеб, масло, варенье и чай.

Я ем медленно, маленькими кусочками, стараясь не показывать, насколько я голоден.

— Не знаете ли вы, Василий Яковлевич, места, где можно было бы достать продуктов?

— Сейчас это трудно. У меня, правда, есть один знакомый спекулянт-татарин. Но он продает только на золото. В монетах и вещах.

Василий Яковлевич бросает быстрый взгляд на мои ручные часы.

— Сейчас есть спрос на золотые часы. Товар он дает довоенного качества.

— Я, разумеется, продам часы.

— Так дайте мне их. Я сейчас к нему сбегаяю. Он тут рядом живет. Кушайте, кушайте хлеб и маслом мажьте.

Часы, которые я сейчас отдал, память о моем отце.

Через 10 минут Василий Яковлевич возвращается.

— За часы с браслетом можете получить 3 кг. белой муки, 1 кг. крупы, 0,5 кг. сахара и 100 гр. какао. Я думаю, что это хорошо. Согласны?

Я иду домой по темным улицам.

Я несу ценную ношу.

— Который час? — спрашиваю я на следующий день на службе.

Павлова привычным жестом приподнимает руку, хочет отвернуть рукав пальто, чтобы посмотреть на часы и останавливается:

У меня нет часов.

Тоже продали?

— Нет. С моими часами произошло что-то нехорошее. Я решила поменять их на продукты, не столько для себя, сколько для мужа. Они хорошей фирмы, золотые, с бриллиантами. Но муж сказал мне: «Если ты жертвуешь часами действительно для меня, то не продавай их. Отдай их мне». И он взял часы себе. И вот я без часов... и без продуктов.

Сегодня Павловой плохо удается ее шутливо-иронический тон.

Уже некоторое время нет воздушных налетов. Вероятно, в связи с холодом.

Немного увеличили хлебный паек, но зато еда в столовых окончательно сведена на-нет. Суп представляет собой мутную воду. На ежедневное получение второго — ложки каши и изредка микроскопической конской котлетки — картошки далеко не хватает.

Ленинградцы не верят в невозможность помочь населению, спасти его. В невозможность, хотя бы на время, разорвать кольцо, подвезти продукты.

Ленинградцы не возмущаются. На это у них прежде всего нет сил и все еще есть страх перед советской властью. Да и слишком очевидна бесполезность какого-бы то ни было возмущения.

Ленинградцы молчат.

Но они молчат и тогда, когда большевики призывают их проклинать врага.

Ослепительный свет, оглушительный грохот и резкий свист. Затем полумрак утреннего рассвета и заполняющий комнату леденящий холод.

Это очередь тяжелых артиллерийских снарядов легла непосредственно перед нашим домом.

Так встречаем мы 7-ое декабря, день нашей свадьбы.

Ковер и тюфяки сорваны, фанера, которой было заколочено окно, разбросана по комнате. Стулья опрокинуты. Все засыпано обвалившейся штукатуркой. Посуда, выпавшая из пробитого осколками буфета, лежит в виде черепков на полу.

Ира и я сидим на оттоманке, охваченные чувством безнадежности. Надо все начинать сначала. Медленно, пересиливая себя, мы начинаем приводить наше жилище снова в порядок. Холод пронизывает, несмотря на зимнее пальто и валенки.

Приходят Мария Федоровна и Коля.

Пока Мария Федоровна помогает Ире выносить штукатурку и битую посуду, Коля и я стараемся забить фанерой окно. Это сложная задача. Настолько холодно, что руки с трудом удерживают фанеру, гвозди и молоток. То и дело приходится их растирать. Наконец комната снова приспособлена для жилья.

Уже несколько дней, как мы топим мебелью и имеем в этом отношении некоторый опыт и познания. Кухонный стол и табуретки, как топливо, имеют значительные преимущества перед стульями фирмы Тонет. Последние сделаны настолько прочно, что трудно пилиться и не желают колотиться. Сейчас Коля не без некоторого удовольствия препарирует этажерку.

Говорят, что президиум Ленинградского Исполнительного Комитета обсуждает вопрос о мероприятиях, необходимых для массового транспорта покойников на кладбища.

Неожиданно пробудившаяся городская трансляционная сеть повествует «О буднях в осажденном Ленинграде»: о законном гневѣ, наполнившем сердца ленинградцев по отношению к врагу, об их стойкости и непреклонности в борьбе, о новых трудовых рекордах, о мужественных и суровых лицах и о том, что в часы досуга ленинградцы посещают концерты и ходят в театр!

Встречаю одного из доцентов Университета. Он куда-то

спешит, но, увидев меня, останавливается и долго трясет мою руку.

— Куда это вы так летите?

— Домой, домой. У меня дома хороший кусочек мяса есть. Понимаете, мне вчера страшно повезло. Ко мне в квартиру попала откуда-то кошка. Я даже забыл, как кошки выглядят. Сперва я ее было хотел приласкать, но тут меня осенила мысль, что составной частью кошки является мясо, а мясо, всякое мясо, можно есть. Я хотел схватить нож, чтобы ее зарезать, но она прыгнула в сторону, и я испугался, что она убежит, бросился на нее и задушил. Не успела убежать... Всю ночь варили ее по кусочкам, пробовал и ел...

Какой странный блеск в его глазах!

Неизвестно благодаря каким связям и знакомствам, муж Павловой улетел из Ленинграда на самолете.

Он оставил жену, но взял с собой ее часы и кое-что другое.

Так как воздушные налеты не возобновляются, Мария Федоровна и Коля снова живут дома.

Здоровье Марии Федоровны сильно пошатнулось.

Прекратили давать электрический свет. Керосиновых ламп нет. Сделали из баночки маленькую коптилку. Керосин достали в обмен на хлеб. В комнате теперь всегда полумрак. Читать и писать почти невозможно. Всё постепенно покрывается копотью.

Городская сеть окончательно замолкла. А с ней вместе и голос советской агитации и пропаганды. Официальные сведения о ходе войны больше не поступают.

Трамвайное и троллейбусное движение прекратилось.

Теперь всюду надо ходить пешком.

— Вас хочет видеть жена Гофмана.

— Просите.

— Я принесла вам письмо от мужа, — говорит женщина средних лет с отеками серым лицом, вошедшая в мой служебный кабинет, и достает из сумочки конверт. — Я вам, если разрешите, сама прочту его, так как писала под диктовку мужа я, а у меня неразборчивый почерк..

— Пожалуйста.

«Глубокоуважаемый Александр Константинович! Последние дни я чувствовал себя очень плохо. Я давно начинал думать, что это конец, но сегодня, несмотря на большую слабость, у меня необыкновенная свежесть мысли, и я понял, что в таком состоянии люди не умирают...»

Ее руки дрожат. Дрожит и письмо.

— Ему стало хуже?

— Он умер. Умер, продиктовав вот эту последнюю фразу.

Мы молчим.

— Я пришла, чтобы передать вам это письмо и просить помочь мне. Дело в том, что мне нигде не достать досок для гроба.

В хозяйственной части института разводят руками: ни досок, ни старых ящиков, ничего нет. Все израсходовано на гробы.

Постепенно до сознания ленинградцев доходит, что от голода не только страдают, но и умирают.

Каждый день приносит всё новые и новые вести о смертях. О причине больше не говорят. Она понятна.

Ира и я подводим печальные итоги. Мы сбиваемся. Приходится взять бумагу и карандаш. В течение нескольких минут мы записываем около 50 фамилий. Это имена умерших из нашего ближайшего окружения.

А скольких мы забыли? А о скольких мы ничего не знаем?

IX.

Университетская набережная. Застывшая Нева. Застывшие большие военные суда. Напротив мертвая Сенатская пло-

щадь. Петра не видно. Он закрыт мешками с песком. В здании Сената большая пробоина от артиллерийского снаряда. Купол Исаакия не блестит — он покрыт краской защитного цвета.

Здание Филологического факультета. Неприветливый вестибюль. Когдаходишь, теплее не становится.

В первом этаже налево темный корридор. Пусто. Направо маленькая комната. Кажется, бывший кабинет древних языков. Теперь это санитарная комната, т. е. комната санитарной бригады.

В комнате три кровати и ложе из стульев. На кроватях лежат какие-то фигуры. Чем-то покрыты. У стола мужчина в пальто, подпоясанным ремнем. Так многие ходят. Теплее.

Против него сидит закутанная в платки бесформенная фигура. Очевидно, женщина.

— У меня украли карточку, — говорит женщина, — я не ела вчера и сегодня.

— Какое несчастье! — раздается голос с одной из кроватей.

Потом наступает молчание. Оно длится долго.

Женщина встает и медленно надевает перчатки на одеревенелые пальцы. Медленно, волоча ноги, идет к двери, выходит.

— Дверь закройте хорошенько!

Молчание разорвано, и точно в ответ на это — безумные всхлипывания с кровати у окна:

— Что же это? Господи, что же это? Ведь надо было бы...

— Ах, оставьте! Ну, что мы можем?

И они, действительно, не могут.

Но, может быть, не надо было говорить закройте дверь?

В комнате знают, что за ушедшей дверь закрылась навсегда. Вряд ли дойдет она до дому, а если дойдет, то придти больше не сможет. Это было ее последнее усилие.

А чудес, говорят, не бывает.

Некогда существовавшие бригады давно распались. Но многие члены этих бригад так и осели в учреждениях. Это одинокие и ставшие одинокими. Тут тоже кажется существование. Дома страшнее. Некоторые так ослабели, что не могут пойти домой. Они умирают «на посту».

Но об этом как-то никто не думает.

Ведь, в конце концов, медленно умирают все.

Нас поддерживает это время конина, которую удалось приобрести через Василия Яковлевича в обмен на золотую брошку Марии Федоровны и Ирино кольцо.

Я снова пил у него крепкий чай, ел хлеб с маслом и сидел в теплой нетронутой комнате.

Василий Яковлевич в свое время был очень многим обязан моим родителям и хлопочет для меня, как мне кажется, с особой старательностью.

Достать что-нибудь на стороне сейчас просто немыслимая вещь.

Водопроводные трубы лопнули. За водой ходим на Неву. Уборные не действуют.

Е институте лекции по некоторым предметам, хотя и с перерывами, продолжаются.

Аудитория, рассчитанная на 200 слушателей. Тусклый свет зимнего дня проникает сквозь стекло, уцелевшее в одном из трех окон, забитых досками.

Холодно.

За партами едва 20-30 студентов, точнее, студенток. Все в пальто, некоторые закутаны в платки или одеяла. Они пытаются записывать содержание лекций.

На первой парте сидит девушка лет 17-18. Я привык к ней, к ее внимательным карим глазам. Это одна из самых добросовестных студенток первого курса. Она изменилась меньше других. Похудела только, глаза впали и стали от этого еще больше.

Вдруг голова ее опускается на стол. Рука, державшая карандаш, свисает, и она сама медленно съезжает под парту.

Ее поднимают соседки, щупают пульс, подносят к губам зеркала... Деловито выносят ее из аудитории и кладут на пол в коридоре. Пока.

Лекция продолжается.

По окончании занятий подружки отвозят тело покойной к ней домой.

Они рассказывают мне на следующий день: отец ее уже неделю, как умер, но не похоронен, лежит в их комнате. Мать умерла в тот же день, как и наша студентка. Жива только сестра 11-ти лет. Она теперь прокормится, так как у нее, если не отнимут, четыре продовольственных карточки.

Тяжелые хлопья снега падают в тишину онемевшего города. На столе в полуразбитой вазе несколько еловых веток. В тарелках студень. По рецепту: вода, желатин, лавровый лист. Мы едим его с солью, перцем и уксусом. Каждый приберет по куску хлеба.

Мария Федоровна заваривает припрятанную ею шепотку настоящего коле и дает каждому по два печенья «Альберт».

Сочельник.

Я замечаю, что тетя Катя потихоньку прячет свои печенья. Для Коли.

Саночки... Саночки...

Откуда взялось такое количество саночек? Почти каждый катит за собой саночки, а на них какие-нибудь вещи или что-то большое, завернутое в простыню или одеяло, что-то, напоминающее собой мумию.

Это что-то — покойник.

— Петр Васильевич, что это вы?

— Да вот видите, — он указывает рукой на трое саночек, связанных цугом. На первых лежит большая мумия, на вторых — поменьше, на третьих — чемодан.

— Это — жена. То — Люся. А это — вещи.

— Так куда же вы?

— Похоронить, пожалуй, надо, а там и сам не знаю.

Смерть... Смерть...

Всюду с м е р т ь.

В каком-то романе я читал, что всегда где-нибудь что-нибудь случается. Где-то смеются, где-то плачут. Там крепят, а вот хоронят. Где-то копают канаву, а где-то строят мост. И всюду во всем принимают участие люди.

В Ленинграде случается одно — умирают.

Все другое — вне Ленинграда.

Если и случается что другое, то это — не Ленинград.

Ленинград умирает. Медленно, в мучениях.

Умирают тела, но — и это страшнее — умирают души и застывают в лед сердца.

Х.

31-го декабря на короткий срок включают городскую трансляционную сеть. Говорит председатель Ленинградского Совета: Ленинград пережил трудные месяцы, но они уже позади. По льду Ладожского озера построена трасса, по которой в настоящее время доставляются продукты. В самые ближайшие дни следует ожидать значительного увеличения пайка. Возможно возобновление эвакуации...

В ожидании выдач население Ленинграда продолжает умирать.

Сопровствляемость организма дошла до минимума.

Тяжелый снежный покров окутывает город. Температура падает все ниже и ниже. Темнота и холод окончательно завладевают жилищами.

Город леденеет.

Город гибнет.

Сотнями тысяч разбитых окон, затянутых тюфяками или забитых чем попало, смотрит он, как теплится, судорожно бьется и потухает жизнь... как на его улицах лежат трупы, глубже становятся снежные сугробы, неподвижно стоят трам-

ваи и троллейбусы. И медленно двигаются тени исхудавших и распухших от голода и холода людей.

Идут рабочие в мастерские, служащие в учреждения, студенты в высшие учебные заведения. Идут с одной мыслью: «Только бы дойти, только бы не сесть отдыхать. Сядешь — не встанешь». Идут выполнять через силу то, что приказано: «Не придешь, лишишься продовольственной карточки, а тогда — сразу конец».

Город замирает, когда воздух пререзают снаряды, и содрогаются, когда рвутся тяжелые бомбы, рушатся дома и погребают новые жертвы.

Быстро развиваются эпидемии кровавого поноса и цинги. Ежедневно умирает всё больше и больше людей.

Город гибнет.

Гибнет, оставленный на произвол судьбы.

Гибнет в смраде разложения и величии нечеловеческих страданий.

Город страдалец. Город герой.

Герой? А может быть раб?

Ни герой, ни раб — больной, смертельно больной.

Дистрофия, — ставят диагноз врачи.

— Дистрофия, — покорно повторяет Ленинград.

— Мой брат умер от дистрофии. Вы, ведь, знаете — дистрофия бывает 1-ой, 2-ой и 3-ей стадии. У него была вторая, а он умер. Значит, была третья. У мамы — третья... Главное — нельзя ложиться... Некоторые думают, что это сэкономит силы. А выходит так, что силы все убывают, и мышцы отвыкают двигаться. Они отказываются служить, и человек больше не может подняться. Бессилие физическое переходит в духовное. Очень часто человек делается ко всему безразличен... Даже к еде... Но чаще бывает так, что он испытывает только одно желание — есть... Нет, ложиться нельзя, а то всё атрофируется... Все... Я стараюсь двигаться... Вот к вам зашла. Даже крюк сделала.

— А я всё больше лежу, Лизочка, — тихо говорит Мария Федоровна, — надо будет заставить себя встать.

Мария Федоровна заставила себя встать и даже пошла за хлебом.

У Марии Федоровны кто-то вырвал из рук все наши хлебные карточки.

Мы пытаемся успокоить ее, успокоить себя, но мы все скованы ужасом.

Мария Федоровна снова слегла.

Пришла тетя Катя. Она болеет колитом в тяжелой форме и останется пока у нас.

Мы ютимся в нашей комнате впятером. Около печурки, когда она топится, тепло. У окна иней всегда покрывает стену. За ночь вода в ведре замерзает. Мы в пальто и валенках. Так и спим.

Нам очень помогает Коля. Он ходит на Неву за водой, топит печку и приносит из столовой института обед.

Достал для Марии Федоровны валерьянки и чаю. Это хорошо для сердца.

У нас в комнате двое чужих: здоровый коренастый мужчина в новом кожаном пальто на меху, и его жена, довольно молодая, хорошо одетая женщина. Он держит в руках зажженную свечку, которую они принесли с собой. Оба рассматривают котиковое манто, сшитое еще в «мирное» время. Так называют в Советском Союзе время до 1914 года. Это манто принадлежало Марии Федоровне. Она год тому назад подарила его Ире.

— Оно не модно, но мех хорошо сохранился. Мы можем

дать вам за него две хлебных карточки до конца этого месяца, т. е. на 21 день.

— Карточки рабочего?

Покупатели переглядываются:

— Одну рабочего, одну иждивенца.

Может быть, вам еще что-нибудь надо?

— Нет. Мы искали настоящий котик.

Смерть...

Смерть пришла и к нам.

Сегодня утром Мария Федоровна не проснулась.

Смерти надо регистрировать.

— От чего умерла?

От истощения.

— Сколько ей было лет?

— 62 года.

— Значит не от истощения, а от старости. Так и запишем.

Я связываю лвое саночек, кладу на них одеяло. Ира просит помочь ей закутать маму в пальто. Потом мы заворачиваем ее в одеяло. Ира нагибается и еще раз целует маму.

И вот мы тоже возьмем саночки...

Утро. Сильный мороз.

Идти далеко.

Идем медленно. Стараемся не останавливаться. Мерзнут руки и ноги.

Идем через силу.

Идти надо.

Идем.

Чем ближе к кладбищу, тем больше саночек.

Пришли.

В кладбищенской конторе жарко топится чугунок. Много народу.

— Где здесь можно заплатить за место?

Здесь, гражданин, — к столу подходит человек в тулупе. — 20 рублей.

— Вы мне укажете место, где можно похоронить, и пришлете могильщиков?

Человек в тулупе удивленно смотрит на меня:

— Рыть хотите могилу?

— Да, а как же иначе?

— Тогда поговорите с тем, что у окна цыгарку курит.

Я подхожу к человеку с цыгаркой.

— Похоронить желаете? Одного? Двух? Вместе или по отдельности? Что-ж, можно. 3 килограммчика.

— У меня есть только полкилограмма хлеба. Остальное деньгами.

— За деньги не копаем. Что с денег! 3 килограмма. У нас уже вырытая могила есть.

— У меня нет трех килограммов.

— На нет — суда нет.

— Как же быть? — спрашиваю я человека в тулупе. — Может самим можно выкопать могилу? У нас лопата найдется.

— Я вам по чести скажу, гражданин, — говорит тихим голосом человек в тулупе, — вам самим не выкопать. Земля мерзлая, ее топором не взять, а вы еле на ногах стоите. И с ним путаться не надо.

Он бросает взгляд на человека с цыгаркой. — Живодеры они.

— Так как же быть?

— А как все. Идите за контору направо. На пустырь. Там увидите...

Я вижу через окно Иру, беспомощно сидящую на снегу около саночек.

Надо что-то делать.

Достать хлеба?

На что его достать? И где? И сколько?

Я выхожу. Со мной вместе выходит женщина и направляется к саночкам, стоящим невдалеке от наших.

Я рассказываю обо всем Ире.

Женщина рядом говорит надтреснутым голосом:

— Совести у них нет... Могила, говорит, готовая есть. Как же не быть. Вы знаете, гражданин, что они делают? Вот вы, скажем, заплатили им три килограмма. Ну, они и захоронят вашего покойника для видимости. А как только вы за ворота — вашего вон, и могила для следующего готова. Честное слово, так.

Мы молчим.

— Что-ж, повезем на пустырь, — снова говорит женщина. — Господь простит.

Она провозит мимо нас саночки.

Мы долго молчим.

— Повезем и мы, Саша. Значит, так надо.

За кладбищенской оградой большой пустырь. Вдоль ограды снежный вал.

— Куда?

— Да вот до конца вала везите. Там кладут новых.

Я всматриваюсь в вал, вдоль которого мы идем. Он напоминает собой бруствер окопа и доходит мне до пояса. И вдруг все понимаю: это сложенные друг на друга трупы, занесенные снегом.

В конце вала люди останавливаются, снимают с саней покойников и кладут их в снег друг за другом.

Мы тоже останавливаемся, пройдя немного дальше, снимаем тело покойной с саночек и спускаем его на чистый, белый снег. Становимся на колени и начинаем нагребать руками снег. Чистый, белый...

Ветер колет лицо. Деревенеют руки.

Мимо проезжает грузовик и останавливается неподалеку от нас. Четверо мужчин начинают сбрасывать с него трупы. Много трупов. Замерзшие на улицах? Они застыли в самых причудливых позах. Их отбрасывают в кучу.

Мы продолжаем нагребать снег и стараемся не смотреть в ту сторону.

Вот и всё. Снежный гроб сделали.

Ветер колет лицо.

— Что же дальше?

Пустой грузовик проезжает мимо нас. Мы невольно смотрим туда, где он только что стоял.

Из кучи мертвых тел торчит труп женщины. Распростертые руки подняты вверх. К небу. Стекланные глаза открыты. Лицо застыло в невыразимом ужасе. Седые волосы развеваются по ветру.

Слегла Ира.

В одной из комнат нашей коммунальной квартиры жи-

вет семья Колобовых. Сам Колобов призван на фронт под Ленинградом. От него давно нет вестей. Его мать на-днях умерла. Жена больна и лежит. На ногах его сестра и девятилетний сын Дима.

Сейчас Дима у Коли. Сидит тихо. Дима всё прислушивается, не зовут ли его домой есть:

— Мне нельзя опоздать. Вчера была тети Нинина, а сегодня моя очередь лизать тарелки, — объясняет он.

Тёте Кате лучше. Она встала. Только мёрзнет очень. А у нас с топливом кризис.

Я и Коля стоим у разрушенного дома. Мы должны во что бы то ни стало добыть топливо. Это не только рискованное, но и трудное дело. Особенно потому, что в дом можно попасть только через окно, а сил влезть в это окно у меня нет, хотя оно и находится совсем невысоко над землей. Но для этого надо поднять ногу. И вот я беру свою ногу руками — иначе мне её не поднять — ставлю на подоконник и ухватываюсь за боковые стенки выгоревшего окна. Теперь очередь за Колей: он должен со всей силой подтолкнуть меня сзади.

Сложная проблема решена, и можно приступить к краже. Мы извлекаем из-под развалин части от дверей и пола.

— Папа, — спрашивает Коля, — почему запрещают брать это? Почему не срубят Кронверкский парк на дрова? Ведь люди умирают от холода!

Тётя пошла к себе на службу, но вечером снова придет. Ей хочется быть с нами.

Тётя Катя не пришла. Наверное, она все-таки решила зай-ти к себе домой, а может быть, осталась ночевать на службе. От нас до нас дальний путь.

Третий день, как нет вестей от тёти Кати.

Коля был сегодня на службе у тёти Кати. Там ему сказали, что она в тот же день пошла обратно.

— Дома её тоже не оказалось, — растерянно и тихо говорит Коля.

В милиции никаких сведений о тёте Кате не получил. В больницах около ее дома и службы тоже не оказалось.

Количество замерзших на улицах за последние дни очень увеличилось.

Несколько небольших дополнительных выдач продуктов, действительно произведенных после Нового Года, положения в Ленинграде не изменили. Эпидемия голодного поноса, принявшая невероятные размеры, уносит бесчисленное количество жертв.

Денег ни у кого нет.

Открылись государственные скупочные пункты, где у населения скупают за бесценок носильные вещи и домашнюю утварь.

Ира чувствует себя немного бодрее.

Ей помогли впрыскивания камфары, которую принесла ей сослуживица.

Начались пожары из-за неосторожного обращения с огнем. В разных концах города горят десятки жилых домов.

Бороться с огнем, очевидно, некому и нечем. Дома сгорают беспрепятственно. Громкие слова о непревзойденности противопожарной техники Советского Союза остались словами.

Безветренный студёный вечер. Недалеко от нас, на

Мытинской набережной, горит студенческое общежитие Университета. Большой шестизэтажный дом освещен изнутри пламенем. Оно то вспыхивает, то затихает. Причудливые, колеблющиеся тени ложатся на соседние дома и снега улицы. Перед домом беспомощно стоит пожарный насос, вмерзший в лед. В нескольких шагах от него лежит труп, так же вмерзший в лед.

Мне навстречу идет профессор Рудаков, мой сосед по квартире.

В горящем здании с грохотом проваливается очередной этаж.

Мы останавливаемся.

— Ужас, какой ужас! — говорит Рудаков. — Не этот пожар. Все, что творится кругом, величайшее преступление и неслыханное предательство. Оставим в стороне недопустимость решения не сдвигать города с многомиллионным населением, я уж не говорю об исторических ценностях Ленинграда. Самое большое преступление не в этом. Самое большое предательство в том, что гражданское население просто не приняло во внимание, что с самого начала ничего ровно не делалось для его спасения, что пропустили время, когда многим еще можно было помочь, что довели город до этого состояния. Разве нельзя было сбросить лекарства? Витамины какие-нибудь? Экстракты или сушеные овощи? Ведь кричали о пищевых лабораториях и фабриках! И вот — ничего. Ничего. 5 месяцев ничего. Трассу построили через Ладогу! Так ведь это только сейчас! И то не для помощи населению, а чтобы вести дальше борьбу. То, что сейчас дополнительно стали выдавать, — не может спасти положения. Население продолжает умирать. Говорят, уже около миллиона — миллиона! — погибло. А смертность все растет! Разве нельзя хотя бы маленьких детей на самолетах вывезти, матерей с грудными? Многое, очень многое можно было бы сделать, но человеческая жизнь у нас ни в грош не ставится. Да что говорить... себя спасают, только себя, любой ценой...

Преступление, чудовищное преступление!

У Рудакова есть еще силы возмущаться.

Первое, что я вижу, выйдя утром из дому, чтобы идти на службу, это — труп мужчины. Он застыл на четвереньках перед воротами нашего дома. Неподалеку от нас, на Александровском проспекте, лежит замерзший подросток. Кое-кто уже успел снять с него обувь. На Биржевом мосту сторож в длинном тулупе смотрит мертвыми глазами на проходящих. На ступеньках Фондовой Биржи спит вечным сном старушка. В начале Невского, у Александровского сада, лежит юноша в синей рабочей одежде. Руки широко раскинуты. Русые волосы легли волной над бледным строгим лицом...

Знакомый путь, только каждый день новые вехи...

Привыкнуть к ним нельзя...

Один из знакомых доцентов добровольно пошел работать по очистке улиц от трупов и доставке их на свалочные места. Его прельстила возможность получать дополнительный паек хлеба и 100 грамм водки в день, которые выдаются при условии выполнения известной нормы.

Эта норма так велика, а он так слаб, что не успевает ее выполнить, и еще ни разу не получил ни хлеба, ни водки.

Мир никогда не узнает, сколько народу в действительно-сти погибло в зиму 1941-42 года в Ленинграде.

Скроют...

— Товарищ Богданович, зайдите в партком, там получите кое-что.

Иду.

— Нам удалось достать для профессорско-преподавательского состава 2 ящика столярного клея. Вот для вас 1 фунт. Из него можно сварить суп или сделать желе. Перцу только немножко прибавьте.

Уже неделя, как ассистентка Слепнёва не приходит в институт. Надо найти кого-нибудь, кто живет в ее краях, и попросить узнать о ней. И об ассистенте Попове. Его тоже

что-то не видно. Сейчас это очень плохой признак, когда человек так долго не приходит. Но раньше, чем я успеваю что-нибудь предпринять, появляется Слепнёва.

Если бы я за последнее время не привык к быстрым изменениям во внешности людей, то должен был бы ужаснуться, увидев ее. Как-то в детстве, на меня произвел потрясающее впечатление вид утопленника. Лицо Слепнёвой, распухшее, синеватое, с заплывшими глазами и треснувшими губами, страшно в своем сходстве с ним.

Она сидит передо мной в засаленном пальто одетом поверх бесчисленного количества одежд, в огромных, рваных валенках, с неизменным портфелем в руках, и ничем не напоминает ту милую, еще молодую женщину, которую я знал. Кокетливая шляпа, сдвинувшаяся на бок, придает всему облику невыносимо жалкий вид.

Ее рассказ обычен для наших дней. За эту неделю умерли её мать и отчим. Подросток-сын болен. Она с трудом устроила его в больницу.

— Может быть, там ему будет легче. Говорят, там лучше кормят. Я ношу ему от себя дополнительно.

Мне не хочется говорить Слепнёвой, что в больницах смертность едва ли не большая, чем на дому, и вряд ли её Алёше будет там легче.

Мои мысли прерывает чей-то воющий голос.

— Я есть хочу... Я хочу есть!

Это кричит Слепнёва.

Ей надо дать что-нибудь съесть.

Немедленно.

На окне стоит наш обед, за которым должен прийти Коля. Я кладу на кусок хлеба конскую котлету и подаю ей:

— Скушайте!

— А как же вы? — она нерешительно столбиком бутерброд...

— Кушайте! — еще раз говорю я и быстро выхожу из комнаты.

На площадях, где раньше были рынки, возникли «толкучки». Там иногда удается выменять на хлеб или пролатать что-нибудь из вещей.

Сегодня я и Коля получили за наш ковер 600 рублей и купили на эти килограмм хлеба и бутылку керосина. Окно завесили одеялами.

“Я - ГРАЖДАНИН ЛЕНИНГРАДА”

Больше сегодня ничего не «продалось».

С трудом удается превозмогать чувство голода. Оно давит на психику.

Студентка, посланная на квартиру к Попову, рассказала мне, что она не могла достучаться к нему. Его соседи, уверявшие, что он дома, взломали дверь. Попов лежал мертвый на диване в комнате, заставленной картинами и скульптурами. Оказалось, что он в последнее время ходил из дома в дом и выменивал свой паек и другие вещи на картины и скульптуры.

Попов был одиноким молодым человеком, большим любителем искусства. Он не рассчитал своих сил.

Сейчас очень многие не понимают, насколько, быть может, близок конец, и смерть застает их врасплох. Она приходит неожиданно для них и для окружающих.

— Мама, мне снился хлеб, очень много хлеба.

— Белый или чёрный?

— Белый. Булочки.

— Белый — это хорошо. Будут хорошие вести.

— Нет, мама, — говорит Коля, — это был плохой сон. Я ел и не мог наесться. И от этого было так страшно!

Дубовые щепки горят жарко. На печурке чайник. Крышечка подпрыгивает. Вскипел. Можно ужинать.

Ира наливает кипяток в чашки с отбитыми ручками.

Сегодня нет ничего больше. Только кипяток. Карточки на февраль должны были выдать еще позавчера, но не дали. Говорят, не успели напечатать.

И вот второй день нам совсем нечего есть. Вчера Ира сварила из последних ложек муки суп. На рынке ничего не достал.

Дубовые щепки потрескивают.

Мы пьем кипяток и друг на друга не смотрим.

Неотвязно звучит в ушах полный отчаянья голос мальчика, сына служащей института:

— Как же я пойду домой без карточек? Я обещал маме принести хлеба. Мама голодная. Мама два дня не ела. Мама умрет. Почему их еще не отпечатали?

Беспомощно катятся крупные слезы:

— Почему их не отпечатали?

Кто сосчитает умерших за 1-е, 2-е, 3-е и 4-е февраля?

Холодно. Очень холодно. И тихо, хотя уже день.

К стене дома по Церковной улице, огибая его и исчезая за углом в Провиантском переулке, прижалась длинная, сплошная вереница людей.

Очередь.

Ждут хлеба.

Над очередью точно повисла тупая безнадежность.

Многие в одеялах. Головы закутаны во что-то. Лиц не разобрать. Стоят вплотную, прижавшись друг к другу, иногда ухватившись друг за друга. Это, чтоб не вытеснили, не вытолкнули или, чего доброго, кто-нибудь не влез без очереди. Стоят с раннего утра, первые с ночи. Ждут. Ждут хлеба. И совсем неизвестно, сколько еще ждать и привезут ли. А у стоящих сзади одна мысль — хватит ли?

Вдруг какие-то крики, рыданья, какая-то бессильно мечающаяся фигура.

— Не пускайте!

— Мы стоим ведь! Не уходим!

— Да и стояла ли она?

— Конечно, не стояла!

— Что за безобразие! Не пускать никого без очереди.

Стена дома. Стена людей. Обе из камня...

6 часов вечера.

Привезли... Дают... Хватит ли?

Люди мертвой хваткой держатся друг за друга. Когда дверь булочной приоткрывается и в нее впускают очередную партию, вся очередь мерно раскачивается и, как один человек, делает несколько шагов по направлению к заветной двери.

Страшно стоять в этой очереди.

В булочной, в тусклом свете керосиновой лампы виден пар от дыхания людей. Хочу подойти к прилавку, но передо мной, на полу, в темноте какая-то возня. Две борющихся фигуры. Всматриваюсь: женщина повалила мальчишку лет двенадцати и душит его. У него изо рта торчит кусок хлеба, который он пытается жевать.

— Не смей, не смей глотать! Отдай хлеб, проклятый!

Я шагаю через них и становлюсь в очередь.

— Ирина Владимировна, Ирина Владимировна- — раздаётся голос в коридоре. — Наш район обстреливают. Верните Коленку! Я видела, он пошел за обедом, что ли. Да скорей!

— Спасибо, что сказали, Сонечка. Да только он уж, верно, перешел через мост.

Ира хочет всё-таки встать, немного приподнимается и снова опускается на стул.

— Придет, — шепчет она.

— Придет, — повторяю я.

Мы сидим неподвижно и слушаем, как рвутся снаряды, пока не возвращается Коля. И только тогда понимаем, что оба остались сидеть, не попытались вернуть его. Тогда, когда Коля рассказывает, что снаряд за ним пробил мост, мы оба вздрагиваем и выходим из охватившего нас оцепенения.

Что с нами было?

Что с нами стало?

С Ленинградского фронта в отпуск на один день пришел Колобов, отец Димы. Он стоит в своей солдатской шинели, прислонившись к косяку двери, ведущей в комнату, где жила его семья.

Да: жила...

Его мать умерла еще в декабре. В комнате на кровати лежит труп жены. Где сестра и сын, мы не знаем. Куда и когда они ушли? Вчера? Третьего дня? Живы ли? Никто в квартире не знал, что умерла его жена.

В глазах Колобова такой ужас, что он передается даже нам, больным, бессильным, отупевшим.

— Как же это случилось?.. Как же это могло случиться?..

Что же это?.. Значит, их совсем не кормили?.. Да как же они смели не кормить?..

Василий Яковлевич эвакуируется. Он неожиданно зашел к нам и сообщил это под большим секретом. Василий Яковлевич переменял службу и эвакуируется по льду Ладожского озера с одной из военных школ. Его квартира поступает под особую охрану.

Он хотел узнать, не осталось ли у нас еще золотых вещей, которые мы могли бы реализовать.

Мы подали ему обручальное кольцо и цепочку от креста Марии Федоровны.

Я был у Василия Яковлевича и снова получил немного муки и крупы. Когда я просил его познакомить меня, на всякий случай, со спекулянтом-татарином, он отвел глаза и объяснил мне, что это невозможно, так как... так как...

Я понял, что моим покупателем был всё время сам Василий Яковлевич.

При моем институте, как и в некоторых других учебных заведениях, открыт стационар. Это пункт лечения для особо слабых. Они помещаются сюда сроком на 2 недели. Лечат вливанием глюкозы. Питание здесь немного лучше, так, напр., черный хлеб заменен белым, иногда дают по рюмке вина.

Я возбудил в Местном Комитете ходатайство о помещении в стационар очень ослабевших Кутузова и Нелединской. У последней недавно умерла мать. Слепнёва не захотела лечь, так как она ежедневно ходит в больницу к Алеше.

Нелединскую приняли, а с Кутузовым дело осложнилось. В нашем институте работает также и его брат, который в свою очередь нуждается в лечении и о котором хлопочет его кафедра. В Местном Комитете заявили, что не могут принимать «целыми семьями» и согласны поместить лишь одного из братьев.

Юрия Николаевича привезла в институт на саночках его сестра. Ему трудно ходить. Он немедленно и категорически отказался от стационара в пользу брата, взяв слово, что тому об этом не расскажут.

Может быть, мне удастся в течение ближайших недель всё-таки поместить и его туда. Я просил об этом профессора

Когана, проректора нашего института.

Профессор Коган крупный ученый и человек с отзывчивым сердцем. Он, а не Пастухов, старается делать всё от него зависящее, чтобы облегчить участь своих коллег и помочь студентам.

Сам я лечь в стационар не могу. Из-за Иры и Коли.

Юрий Николаевич Кутузов прислал мне свой прощальный привет...

Это был молодой талантливый ученый.

Беляев, Зарубин, Гофман, Попов, Кутузов — умерли.

Брелков ранен. У него отняло обе ноги.

Смирнова ранена тоже.

Нелединская в стационаре.

Слепнёва еще может ходить.

Павлова и Федорова пока держатся.

Сухой, простой отчет.

Таково состояние моей кафедры «на сегодняшний день».

Что мне ответить лаборантке Федоровой?

То, что думаешь, — не скажешь.

А она взволнованно продолжает:

— Посоветуйте, что мне теперь делать? И поймите, что меня принудили согласиться работать для них, для НКВД. Я не могу об этом дома рассказать. Решила к вам обратиться. Что мне теперь делать? Я не в состоянии быть тайным агентом. Это случилось так неожиданно. Меня увезли туда со службы. Вчера. Прошу вас, помогите... посоветуйте!

Федорова растеряна и подавлена.

Что мне ответить ей?

Ведь она уже согласилась...

Дома узнаю новость. Две недели, как арестован профессор Рудаков.

А мы, живя с ним в одной квартире, ничего об этом не знали. Что же это? Опять начинается?

Ноябрь, декабрь, январь — три месяца население Ленинграда умирало без помощи НКВД. Возобновление его деятельности, очевидно, — прямое следствие построенной трассы. Первые реально ощутимые заботы партии и правительства.

Где бы купить хоть немного продуктов? Может быть, у Бергов есть какой-нибудь источник?

Борис Карлович инженер. Он знает меня с детства. Между нами сохранились хорошие теплые отношения. Как-то он? В конце декабря он чувствовал себя сравнительно сносно.

Дверь открывается. В худой, неаккуратно причесанной женщине я не сразу узнаю Веру Андреевну, жену Берга.

— Александр Константинович! Вы ли это? Вот радость! Входите, входите! Боря, пришел Александр Константинович! Только ты его не узнаешь. Он оброс бородой.

На стуле у окна сидит до предела исхудавший человек с большим заострившимся носом. Нет... это не Борис Карлович...

Человек с трудом улыбается и протягивает руку:

— Как хорошо, Саша, что ты зашел!

— Борис Карлович, голубчик...

— Колит замучил. Да скоро все хорошо будет. Вот ты мне совсем не нравишься!

Он говорит необыкновенно громким голосом: признак дистрофии 3-й стадии.

— Веруся, в списке знакомых поставь Сашу на первое место. Единственный вспомнил, а то все изменили... Рассказывай, что на фронте? Возьмут немцы наконец Ленинград или нет?

— Не думаю, что возьмут. Слишком всё затянулось.

— Веруся, слышишь, что Саша говорит? Немцы не возьмут Ленинграда. Прячь немецкие документы, — шутит Борис Карлович. Он в свое время был представителем немецкой фирмы.

Когда я ухожу, пообещав обязательно в ближайшие дни снова зайти, Борис Карлович неожиданно говорит:

— Саша, ты знаешь, я никогда не был сентиментальным человеком, но сейчас у меня к тебе сентиментальная просьба: поцелуй меня!

“Я — ГРАЖДАНИН ЛЕНИНГРАДА”

Я заставляю себя сдержать обещание и через несколько дней снова иду к Бергу.

Вера Андреевна полагает мне трубку Бориса Карловича — на память.

Борис Карлович до конца шутил и не понимал, что умирает. Или делал вид, что не понимает.

А еще через несколько дней я стою на рынке, голодный, замерзший и продаю.

Продаю трубку Берга...

— А вы всё-таки еще очень наивны, Александр Константинович, если можете думать, что некоторые держатся только потому, что они оказались сильнее нас с вами. Есть, милый мой, особые пайки... Секретные... Правда, для немногих, но они есть. Что же вы думаете, что Пастухов святым духом держится? Ничего не скажу — хороший человек профессор Коган, но сытому проще быть добрым и деятельным. Мне самому, родной мой, привелось видеть, как такой паек привезли одному на дом. При таком питании жить можно! Кормят, кормят, дорогой мой! Своих кормят. Кого — как. В зависимости от ранга. Одному — месячный паек на дом привозят, другого разовой выдачей поддержат, третьему — лишнюю карточку ткнут. А кого просто на самолете из кольца вывезут. Что же вы думаете, что в НКВД или Горкоме партии голодают? Или, чего доброго, умирают? Вот я вам сейчас с легкостью назову сотни имен нашего брата, и среди них крупных ученых умерших за это время а вот найдем ли мы с вами хоть одного более, или менее крупного партийца, который бы умер от голода? — Не найдем!

В маленьком домике на Карповке около Петроавловской больницы живет некий Титов. Меня направила к нему Нелединская. Он, говорят, оборотливый человек, и мне, может быть, удастся через него продать рояль.

Я договорился с Титовым, которого можно застать дома только поздно вечером, что останусь у него ночевать, так как ночью ходить не рекомендуется.

Что касается до рояля, то Титов обещает прислать покупателя, но я не создаю себе иллюзий, так как рояли, как оказывается, покупают сейчас на дрова.

В комнате жарко. Закоченевшие руки и ноги отошли и болят. Клонит ко сну. Да и пора уже.

— Слышите, — говорит вдруг Титов и нагибается ко мне совсем близко, — слышите?

— Ничего не слышу.

— Ну, как же не слышите! Вот... вот опять! Пилят!

С улицы, действительно, доносятся какие-то неясные звуки.

— А что пилят?

— Что пилят? Днем-то ведь нельзя. Милиционер стоит. Ну, а ночью — кто тебя поймает. Вот и пилят.

— Да что пилят-то?

— Как же вы не понимаете, Александр Константинович! — Титов даже отодвигается от меня. Его лицо искажается гримасой: — Покойников-то теперь не хоронят, а сваливают около покойничких. Тут у нас их, прости Господи, сколько навезено! Вот и пилят... Ручки да ножки... Народу-то ведь надо что-нибудь есть...

Титов давно замолчал и спит. Притушенная керосиновая лампа бросает слабый свет. Я слышу ровное дыхание и вижу его сытое лицо...

Я заболел кровавым поносом. Пришлось лечь. Лечусь «новейшим» способом. Пью раствор марганцовки и, если есть что-нибудь, — ем.

Ира не дала себя уговорить и, несмотря на слабость, ушла на толкучку.

— Папюшка, если я сяду, мне так теперь бывает трудно встать. Не хочется вставать.

Коля сдержанный мальчик и зря никогда не жалуется. Я всматриваюсь в его лицо: от носа ко рту протянулись две раз-кие морщины, нос заострился.

— Мне кричат из-под ворот: «Ложитесь!» А я думаю

ни за что не лягу. Попадет в меня или не попадет — это еще вопрос, а вот лечь и потом встать, да еще в двух пальто и пледе, — безусловно невозможно. Вот этими словами думала, Саша. И злюсь, что кричат. Иду медленно. Подхожу к панели. Тут меня точно ветром подхватило. Свист и грохот. Я чуть не упала. Смотрю — люди из-под арки во двор кинулись. Отглянулась, а за мной на пустой площади воронки. Одна совсем близко. От маленького снаряда, наверное. Но так досадно — рынок-то весь разбежался. Только духи удалось променять. Их, действительно, пьют. Получила двести граммов хлеба и несколько папирос. Кури!

Немного погода, Ира прибавляет:

— Сейчас я просто не понимаю, как это в меня не попало. Значит, жить суждено, Саша.

Коля заболел. Тоже понос.

Ира снова была на толкучке.

Мы едим мясной бульон.

— Я, было, уже отчаялась что-нибудь достать. На толкучке сегодня были только продающие. Покупателей почти не было. Замерзла окончательно и пошла со своими ложками домой. «Было бы что есть, а чем — найдем», говорили мне. И вот повезло. За мной пошел какой-то человек и стал спрашивать, не могу ли я продать что-нибудь из одежды. Попросил показать ему ложки, но не на рынке, а отойти в сторону. Мы подошли в это время к Кронверкскому. Он стал уговаривать идти парком. Но у него был какой-то странный вид. Мне стало не по себе и я пошла улицей. «Что, испугались меня, гражданочка?» как-то нехорошо сказал он. Когда мы дошли до дому, он остался в парадной и попросил меня показать ему юбку, о которой я ему говорила. Я считаю, что он дал за нее очень хорошо, — вот это мясо. Правда, кость большая... Украл, наверно, и потому не хотел показывать на улице. Уж очень у него был странный вид. И мясо не пойму какое...

Ира устало замолкает.

Острая, как жало, мысль:

— Ира, если это мясо...

— Не может быть!..

XI.

День и ночь одинаковы в нашей комнате.
И днем, и ночью мысли те же.
Знакомые лица, старые и молодые, встают передо мною.
Всё новые и новые. Нескончаемая вереница мертвых лиц.
Судьбы людей проходят передо мной.
Не судьбы — смерти.
Много смертей.
Медленных, мучительных, ненужных...

— Наш институт через три дня эвакуируется, — врывается в мое забытье голос Федоровой

— Александр Константинович, вам надо придти в институт, меня прислали за вами.

Федорова ставит на стол бутылку.

— Это просил передать вам проректор. Тут спирт. Он поддерживает вас. Уже почти все знают об эвакуации... Жаль Нелединскую... Она почему-то отказалась эвакуироваться и теперь высылается с особым эшелоном НКВД... Такая неприязнь!..

Эвакуация? Ленинград?
Смерть? Жизнь?

Двор института: трибуна. Вокруг трибуны несколько десятков людей. Голодных, обессиленных, больных.

Некоторые взялись под руки и поддерживают друг друга. Андреев улыбается мне слабой тенью улыбки. Кивают Павлова и Федорова. Нелединской нет. Становлюсь с Колей, который настоял на том, чтобы проводить меня, рядом с ними. Подходит, волоча ноги, Слепнёва.

Митинг уже начался.

— Товарищи, — говорит оратор на трибуне, — партией и правительством вынесено решение об эвакуации высших учебных заведений. Товарищи, нам хорошо известно, какие заботы с самого начала осады неустанно проявляли партия и правительство о гражданском населении Ленинграда. Я пола-

гаю, что выражу ваше мнение, если скажу, что мы все полны благодарности и обязуемся еще плотнее сомкнуть наши ряды вокруг партии и правительства и образцовой работой доказать нашу преданность социалистической родине.

За кольцом каждый из нас должен помнить:

Я г р а ж д а н и н Л е н и н г р а д а

И обязан с честью нести знамя

г о р о д а Л е н и н а !

Да здравствует наш великий вождь и учитель, мудрый Сталин! Ура-а-а!

— А — а — а — застонало в рядах, стоящих вокруг трибуны.

— А — а — а — отозвалось далеким эхом на

Волковом,
Смоленском,
Митрофаньевском,
Преображенском,
Охтенском,
Новодеревенском,
Богословском,
Новодевичьем,
Тентелевом и

других кладбищах, завьюженных пустырях и бесчисленных свалочных пунктах

г о р о д а Л е н и н а .

А. Богданович.

М. В. ЧЕЛНОКОВ и Д. Н. ШИШОВ^{*)}

(ГЛАВА ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ).

В этом году (1935) в Панчеве близ Белграда, после долгой болезни, приковывавшей его целые годы к постели, скончался Михаил Васильевич Челноков.

М. В. был членом всех четырех Государственных Дум, московским городским голсвой, видным членом партии народной свободы (конституционалистов-демократов). Его политическое «лицо» принадлежит общественной и государственной истории России конца XIX и начала XX-го века. Но не об этом лице ближайшим образом я хочу здесь говорить. Меня прежде всего и больше всего Челноков интересовал как человек и как социальный тип. Как личный друг покойного и как историк социального развития России, я хочу обрисовать человека, во многом замечательного, и социальную фигуру, весьма «репрезентативную».

Челноков вовсе не был ни писателем, ни оратором, и в историю русской литературы он никак не войдет.

Но он был весьма незаурядный и весьма интересный, совершенно самобытный русский человек, оригинальный образ которого мне хотелось бы закрепить и для моих современников, и для потомства.

Челноков был выдающийся политический деятель, ум-

*) В начале 30-х г. г. покойный П. Б. Струве задумал писать свои воспоминания, которые должны были вместе с тем явиться историей и оценкой пережитой им эпохи. Занятый другой работой — научной преподавательской, публицистической, он написал всего три главы. Две из них — о встречах и столкновениях с Лениным и о встречах с Ф. И. Родичевым — были напечатаны еще до войны в лондонском журнале *the Slavonic and East European Review*.

Третью, предназначавшуюся для того же издания, но так там и не появившуюся, мы предлагаем читателям «Нового Журнала».

Ред.

ный, независимый и честный. Но, как человек и социальный тип, он был еще значительнее и интереснее.

Прежде всего: когда к индивидуальнo выразительному лицу присоединяется отчетливая социальная характеристика или окраска, то это только увеличивает значимость и значительность индивидуальных черт. Достоевский в одном из своих гениальных «Дневников Писателя» сказал о Герцене, что он был прежде всего *un gentilhomme russe*. И именно в качестве такового, Герцен явил из себя индивидуально столь яркую фигуру и столь выразительное лицо.

Михаил Васильевич Челнуков принадлежал к русской «буржуазии» в точном социальном смысле. Не к дворянству, не к разночинству — разночинцы были отпрысками духовенства, низшего чиновничества и всех других более определенных социальных классов, отпрысками, тянувшимися к образованию и к культуре, но еще не достигшими их, — не к интеллигенции — интеллигенцией были люди, достигшие образования и культуры и оторвавшиеся в то же время от своей социальной почвы. Совершенно неверно, чтобы не существовало русской «буржуазии», как особого социального типа со своим духовным стилем и душевным складом. Она существовала и вошла в русскую культуру со своим особым лицом и со своим собственным вкладом. Даже среди русских ученых можно указать эти характерные лица с чисто буржуазным выражением, на них написанным. Такое впечатление, весьма разительное, производили в дни моей юности когда я студентом занимался естественными науками, два знаменитых профессора Петербургского университета: великий химик Дмитрий Иванович Менделеев, бывший со стороны матери «купеческого» происхождения, и выдающийся биолог Филипп Васильевич Овсянников, происходивший из северно-русской купеческой семьи. Русский толстый журнал создан в значительной мере провинциальным и притом сибирским «купчиком» Николаем Алексеевичем Полевым. Русский буржуазный класс в своей массе и в своих самых многочисленных и крепких представителях не городского, а сельского крепостного и протарского происхождения: он происходит от оброчного крестьянства, которое фактически само себя освободило от крепостной зависимости и из которого, как из единого лона, вышли и русская промышленная буржуазия, и подлинное ядро русского промышленного пролетариата.

Эта русская буржуазия — весьма даровитая порода людей. Принадлежал ли Челноков к потомкам русского оброчного крестьянства, я не знаю, но он воспринял этот социальный тип и соединил с ним свою большую личную одаренность. Насколько я знаю, он не получил никакого настоящего образования и в смысле образованности был в полном смысле слова автодидактом. И в то же время это был один из самых интересных русских людей с общим образованием, которых я встречал. Беседа с ним поэтому была и весьма поучительна, и весьма увлекательна. Не так уж часто живые культурные интересы и широкая образованность встречаются в соединении с большим здравым смыслом и с подлинной деловитостью. У М. В. Челнокова было много идеализма, но никакой — «мечтательности».

А что у Челнокова было много идеализма, он это доказал не только всей своей жизнью, но и своей главной, если так можно выразиться, политической привязанностью. Западник по своему мирозерзнанию, «кадет» по своей партийной принадлежности и позиции, Челноков всю жизнь духовно и душевно тяготел к славянофилу, «октябристу», а потом «мирнообновленцу», Дмитрию Николаевичу Шипову. Очень трудно в немногих словах изобразить и выразить, чем был этот изумительный по нравственной высоте и красоте человек.

Первоклассный земский деятель (известный по своему конфликту с реакционным министром Плеве), Шипов вовсе не был политиком в настоящем смысле и после 1905-1906 годов почти никакой политической роли уже не играл. Но он был огромной нравственной силой, какой-то живой совестью для многих и многих людей, даже расхордившихся с ним в политических взглядах. Шипов был самым последовательным и убежденным либеральным славянофилом в истории русской общественности, славянофилом не в смысле внешне-политическом, не в смысле симпатии к славянам, а в чисто русском смысле внутренне-политической концепции некоего самобытного государственного развития России. Долгое время он верил не только в монархию, которую он мыслил себе как либеральную автократию с обеспечением личных свобод и с совещательным народным представительством. В 1905 г. он стал конституционалистом, непреклонно-твердым и щепетильно-честным, сохранив славянофильскую душевную складку и то особое, этически окрашенное «жизнепонимание», которое было характерно для

М. В. ЧЕЛНОКОВ И Д. Н. ШИПОВ

классического славянофильства Киреевских, Хомякова и Аксаковых.

М. В. Челноков с необычайной нежностью, выражавшейся часто лишь в особой ласковой интонации, говорил о Шипове. Мы в этом отношении хорошо понимали друг друга, ибо с 1906-1907 г. г. я лично сблизился с Шиповым, горячо полюбил его и вел с ним задушевную переписку, и это несмотря на то, что пути моего идейного развития были совершенно другие, мои политические взгляды во многом не совпадали с его воззрениями, и по своему политическому темпераменту я был совсем другим человеком. Около 1920 года Шипов скончался в тюрьме в Москве, арестованный советской властью.

Шипов и лично, и социально представлял образ, весьма отличный и от Челнокова. Правда, Шипов не был вовсе просто «мечтателем»; в известной области он был даже «деловым» организатором. Но в нем не было того «буржуазного», если угодно «купецкого», крепкого реализма, которым до мозга костей был проникнут и которым именно был так силен Челноков. И в то же время у Челнокова не было той внутренней моральной углубленности, которая составляла крепчайшее ядро всей личности Шипова и идейно сближала его с первыми классическими славянофилами.

Так оба эти человека, столь близкие друг к другу, были представителями и выразителями лучших сторон двух могущественных пластов русской культуры: пласта дворянского и пласта буржуазного. Шипов — при всей расплывчатости, почти бесформенности своего политического миросозерцания — был с о ц и а л ь н о носителем всего того доброкачественного, морально здорового, подлинно почвенного, что на пространстве веков выработалось в русском земельном дворянстве. Челноков же был весьма одаренным выразителем лучших и сильных сторон русской буржуазии. И неслучайно, а социологически значительно, что духовно и душевно «дворянин» Шипов вел за собой «купца» Челнокова. Это соответствовало и историческому возрасту, и социальному качеству тех двух общественных пластов, которые они представляли.

Оба они были чрезвычайно укоренены в почве, «почвенны». Но тогда как у Шипова был изумительный духовный полет и исключительный нравственный закал, у Челнокова, при необычайной умственной трезвости, подчас доходившей

до жесткости, был несравненный юмор, которого Шипов был совершенно лишен.

С М. В. Челноковым я переживал вместе трудные времена второй Государственной Думы. Мы с ним считали нашим долгом во время второй Думы корректно и даже любезно поддерживать сношения с правительством, в частности с П. А. Столыпиным. С большим юмором Челноков называл совместные ночные поездки двух членов Думы к председателю Совета Министров «экспедициями с научной целью». Курьез русской политической жизни состоял в том, что мы, «кадетские» депутаты, известные всей России, должны были держать в секрете от партии, от ее зелотов и их подозрительности наши поездки «с научной целью», а глава правительства, Столыпин, опасаясь соглядатайства и доноительства крайних правых, тоже всячески избегал огласки даже самого факта наших встреч, относительно довольно частых и происходивших глубокой ночью. Иногда мы ездили к Столыпину вместе с Челноковым, иногда — порознь, но всегда делились друг с другом своими впечатлениями и содержанием наших бесед со Столыпиным, и всегда Челноков прямо очаровывал меня неподражаемым юмором своих рассказов и характеристик. Юмора не лишен был и Столыпин, но об этом я скажу в другом месте своих воспоминаний...

По существу Челноков, вместе с В. А. Маклаковым и мною, стоял на самом правом крыле «кадетской» партии и был ближе к «мирнообновленцам», отколовшимся от Гучкова левым октябристам типа Шипова, Михаила Стаховича, гр. П. А. Гейдена, чем к П. Н. Милюкову, М. М. Винаверу и даже И. И. Петрункевичу. Как трезвый реалист, Челноков ясно видел и трудности, и слабые стороны правительства Столыпина, находившегося под непрерывным и недоброжелательным давлением крайне-правых кругов, которые имели наибольшее влияние на Государя, и затруднения и заблуждения «кадетской» оппозиции, которая, недооценивая революционность устремлений левых партий, в лице Милюкова и Винавера, весьма мало считалась с левой опасностью, гораздо более реальной по существу, чем опасность правая. В том, что В. А. Маклаков понимал левую опасность, обнаруживался его органический консерватизм: я не знаю среди русских политических деятелей большего, по основам своего духа, консерватора, чем Маклаков. В том, что пишущий эти

с т р о к и не был слеп в отношении левой опасности, ска- зывался прежде всего его собственный революционный опыт: вряд ли кто из политических деятелей русского поли- тического центра знал так хорошо наших левых и, в частно- сти, социал-демократов обеих фракций, и так ясно видел те идеологические пути, в которых они были пленены, как я, бывший социал-демократ. Челноков же, как крепкий и трез- вый бытовой реалист, непосредственно ощущал левую опас- ность и тяготел направо по «деловой» природе своего «бур- жуазного» духа — под моим пером вообще, и в этом кон- тексте в особенности, «буржуазность», «буржуазный» озна- чают только объективную социальную характеристику.

Политическая проницательность Челнокова получала от его неистребимого юмора какое-то мягкое и ровное освеще- ние. Это было не бесстрашие, а какое-то почти философское, чуть что не созерцательное спокойствие. Вероятно, свое высшее освящение это спокойствие как-то получало в том ш и п о в с к о м этическом «жизнеспонимании» (любимое слово Д. Н. Шипова), которое излучалось и сообщалось этим незабываемым человеком. Шипов был, я думаю, для М. В. Челнокова большую часть его жизни живой совестью. Фран- цузы-католики называют таких людей *directeurs de con- science*, на Руси их высшим выражением были «старцы» того типа, который Достоевский изобразил в приобретшей мировую известность фигуре старца Зосимы («Братья Кара- мазовы»). Таким светским или, если угодно, политическим «старцем» Д. Н. Шипов был долгие годы и для М. В. Челно- кова, и для кн. Г. Е. Львова, и для М. А. Стаховича, и для Н. И. Астрова. Все они — покойники.

Петр Струве.

Белград.

Начало ноября 1935 г.

ИЗ ЗАПИСОК ГВАРДЕЙСКОГО ПОЛИТРАБОТНИКА

1. РЕВЕРАНС СТАЛИНА

Наши части готовятся к «боевому крещению».

Начальник политотдела, старший батальонный комиссар Кравец, толстый и энергичный мужчина лет сорока пяти вызвал к себе политработников соединения. Деревенская изба набита до отказа. Здесь присутствуют комиссары полков и батальонов, отсекры (ответственные секретари) партийных бюро, политруки рот и инструкторы политотдела.

Кравец, обводя глазами своих подчиненных, медленно встает и твердым, внушительным голосом начинает свою речь:

Товарищи! В ближайшие дни нам предстоит выполнить тяжелое боевое задание — наши части должны перейти в решительное наступление на противника. Мы — посланцы большевистской партии в армии — во что бы то ни стало обязаны организовать победу, даже если каждому из нас это стоило бы жизни. Своей преданностью партии, личным примером и жертвенностью, мы должны повести в бой своих солдат.

После небольшой паузы, которую он сделал для того, чтобы увидеть, какое впечатление производят его слова на слушателей, начполит продолжал:

— Мы достигнем победы, если добьемся к себе доверия в солдатских массах, если каждый боец будет видеть в политработнике не грозного начальника, а друга и отца, вместе с которым он готов отдать свою жизнь.

— Нашей главной задачей является непрерывно работать над увеличением рядов большевистской партии. Сегодня я получил директиву Политического Управления, в которой предлагается обратить особое внимание на прием в партию фронтовиков. Теперь, по постановлению ЦК, чтобы быть принятым в кандидаты партии, достаточно трех рекомендаций

членов партии с одногодичным стажем, вместо 5 человек с 3-годи́чным стажем для всех других лиц. Кандидатский стаж сокращается с 1 года до 3-х месяцев. Не требуется больше обращать внимания и на социальное происхождение вступающего. Сейчас не до этого. Война. О вашей работе, о вашей преданности я буду судить не только по количеству выигранных сражений, но и по количеству членов партии во вверенных вам частях и подразделениях.

— Итак, за дело, товарищи!

Кравец крепко пожимает каждому руку, желая с честью выполнить задание партии. Он знает, что от того, как будет проведено в жизнь решение ЦК, зависит его взлет или падение.

Я объезжаю воинские части. Знакомлюсь, как политработники ведут работу по росту большевистских рядов. Во всех подразделениях секретари партийных организаций и ответственные секретари партбюро полков проводят индивидуальные беседы, рассказывают о тех привилегиях, которые предоставлены фронтовикам для вступления в партию, читают Устав и Программу ВКП (б).

Если раньше двери партии для многих категорий были закрыты наглухо, то теперь они широко распахнуты для каждого желающего и даже... нежелающего. Некоторые, особенно ретивые политработники, перед уклоняющимися по тем или иным причинам от вступления в партию ставят вопрос ребром:

— Ведь вы не против большевистской партии?

— Нет.

— Так почему же не желаете вступить?

— Собственно, я не не желаю, а чувствую, что я еще не смогу быть в партии, недостаточно подготовлен в политическом отношении, — мнется атакуемый.

— Это не имеет значения. Политическое воспитание вы получите в рядах партии. Значит, договорились? — заключает парторг. — Пишите заявление, вот вам анкета и моя рекомендация...

Отказаться после такой беседы, действительно, уже невозможно. Партия пополняется новым кандидатом, который, если останется жив, через три месяца будет членом «монolithicной партии Ленина-Сталина»...

В 1203 стрелковом полку заседает партийное бюро. Идет

прием в партию. Секретарь партбюро, политрук Лушников, склонившись над керосиновой коптилкой, читает заявление вступающего. В комнате тишина.

«Прошу принять меня в ряды ВКП (б). Желая идти в бой коммунистом. Петр Харчевников».

Харчевников коротко рассказывает свою биографию. Он — рабочий красноусольского стекольного завода. Стахановец. Отец его убит во время гражданской войны. Харчевников — воспитанник советской власти. Кончил 7 классов средней школы.

Политбюро единогласно принимает Харчевникова в партию. Его сменяет второй, третий, четвертый. Сегодня Лушников принял больше 20 человек. Он доволен.

— Знаете, — говорит отсебр мне, — если дело пойдет такими темпами, то в скором времени три четверти моего полка будет коммунистами. А коммунисты будут драться не на живот, а на смерть, — в плен сдаваться нельзя, немцы расстреляют. Хочешь не хочешь, а воюй.

После заседания я поздравляю Петра Харчевникова со вступлением в партию. Он задумчиво смотрит на меня и, хитро улыбаясь, говорит:

— Чувствую я, что мне не выбраться из этой мясорубки, ну и вступил — может быть, жене и детям больше внимания окажет советская власть.

Предчувствия Харчевникова сбылись. Через несколько недель в фронтовой газете был напечатан очерк «Достойный сын партии», где рассказывалось о его героической смерти.

Усердно и настойчиво выполняли свои задачи политработники. Их работа не осталась бесплодной. Ряды партии росли изо дня в день. Фотографы еле успевали проявлять фотокарточки для партийных билетов. Члены дивизионных партийных комиссий были завалены заявлениями. Начальники политотделов, обязанные лично вручать партийные документы, вручали в день по 30-40 кандидатских карточек и членских билетов.

За годы войны число членов партии выросло на 2 с лишним миллиона. Это свыше половины довоенного количества. Пополнение пришло, главным образом, за счет армии.

Сталин, бдительно оберегающий ряды партии от проникновения в нее «классово-чуждого элемента», сделал реверанс

перед фронтовиками. Ради спасения большевистской диктатуры и собственной власти, он вынужден был преклонить колени перед военными, сделать скидку и усиленно зазывать их в партию, чтобы усилить над ними партийно-политическое влияние, увеличить политическими их ответственность перед органами и подготовить новые, молодые кадры руководителей, испытанных в боевой обстановке.

Расчет вождя оказался верным. Политработники так сильно насытили армию членами партии и комсомола, что в отдельных частях только один из трех военнослужащих не принадлежал ни к ВКП, ни к комсомолу. С помощью коммунистов и комсомольцев политработники сумели направить патриотический подъем армии по желательному для Сталина пути. В эти тяжелые для родины годы, все силы российских народов были устремлены на разгром внешнего врага. Воспользовавшись этим, Сталин оседлал армию и обманул народ, мечтавший о «послаблении» после войны.

2. ВСЕМОГУЩИЙ В БЕСПОМОЩНОСТИ.

«Великого отца народов», «гениальнейшего из гениальных», «корифея науки» Сталина мы, в тесном кругу, звали просто «папашка». Правда, если бы это дошло до ушей НКВД, нам, неразумным «детям», всыпали бы по несколько годиков за такое интимное отношение к своему «родителю». Но, к счастью, среди моих друзей не было доносчиков.

Сталин, как известно, в мирное время с речами выступал очень редко. Он мог молчать год, два, три. Что делал Сталин — народ не знал. Мы говорили между собой: «папашка» думает, «папашка» решает задачу со многими неизвестными, или — «папашка» варит кашу, которую мы будем расхлебывать.

И вот «каша заварилась». Армия, зная вкус и жестокие нравы «любимого отца», не захотела ее расхлебывать. И тогда — «папашка» заговорил. Заговорил впервые ноющими и оправдывающимися словами: «Братья и сестры, друзья мои, к вам обращаюсь я... «Пройдет полгода или годик, и враг будет разбит, победа будет за нами», — предрекал он.

Речи Сталина, по советским традициям, должны изучаться, или, говоря языком советских газет и партийных работников, «прорабатываться» всем народом, как «исторически важные программные документы, открывающие новые яркие страницы в победоносном шествии коммунизма». Но в этот

момент Сталину не верили. Его речи были встречены с полным равнодушием. Гениальность и прозорливость «мудрого отца», так раздувавшиеся прессой, вызывали у многих иронические усмешки. Было стыдно читать демагогические слова Сталина. Его предсказания о достижении победы в «полгодика или годик», когда фронт откатывался уже к Москве, и немцы заняли почти всю Украину, резали ухо своей безответственностью и беспочвенностью.

Положение тех командиров и политработников, которые пытались всеми мерами остановить отступление, было весьма трудным. Авторитет Сталина пал даже в глазах тех, кто ему безгранично верил. Его именем нельзя было козырять. Оно раздражало бойцов. Солдаты, видя развал фронта, уже не боясь говорили:

— Пусть Сталин сам повоюет и, «за полгодика или годик», выбросит немцев из России!

— Социализм построили, а без порток остались.

— Что-то не сбылись слова о том, что «мы будем бить граа на его же территории»!

Армия шла в плен к немцам.. Шли солдаты, шли командиры, шли даже политработники. Шли, не отдавая себе отчета, — к кому и зачем. «Хоть к чорту, лишь бы от Сталина».

Это была стихийная демонстрация протеста против диктатуры Сталина. Противнику, без боя, с оружием в руках, сдавались сотни тысяч.

Такого страшного пораженчества история России еще не знала.

В первые драматические месяцы войны Сталин оставался как бы в одиночестве. Фронт не выполнял его воли. Трон качался. Казалось, что вот-вот он перевернется. Всемогущий в мирное время, впервые, быть может, почувствовал себя маленьким и одиноким человеком. Но он не сдавался. Он болел. Он хотел жить.

Начальник Главного Политического Управления Красной Армии Мехлис требовал применения силы оружия к отказывающимся воевать. Он угрожал фронтовым политработникам расстрелом за мягкотелость. Сталин издал свой знаменитый июльский приказ: В этом приказе сообщалось о расстреле «предателей родины» и «фашистских псов» — генерала танковых войск, героя Советского Союза, Павлова, прославившегося в боях за Халхин-Гол, и вместе с ним еще целой группы генералов. Но и он не оказал того действия, какого ожи-

дал Главкомандующий. Этот приказ произвел тяжелое впечатление. Он еще больше деморализовал фронтовиков.

Командиры и политработники были в растерянности. Из их рук были выбиты все средства, которыми можно было бы организовать сопротивление. Они видели недоверие к себе «сверху». Они понимали, что расстрел сдающихся или отступающих не имел смысла. Только некоторые прибегали к этому опасному способу. Наиболее волевые командиры и политработники решили, несмотря ни на что, выполнить свой воинский долг. Те, кто пользовался доверием и уважением в своих частях и соединениях, личным авторитетом убедили солдат в необходимости стать на оборону, задержать врага до подхода резервных частей.

А эти части несли с собой тревожные вести: в тылу невероятная паника. Правительство переехало в Куйбышев (Самара). Москва спешно эвакуируется. Сталин готовит столицу к сдаче. Подготовлено всё к тому, чтобы в трудную минуту вождь мог вылететь в центр СССР.

Мы знали, что с занятием Москвы война не будет кончена. Потеря столицы явилась бы страшным поражением, но это не стало бы победой немцев. Политбюро не капитулировало бы даже в том случае, если бы пришлось сдать Куйбышев, где находились правительственные учреждения. Нам было известно о том, что в случае падения Куйбышева большевистские вожди и их аппарат переедут на Урал, в Свердловск (Екатеринбург), но борьба будет продолжаться.

Однако, широко открыв ворота России врагу, принятому за освободителя, армия... испугалась. Из оккупированных немцами областей бежит население, группами и одиночками перебираются военнопленные. Они говорят о массовых зверствах, грабежах, насилиях. Идут не освободители. Идет армия уничтожения русского народа.

Политработники Красной армии и вся советская пропаганда получили в руки большой козырь. Военнопленных, свидетелей немецких ужасов, они используют для разоблачения истинных целей врага. Очевидцы гитлеровского «освобождения» выступают со статьями в газетах, с речами по радио и в воинских частях.

Перед страной поставлена сложная дилемма: с кем пойти? Выбора не было. Против двух врагов — внутреннего и внешнего — бороться одновременно невозможно. Патриотические чувства подсказывали единственно правильное решение:

— Родина в опасности.. Ее нужно защищать.

3. СИГНАЛ «К БОЮ».

Захватнические цели противника заставили Красную армию призадуматься. Она, точно после тяжелого пьяного уга-ра, начала отрезвляться. Наступал психологический перелом. Фронт на многих участках стал упруге. Народ, одетый в се-рые и грубые шинели, рассудил:

— Было плохо жить при сталинской власти? Плохо. Пока забудем. Оставим на завтра.

Но — Москву сдать? — Ни за что!

Немцам подчиняться? — Никогда!

Еместо освобождения — новое рабство? — Не вый-дет!

— Русские мы или нет? — Русские. Так что же, нам мор-ду в кровь разбили, а мы бежим!

Вот это сознание. что идут не освободители, что враги «нам морду в кровь разбили, а мы бежим», сознание того, что «наши предки ходили в Париж, а мы чем хуже их?» — за-ставило армию ошетиниться и проявить свой рыцарский дух.

Немцы смотрели уже на Москву, предвкушая скорую по-беду и богатую добычу, когда Жуков и командующий Второй Особой армией — сын нижегородского крестьянина, генерал-лейтенант Андрей Андреевич Власов, исполняя свой долг пе-ред народом, подняли всю боевую мощь своих армий против самоуверенного и легкомысленного врага, за Родину, за ма-тушку-Москву.

Это был сигнал «к бою» для всей советской армии.

Нехотя, шаг за шагом, пятились немцы от Москвы под натиском одного из способнейших полководцев Красной ар-мии, как назвал генерала Власова сам Сталин. Москва скры-валась с их глаз всё дальше и дальше. Не видно ее уже и в подозрные трубы. Немцы уходят «не солоно хлебавши», оставляя тысячи убитых и пленных.

Русская столица в безопасности. Успех окрыляет весь фронт. Спротивление усиливается. Сталин торжествует. Он может спокойно оставаться в столице.

4. ФРОНТОВЫЕ БУДНИ.

В то время, когда готовился удар под Москвой, наши части спешно перебрасывались на Калининский фронт.

Стоял трескучий декабрьский мороз, какого в России не было уже много лет. Утопая в глубоком снегу, по дорогам и тропам, к передовым линиям огня двигались новые подкрепления. Шли уралыцы и сибиряки, здоровые, крепкие и выносливые люди.

Дремучий покой Калининских лесов нарушен тысячами, десятками тысяч тянувшихся навстречу смерти воинов.

На привалах, торопливо вынув из кармана маленькие обрзки, некоторые солдаты украдкой целуют их, чтобы не видел политрук или командир, «а то неудобно будет».

Мы на это не обращаем внимания. Пусть молятся. Да, пожалуй, много ли из нас было таких, которые в минуту серьезной опасности мысленно не обращались к Богу?

Я видел, как смутился редактор газеты дивизии, политрук Грибов, перекрестившийся во время бомбардировки леса, заметив, что я смотрю в его сторону. А ведь на словах он был безбожником...

За двое суток мы сделали 140-километровый переход и заняли исходные рубежи на новом участке фронта.

От командования получен приказ о переходе 39-ой армии в контрнаступление. Наша 361 стрелковая дивизия идет в первом эшелоне. Ей приказано прорвать немецкий фронт. Командир дивизии, подполковник Михайлов, и комиссар ее, старший батальонный комиссар Толстопятенко, отдали последние распоряжения командирам и комиссарам полков.

Прямо с марша, усталые, вооруженные винтовками и незначительным количеством автоматов, пулеметов и минометов, наши части ринулись на врага. Это было в Сочельник. Немцы не ожидали контр-удара. Они, устроив так называемую «укрепленную зимнюю линию Шуберта», решили ждать лета, в твердой уверенности, что мы не осмелимся их беспокоить.

Когда чужеземные пришельцы сели за рождественские фронтовые елочки, войска Красной армии поздравили своего противника с праздником. Оказывая жестокое сопротивление, нанося большие потери 39-ой армии, немцы дрогнули и начали отступать, оставляя за собой пылающие русские деревни, недопитое французское шампанское, рейнское вино и недоеденные жирные свиные окорока.

В пробитое горлышко «укрепленной линии Шуберта» в верхнем течении Волги, в районе Ношкино-Кокошкино, устремились наши части, развертываясь вширь и углубляясь.

А позади росли и росли свежие братские могилы русских

солдат, отдавших свою жизнь за исковерканную родину. Многие из них унесли с собой в могилу никому не высказанную, глубоко затаенную ненависть к тому, кого при жизни они должны были называть «мудрыми» и «любимым»...

Увлеченные первыми успехами, не отдыхая, мы шли на врага. Было, как будто, безразлично, когда и где умирать. Знали, что возврата домой не будет. Каждый километр поливался обильной кровью.

Передовые части далеко оторвались от тыла. Здравый смысл подсказывал, что пора бы остановиться — слишком пощипаны наши ряды, надо закрепляться, обезопасить фланги. Чувствовалось, что немцы заманивают в «клеши». Так оно и вышло. Через две недели после начала нашего наступления, немцы легкими усилиями замкнули кольцо. Мы очутились в тылу у противника. Осталась единственная связь — радио. Депеши командования гласят: «Вы делаете большое дело, сковывая вокруг себя значительные силы врага. Сталин приказал бороться до последнего солдата. Требую от всего комначполитсостава безаветной жертвенности. Конев».

Командир м частей и комиссарам дано приказание скрывать от солдат, что войска «залезли в мешок», и действовать так, как будто ничего не произошло. Политработники информируют бойцов, что в «кольцо» взяты немцы, а мы ждем лишь подкреплений для нового броска.

Войска перешли к активной обороне. Глубокие снега, отсутствие дорог и сильный мороз оказались хорошими нашими союзниками. Отступление немцев под Москвой не дает им возможности сосредоточить достаточные силы на нашем участке фронта и смять окруженные части.

Скудные запасы продовольствия в полковых хозяйственных частях иссякли. Местных продуктовых «резервов» не оказалось — реквизировать было нечего. Занятая нами территория, с сотнями деревень и сел, была почти совершенно пустынной. Лишь кое-где остались старики и старушки. Наступила страшная пора — голод. Солдаты начали резать лошадей. Санитарные части наполнились обессиленными от истощения людьми. Противник все чаще и чаще начинает атаковать. Наши части мужественно отбивают его атаки. Поистине, только русский солдат может переносить невероятные лишения и так стойко отстаивать свою землю!

Радость охватила войска, когда впервые, через полтора месяца со дня окружения, над нами, в ночном небе, появились самолеты, сбросившие новогодние подарки народа, не

значительное количество боеприпасов и мешки с письмами... трехмесячной давности. Многих из тех, кому были адресованы письма, уже не было в живых. Вместо ласкового ответа с фронта, жена, мать или отец получают из полка страшную бумажку, которая будет омыта горькими слезами.

С трепещущим сердцем открываю розовенький конверт из Казани от любимой Иранды К., чье имя для меня всегда было дорогое. Глубокой печалью веет от строк ее письма — пайки неизмеримо сокращены, и на карточки, кроме 400 гр. хлеба в день, ничего невозможно получить. «На «колхозный базар», — сообщает Иранда, — с моими деньгами не стоит ходить: 450 рублей, получаемых мной в месяц, это — капля в море. Но со всеми недостатками мирюсь, ведь продукты идут в первую очередь вам, для фронта».

Нам, для фронта?! В тылу не знают, что фронтовики сидят на полуголодном или голодном пайке. Советское правительство, 20 лет готовившееся к войне, оказалось неспособным обеспечить нормальным снабжением ни армию, ни тыл.

Я читаю письма от сестры Нины, молодой учительницы из Магнитогорска. Она пишет, что ее мобилизовали в армию и она готовится стать зенитчиком. Значит, и с людскими резервами плохо, если для службы в армии призывают женщин, — думаю я. Эти письма наводят на глубокие размышления, но я гоню их прочь: мы в опасности, надо крепиться и не падать духом...

Маленькие продуктовые подарки и долгожданные письма от родных и любимых подняли настроение частей. Изнуряющие атаки немцев попрежнему не приносят успеха. Мы держимся.

Тянутся дни, недели...

Противник думает взять нас измором. Он требует сдачи в плен.

— Ваша борьба бессмысленна, складывайте оружие! — кричат немцы через радио-рупор.

Мы отвечаем коротко:

— Посмотрим!

Нашупав слабое место в их «кольце», мы делаем концентрированный удар всеми имеющимися силами и боевой техникой. «Кольцо» раскрылось. Из 65-дневной борьбы в тылу у врага, мы вышли победителями...

Но во время наступления, ни в обороне, ни в тылу у врага в войсках ни на один день не прекращалась политическая работа. Она должна была разбудить в фронтовиках истинный

патриотизм, веру в Сталина и его непогрешимость, на конкретных примерах разоблачать цели нацистов и прививать ненависть к ним.

К этому призывали директивы Политического Управления Красной армии. Об этом же трезвонил в своих статьях Илья Эренбург. Но фронт жил и умирал без Сталина. Его имя на полях сражений было забыто. Оно склонялось лишь в каждой печатной строчке и не сходило с уст радио-дикторов в тылу.

Мыслящие политработники понимали серьезность момента и меньше всего говорили о большевистской партии, ведущей страну «от победы к победе», о «солнечной сталинской конституции» и ее оскандалившемся творце. Они знали, что беседы на эти темы углубляли пропасть между ними и солдатами. Политработники добивались к себе доверия не пустыми казенными словами, набившими оскомину в мирное время, а своей стойкостью и самопожертвованием в бою. В первых же сражениях наши части потеряли почти одну треть политического кадра. Это заставило солдат переменить свое мнение о строевых комиссарах, как о безудержных болтунах и людях, «которых надо бояться».

Совсем по-иному относились солдаты, офицеры и строевые политработники к политическому составу из штабов армий и фронта, в большинстве случаев надменному и самодурствующему. Политические шефы армий и фронта, почти не рискуя жизнью, своими жестокими мерами вносили дезорганизацию в ряды тех, кто с открытыми глазами шел навстречу смерти.

5. В ПОЛИТОТДЕЛЬСКОЙ ЗЕМЛЯНКЕ.

Я дежурю по политотделу дивизии. В тесной и сырой землянке, на нарах, вповалку спят начполит Кравец, его заместитель — батальонный комиссар Стасюк, инструкторы политотдела. Спят, тесно прижавшись друг к другу, в сапогах и шинелях.

Мучительно медленно тянется время. Борясь со сном, я пытаюсь читать газеты, скучные и однообразные, похожие одна на другую, как две капли воды, но мысли мои далеко от печатных строк и фронта. В голову настойчиво лезут эпизоды из мирной жизни.

...Мы с братом Александром, агрономом народного комиссариата земледелия, в укромном уголке парка культуры

и отдыха имени Максима Горького. Александр назначил мне встречу по телефону, чтобы рассказать о каком-то важном деле.

— Пусть этот разговор останется между нами, — вполголоса начал он, — так как разглашение его грозит мне тюрьмой...

Я насторожился: что такое случилось с братом?

— Вот уже в течение трех месяцев меня почти каждый вечер вызывают в НКВД, — продолжал он. — Началось сначала с невинных и очень любезных бесед. Следовательно вежливо просил познакомиться его с моей жизнью. Я прекрасно знал, что о моей жизни он осведомлен больше, чем следует, но я должен был удовлетворить его любопытство.

В первые встречи он слушал меня, не задавая никаких вопросов. Он просил лишь, чтобы я всегда начинал рассказывать свою автобиографию с самого начала и более подробно.

— Простите, что я затрудняю вас, но я так занят большой работой, что не могу сразу запомнить вашу интересную жизнь, — извинялся следователь.

Я снова начинал говорить ему о своем учении в К-ском сельскохозяйственном училище, о том, что после окончания его я был мобилизован в Белую армию, бежал и вступил добровольцем в Красную гвардию, из которой демобилизовался в 1920 году. Я отчитывался ему в своей работе за все годы советской власти. Следовательно играл со мной, как кошка с мышью.

Затем он перешел к делу.

— Я знаю, что вы хороший человек, потому я так часто приглашаю вас к себе. Мы должны быть не только знакомыми, но и друзьями. Вы должны оказать маленькую любезность советской власти, которой, по вашим словам, вы честно служите. Так вот. С вами в квартире живут архитектор Виссон и его брат, глухонемой художник. У них есть родные за границей. Вы, как интеллигентный человек, можете расположить старшего Виссона к себе. Бывайте у него почаще. Поговорите по душам, узнайте, кто его посещает, что и кому он передает или ему передают. Ну-с, а потом поделитесь со мной...

Я решительно отказался.

— Не торопитесь, не торопитесь, — сказал следователь. — Подумайте, а после скажете.

Звонки продолжались. Каждый раз они бросали меня в

В. ОРЛОВ

дрожь. Я шел в НКВД, как приговоренный к повешению. Следователь становился все грубее:

— Так вы отказываетесь? — визжал он. — Жить не желаете? А скажите, «честный» советский гражданин, где ваш отец? Почему вы не сказали, что он арестован?

— Зачем об этом говорить, когда вы знаете?

— Да, но вы должны были сами честно в этом признаться... Поймите, мой друг, что наши щупальцы нередко доходят до супружеской кровати, но как добраться к этим отшельникам-старикам Виссонам? Ведь не подсунешь же им женщину... Вы должны нам помочь, или... мы вас расстреляем, беспартийную сволочь, как врага народа.

Я снова ответил отказом. Это было вчера. Я не знаю, что сделают они со мной завтра. Поэтому я и решил тебе рассказать обо всей этой гнусной истории, чтобы ты еще раз убедился в подлости (Александр не стеснялся в выражениях) нашего «демократического» режима, — закончил брат....

Доброволен Красной гвардии в 1918 году, Александр люто ненавидел сталинскую власть. Об этом знал только я. Но, ненавидя власть, он отдавал всю душу сельскому хозяйству, проводя большую часть жизни не в кабинете наркомата, а на полях, за выращиванием новых культур, хлебных злаков и трав...

...Во второй половине ночи начали поступать политдонесения. Я вскрываю пакеты и читаю. В сообщениях говорится о проведенных беседах, собраниях. О том, что войска опять недополучили хлеба, мяса, крупы. Нет соли. Так изо дня в день. Лишь иногда бывают проблески.

Почему голодает фронт? Потому, что плохо работает тыл армии, потому, что на транспорте дезорганизация, потому, что огромные запасы продовольствия попали к немцам. Но об этом не должны знать солдаты. По приказу высших политических органов, комиссары частей валят всю вину... на погоду, на бездорожье, на невозможность подвезти продукты к фронтовым частям.

В конце политдонесений стояла неизменная фраза: «Морально-политическое и боевое состояние части хорошее». Никто и никогда не писал о низком морально-политическом духе. Каждый политработник знал, что если он это

сделает, он будет снят с должности, как негодный руководитель.

Читаю политдонесение из 1203 полка: «Сегодня перешли на сторону врага три красноармейца (имя рек). Комиссар полка Козлов».

Одного из перебежчиков я знаю. Молодой токарь. Учился в школе фабрично-заводского ученичества в Челябинске. Был активным комсомольцем. И вот, перешел к врагу! К врагу, где погибли от голода, расстрела и издевательств тысячи и тысячи наших соотечественников. К врагу, который решил растоптать Россию. Чем вызвана эта измена? Обидой, голодом, трусостью или чем-нибудь другим, более серьезным и глубоким?

Утром докладываю о случившемся начальнику политотдела. Известие из неприятных. Начполит возмущен.

— Немедленно вызовите сюда комиссара полка.

Через час прибыл Козлов.

Начполит встретил его сразу в штыки:

— Какой вы к чорту комиссар? Четвертый побег в один месяц! Ведь у вас так может весь полк уйти, — что вы потом делать будете? Грош цена такому комиссару, который не знает, чем дышат солдаты его полка. Вы обязаны, понимаете, — обязаны влезть в душу каждого бойца, видеть ее насквозь и даже глубже. Да, да! Даже глубже! Вы, как комиссар, должны знать не только то, что думает красноармеец сегодня, но вы должны знать, о чем он будет думать, или может подумать, завтра. В этом заключается большевистский стиль руководства.

Подумав немного, начполит добавил:

А чтобы вы лучше выполняли свой долг, я на три месяца задержу представление вас к производству в очередной чин. Если же подобное явление произойдет в полку еще раз — вы будете разжалованы в рядовые. Знайте, что политработник не должен быть «шляпой». Думаю, что вам понятно, тов. Козлов?

— Понятно, товарищ начальник. Вы прочли правильную нотацию, хотя я и сам об этом знаю. Вот, вы говорите, нужно «влезть в душу». Сказать куда легче, чем сделать. Очень сложная душа у нашего красноармейца. Множество тайников она имеет. Смотришь на иного бойца, беседуешь с ним, наблюдаешь за его поведением, проверяешь его честность, исполнительность и преданность — всё как будто в порядке. Потом, ни с того, ни с сего, захандрил ларен. Хо-

дит, как волк ни с кем не разговаривает, словно в рот воды набрал. Был у нас такой, Хомяков. Я к нему и так, и этак. Еле вызвал на откровенную беседу. Спрашиваю:

— Что нос повесил, Гриша?

— Небось повесишь...

— Почему так?

— Тяжело.

— И мне тяжело.

— Вам не так, у вас всё в порядке.

— А у тебя что не в порядке?

— Чертовщина получается, товарищ комиссар. Хотите судите, хотите нет, а справедливости я не вижу. Я вот воюю на фронте. Палец потерял. Голову, может, не сношу. А мать, жена и ребенок в Зеленодольске *) живут в шестиметровой комнате и полуголодные босиком ходят. За что же воевать?

— Сейчас война, — говорю. — Все силы идут на вооружение.

— А до войны?

Пришлось долго доказывать, почему были недостатки до войны. Написал письмо городскому военному комиссару, чтобы помог семье Хомякова. Боец как будто успокоился. Но травма в душе всё же осталась. А ведь Хомяков не один. Их много. Они, правда, больше молчат, думают и решают так, как подсказывает их совесть. Комиссар же опять в ответе. Говорят: «тяжела ты, шапка Мономаха», но наша, я бы сказал, куда тяжелей...

Кравец молчал. Он, быть может, понимал Козлова, но был тверд и непримирим:

— Давайте, товарищ Козлов, прекратим философствовать насчет души и извилин. Такие разговоры к добру не поведут... Запомните, чтоб больше дезертирства не было. В противном случае, плоховато придется.

Комиссар 1203 полка не смог стать «душой части». Начал пьянствовать. Ушел в себя. Перестал интересоваться работой комиссаров батальонов, политруков рот.

Я спрашиваю его:

— Что то вы частенько стали «закладывать», товарищ комиссар? Или жизнь дала «трещину»?

— «Трещина» была давно, дорогой мой. Сейчас уже настоящая пропасть, пустота образовалась.

*) Татарская АССР.

Козлов явно «скатывался с большевистских рельс». Чувствовалось, что в нем происходит «переоценка ценностей».

Вскоре он скис совсем. От должности отстранили — его нельзя было дальше оставлять с солдатами. Для «оздоровления» части прибыл замначполит Стасюк, назначенный временно комиссаром полка.

С тех пор я потерял из виду Козлова. Что стало с ним, участником большевистской революции 1917 года? Погиб на фронте? Попал в плен и умер? Застрелился? Стал невозвращенцем? Не знаю.

Знаю только одно — в душе он не был больше коммунистом. Круг замкнулся.

.....

Я вылез из душной и сырой политотдельской землянки. Чистый и здоровый лесной воздух действует опьяняюще. Я умылся тающим снегом, приятно щиплющим лицо, покрывшееся каким-то серо-темным налетом. Я снова почувствовал себя свежим и бодрым.

На левом фланге нашей дивизии шел бой. Был отчетливо слышен грохот тяжелой артиллерии. В воздухе появились и исчезали самолеты со свастикой, выбрасывая из своих внутренностей тонны смертоносного металла.

Неподалеку от землянки расположилась группа солдат из роты связи. На разостланном на снегу брезенте лежат маленькие порции сухарей. Солдат, сидящий на корточках, указывает на одну из кучек и спрашивает стоящего к нему спиной товарища: «Кому?» Тот называет фамилию, кому достанется эта порция. Так солдаты делили свои тощие продовольственные пайки.

Я сел на пенек, чтоб коротко записать события прошедших суток. Меня больше всего волновал побег трех солдат. Я не мог найти для него оправданий. Они ушли с поста, подвергнув опасности своих товарищей. Они изменили не только воинскому долгу, но и своим братьям по оружию. Спасая свою жизнь (да и спасли ли они ее?), они подвергли несчастью своих родных. За поступок перебежчиков будут отвечать их родители или жены. Законы советской власти не щадят и безвинных.

Вл. Орлов.

(Окончание следует).

„В ПРЕДДВЕРИИ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ“

Жизнь решила вопрос о преимуществах старой и новой орфографии. Первая доживает свой век, последняя господствует и скоро станет единственно возможной. Жалеть о том или тому радоваться — дело взгляда и вкуса. Теперь вступила в свои права история. Она позволяет нам рассеять недоразумения, опутавшие когда-то спорный вопрос. Сколько скопилось вокруг него пристрастий, искажений, извращений. Да и как не быть им, когда спор разлился вширь и вглубь, захватил кровно каждого грамотного человека? Одни валият все на большевиков, приписывая разрушителям всякой культуры не только введение, но и выработку «безграмотного» письма. Другие винят за это «мягкотелое» Временное правительство, в лице его министра просвещения А. А. Мануйлова. Третьи нападают на Академию Наук, приписывая ей в целом «неудачную» реформу. Иные недовольны чрезмерной широтой или, наоборот, узостью принятых изменений; указывают то на скороспелость самого плана, то на скоропалительность его проведения. Не говорим уже о лицах, прикосновенных к этому; им приписывали то, чего они не делали и не говорили. Только история показывает нам теперь в новых архивных публикациях, как много неверного донесло до наших дней обманчивое предание. Явление было сложно,хватило большой круг людей и корпораций, вобрало ряд идей и интересов, — научных, общественно-политических и практических. Намечая в нижеследующих строках только главные этапы, называя лишь главных участников, мы убеждаемся, какой внушительный характер приобрел весь процесс этой действительно исторической по размаху и длительности борьбы.

Достопамятный словарь Я. К. Грота не был формально академическим, он составлялся лишь «по поручению» Академии с участием некоторых ее членов. Не был он и непод-

вижным в своих часто повторявшихся изданиях: Грот непрерывно вносил изменения, сначала при участии других академиков, потом единолично. Теоретические споры возникали, впрочем, и задолго до выхода словаря (1-ое издание в 1884 г.). С течением времени, с ростом науки русской лингвистики и расширением педагогической практики, поводов для споров становилось больше. Именно отсюда, со стороны людей практики, понеслись первые по времени и наиболее настойчивые заявления о необходимости реформы. Пресловутый «человек в футляре», «закоснелый в рутине» педагог, он-то и вынуждался силою вещей выступить в роли новатора.

Еще в 1900 г. Московское педагогическое общество практически начало изучение вопроса, выбрало комиссию. Комиссия много поработала, составила проект, а общество опубликовало его в своих «Трудах». Председателем этой комиссии был признанный глава всей школы русских лингвистов, замечательный ученый, чье имя и сейчас еще в России произносится с благоговейным уважением, акад. Ф. Ф. Фортунатов. Тогда же по этому поводу высказывались в печати проф. Р. Ф. Брандт и акад. Ф. Е. Корш, знаток языков без числа, которому возражал акад. А. А. Шахматов, светило восходящее. Ученые в письмах и беседах постоянно возвращались к этой проблеме. Академия в целом не стязывалась на дискуссию, но ее 2-му Отделению (русского языка и словесности) высказаться пришлось. Министр внутренних дел Сипягин, «самый глупый человек в России», по отзыву ген.-лейт. Киреева, старого славянофила и благонамеренного салонного публициста, вздумал обуздать печать: некоторые авторы и издатели взяли моду выпускать книги без **ѣ** и **ѡ**, а **ѣ** заменять в них через **е**. Сипягин решил искоренить беспорядок и крамолу, выработал запретительный проект. Но и «самый глупый человек» «мрачной эпохи царизма» (до революции, до Думы!), прежде чем объявить проект законом, спросил: «А что думает об этом Академия?». Отвечать пришлось 2-му Отделению, а фактически Шахматову и А. И. Соболевскому. Последний был человек самодовольный, крутой, неуживчивый, к новшествам не особенно склонный. И участие в выработке документа делает ему большую честь. С характерной для тогдашнего Петербурга тонкостью министру была преподнесена с сахаром такая горькая пилюля, что Сипягин увял и похоронил своей проектом. Отделение одобрило творение соавторов, а посылали

его министру (22 дек. 1901 г.) через самого президента Академии вел. кн. Константина Константиновича (поэта К. Р.). В этом образце бюрократической виртуозности для нас гораздо интереснее стиля принципиальная установка сторонников реформы; эту установку они проводили неуклонно и впоследствии: вопрос о желательности или нежелательности сохранения в неизменном виде нашего исторического правописания **не подлежит** обсуждению ученого учреждения, каковым является Академия; **отдельные члены** Академии могут или находить реформу своевременной, или считать необходимым строго держаться исторической традиции; но как ученые исследователи языка и литературы, они ясно сознают, что между живою речью, душой всякого народа, и письмом, — может существовать только условная и совершенно внешняя связь. Тем не менее Академия, которой закон предоставляет «входить во всё, касающееся до просвещения», решительно высказывается против вмешательства цензурного ведомства в дело правописания. В конце концов проект объявлялся нецелесообразным, вредным и даже незаконным.

1902-ой год проходит в оживленной переписке Шахматова с Фортунатовым по назревшему вопросу. Интерес к нему растет: в 1903 г. Казанское педагогическое о-во запрашивает Академию, признает ли она своим словарь Грота. Пока Академия готовит ответ, к ней с тем же обращается Главное Управление Военно-Учебных заведений, ссылаясь на съезд своих преподавателей и вдобавок поднимая еще вопрос об упрощении правописания. Знающие военную школу, жившую просвещенными милютинскими традициями, не подвигаясь исходившей от нее инициативе. Академии волею-неволей приходилось шевелиться, и прежде всего 2-му Отделению. О Гроте оно ответило, как отмечено выше; высказалось и об упрощении: «Принимая же во внимание что упрощение принятого ныне русского правописания должно основываться не на одних только научных данных, а также и на всестороннем обсуждении затрагиваемых при этом интересов школы и народного просвещения, Отделение постановило привлечь (к этому обсуждению)... представителей школы, науки, литературы и повременной печати». Так была, «при Втором Отделении образована Комиссия по вопросу о русском правописании, в которую вошли, кроме представителей Академии Наук, также и представители ведомств, имеющих учебные заведения, представители педа-

гогических обществ, преподаватели высших, средних, городских и начальных учебных заведений, литераторы и редакторы некоторых журналов и газет».

Всё было представлено в этой громоздкой, но импозантной комиссии: и наука, и литература, и власть, и общество. Сам великий князь-президент был ее председателем. Почти все 55 членов носили громкие, на всю Россию известные имена. 12 апреля 1904 г. Комиссия собралась на свое единственное заседание, единственное потому, что уже в нем после прений определилось единодушие по основному вопросу: а обсуждать детали, требующие не отвлеченных речей, но кропотливой работы, в столь большом собрании было явно невозможно. Протокол подробно излагает соображения сторонников реформы (Ф. Ф. Фортунатова, П. Н. Сакулина, Е. Ф. Будде, Р. Ф. Брандта, Ф. Е. Корша) и ее противников (А. С. Будиловича и П. А. Кулаковского). Мы не можем повторять здесь всех их аргументов. Когда пришло его время, то «поставленный... председателем Комиссии вопрос о том, находит ли Комиссия желательным упрощение принятого ныне русского правописания, единогласно решен был в утвердительном смысле». Очень ярко определились мнения членов и по частным вопросам, толково расчлененным для отдельного голосования по каждому особыми записками: «1) Упрощать с исключением букв из алфавита — 42, без такового исключения — 8; 2) за исключение **ѳ** — 47, за сохранение — 3; 3) за исключение **ѣ** — 36, за сохранение — 14; 4) за исключение одной из букв **и** или **і** — 39, за сохранение — 11; 5) за исключение **ѣ** — 34, за сохранение — 15». Пять членов в заседание не явились, среди них А. Ф. Кони и А. С. Суворин. Таким образом, главные основания орфографической реформы были предreshены еще тогда, когда не было на свете всех тех, кому сейчас 45 лет и меньше; в начале русско-японской войны было предопределено то, что еще до сих пор у одних вызывает огорчение и раздражение, а у других вздохи облегчения. Стало ясно, что все остальные вопросы изменения правописания, не связанные с изгнанием букв из алфавита, — дело чисто практическое, которое управят специалисты. Специалистам его и поручили, выбрав подкомиссию из 7 членов и 3 кандидатов. Блестящий ареопаг из замечательных лингвистов представляла собой эта так называемая «Орфографическая подкомиссия». В нее вошли светила русской науки: ак. Фортунатов, ак. Шахматов, ак. Соболевский, ак.

Корш, пр.-доц. Сакулин, проф. Бодуэн-де-Куртенэ и проф. Брандт; кандидаты: проф. С. К. Булич, пр.-доц. Н. М. Каринский (оба — учителя пишущего эти строки) и Н. К. Кульман (позже профессор). Председателем был избран Фортунатов. Мы видим, что по настроению собрания в Подкомиссии не нашлось места главным противникам реформы, ни Будиловичу, ни Кулаковскому. Работа этого коллектива — явление беспримерное в петербургских канцеляриях, даже ученых. Собралась Подкомиссия уже на другой день и в течение недели за 6 заседаний окончила всю предварительную работу. Предметом обсуждения были те изменения, которые надо было провести в самой грамматике. Они вылились в те 7 правил, которые и теперь составляют в общем всё отличие от старого правописания.

Но нельзя сказать, что всюду была тишь да гладь. Хорохористый академический генерал, любитель во всяком деле «толка и расстановки», а еще больше, кажется, знаков уважения к его персоне, Соболевский буквально взвесься, когда узнал, что в собрание из состава большой Комиссии приглашены и люди не выбранные, просто эксперты и полезные информаторы. Не нравилось ему также, что повестки заранее не объявили и что заседание длилось не час, а три. Просидев час, он ушел и послал Фортунатову одно за другим два письма, заявляя о выходе из Подкомиссии. Не замедлила появиться и его обличительно-ироническая статья в «Новом Времени». Сторонником реформы он был, но умеренным, а кроме того хотел ее покрыть, кажется, высоким авторитетом Академии, главное же, всегда оставался человеком, с которым вместе нельзя было делать никакого дела. Он и еще писал о реформе, но мягче, и держался при этом деловой стороны. Заглавие одной его именно статьи показалось нам уместным для очерка и всей надолго затянувшейся истории реформы.

Не таковы были Фортунатов и Шахматов. Первый, уже тогда признанный вождь русских языковедов, был убежденным сторонником реформы, взвесил все ее для себя приемлемые частности, направлял все дело и прикрывал всякий шаг в пользу реформы своим авторитетом. Шахматов уже и тогда (ему было 40 лет) мог стать наравне с Фортунатовым в области теории, но превосходил и его, и всех своей динамикой. Его необыкновенная трудоспособность, организаторский талант, позволявший ему, кроме одновременной разработки многих собственных научных тем, еще затевать

и держать в руках массу разных академических и вообще ученых дел, были и тут незаменимы. В Академии уже привыкли, считали вполне натуральным, что Шахматов всегда там, где прорыв, Шахматов всюду заполняет зияющую пустоту; таков был его рабочий энтузиазм. Настолько само собой разумелось, что он — непременный секретарь что об избрании его не упоминается в протоколах. Всюду видна, в буквальном смысле, рука Шахматова. В начавшейся полемике среди ученых кругов и в обществе ему пришлось вести огромную частную переписку, особенно тщательно и подробно писать протоколы, выступать с ответами в печати, вовлеченной в полемику, успокаивать частыми длинными письмами президента, которого пугал и радикализм реформы, и шум вокруг нее. Кто только не приложил руку к вопросу об орфографии! Много мешал реформе Кулаковский, своими охранительными шопотками намекавший в «Новом Времени» на «потрясение основ». Сам Суворин вторил ему хлестко очередным из знаменитых «Маленьких писем». Вяжась сын Грота, К. Я., в попытке «опорочить» словарь предстоящими переменами усмотревший «оскорбление памяти» его отца. Мы упомянули выше о Кирееве. Этот рамоленный придворный публицист писал президенту, у отца которого сам был когда-то адъютантом, безграмотно-нудные длинные записки, поучая академиков консервативности, пугая подчас окриками: «Кто им это (т. е. исключать буквы) позволил?» Притянули сюда и Льва Толстого, которого докучливый интервьюер заставил попутновысказаться и о перемене орфографии. Толстой перемену нашел «нелепой», но подходил, надо сказать, к делу, как многие старые люди (ему было 76 лет), с точки зрения личных привычек и с выпадами против «ученых выдумок», вполне отвечавшими его общему взгляду на науку в ту пору. Не мог промолчать и такой человек, как Победоносцев, которому всегда до всего было дело. Действуя (в который уже раз!) чужим оружием, он по этому случаю счел нужным переиздать занятые, но развязные «Экскурсии в русскую грамматику» Н. П. Гилярова-Платонова, скорбевшего о том, что мы не можем вернуться к древним юсам. Подал свой голос и академик Ягич, осторожно высказываясь за реформу в своем немецком «Архиве славянской филологии». «Русь» и «Нов. Время», занимая противоположные позиции, растаскивали авторитет Ягича каждая в свою сторону произвольным подбором цитат. В искусственном подборе лиц упрекал Академию свой чело-

век, член-корреспондент Е. Ф. Карский, читавший в Варшаве доклад, потом напечатанный. Он всё-таки стоял за умеренную реформу. Томсон свою брошюру против исключения букв послал из Одессы в Москву Фортунатову, который нашел в ней повод для интересной фразы: «Ведь мы имеем в виду не лиц, уже усвоивших правописание, а **будущие поколения**». За Томсоном и дальше его шел московский В. Н. Щепкин, заострявший его взгляды. Этим был наполнен весь 1904 год. Успокаивали, но не успокоили умы официальным «Извлечением из протоколов», помещенным в «Правительственном Вестнике», а затем «Предварительное сообщение Орфографической комиссии», соединявшее итоги работ большого заседания и 6-ти малых, было широко разослано подлежащим лицам и учреждениям.

После всех выступлений, из которых лишь немногие мы могли привести, у проекта оказалось больше противников, чем сторонников. В самой Академии только два апостола реформы не уступали ни одному пункту и особенно настаивали на том, что реформа должна идти прежде всего через школу. Дело заглохло до 1907 года, когда 315 членов Государственной Думы обратились в Академию с заявлением, в котором просили ее «заняться этим вопросом (об орфографии), по возможности, не откладывая его на слишком долгий срок». Шахматов оживился; правда, он находил, что заявление составлено «нелепо» (315 членов Думы путали язык с правописанием), но в ответе подсказывал вопрос о том министру, надеясь, что в случае положительного ответа министра легче можно будет справиться с противниками и колеблющимися.

Окончательный проект «Постановления Орфографической подкомиссии» вышел только в 1912 году. Восемь лет отделяли их от «Предварительных», но разница была ничтожная. Враги реформы начали снова критиковать ее в печати и в «сферах». Министерство поспешило подтвердить циркуляром защиту **ъ** и **ѣ**. Кассо в школе был смелее Сипягина в цензуре. Тогда съезд по народному образованию в Петербурге на рождественских каникулах 1913-14 г. г. напомнил о реформе и постановил, как бы в пику министру народного просвещения, «отпечатать Труды Съезда без **ъ**, а еще лучше и без **ѣ**». На рождественских каникулах 1916-17 г. г. Всероссийский Съезд преподавателей русского языка средней школы (2.090 членов) опять побеспокоил Академию, признав, что «реформа вполне назрела с что ее педагогическая

и научная сторона уже достаточно освещена в печати». Академия реагировала на это постановление московского съезда уже при иных auspiciis: 29 марта 1917 года Общее Собрание решило по делу образовать Подготовительную комиссию, а 15 апреля ее выбрало. 25 апреля Комиссия собралась. Теперь, кроме Шахматова, в ней были новые лица, хотя и участники старой большой комиссии: Ольденбург, Перетц, Карский и Никольский. Характерно, что выбранный Соболевский и на этот раз отсутствовал: он выехал в Москву. Мы не знаем, дела ли его туда повлекли, или желание уклониться от участия в «совете нечестивых». Оба старых председателя уже умерли (Фортунов в 1914 г., великий князь в 1915 г.). Шахматов естественно и заслуженно стал председателем и малой Комиссии и большой, которую первая созвала по примеру 1904 г. Дата была выбрана знаменательная — 11-ое мая, день памяти св. Кирилла и Мефодия. Времени же были смутные; на заседание прибыли 30 человек из 63 приглашенных. Отметив при открытии символизм даты, Шахматов сделал очень умеренные предложения, но ввиду дружеского настроения в пользу реформы, вернулся к «Постановлениям» 1912 г. (кроме двух). Совещание приняло их, а неутомимый Шахматов поспешил внести проект и на одобрение Общего Собрания Академии. Но последнее отложило рассмотрение до осени, либо по обычной своей медлительности, либо же надеясь похоронить проект. Жалуясь на это в письме к Сакулину, своему горячему союзнику в деле реформы, Шахматов упоминал, однако, что «министерство намерено ввести новое правописание, не дожидаясь решения Академии». Он мог только радоваться, что реформа идет по его путям, не через Академию, а через школу. И в самом деле, циркулярами от 17 мая и 22 июня министерство (А. А. Мануйлов) объявляло о переходе к новой орфографии и указывало меры ее проведения. Осенью Шахматов писал тому же Сакулину: «В Общем Собрании Академии вопрос, как видно, будет решен отрицательно, если поставить его теперь, а потому лучше не настаивать на скорейшем его разрешении в Академии». Выказалась ли она позже, наши материалы не говорят.

Циркуляр касался только школы. Луначарский распространил реформу **своим** декретом от 23 декабря 1917 г. на «все без изъятия государственные и правительственные учреждения». В какой мере распоряжение комиссара просвещения было обязательно для всех ведомств, секрет его

собственный, а вернее — эпохи буйного расцвета «революционного правотворчества». Поэтому следующий декрет исходил уже от «Совета Народных Комиссаров». Повторяя для крепости импровизацию Луначарского, этот декрет (10 окт. 1918 г.) и расширял сферу применения новой орфографии, вводя ее и в казенной печати. Если даже полагать, что все временные издания были уже в руках или под эгидой власти, то всё-таки из декрета явствует, что художественная литература, хотя бы выходявшая из казенных типографий, и все печатные произведения частных издательств (а их было много в эпоху НЭП-а), оставались юридически не связанными. Однако, практически в России старая орфография применялась только в случаях исключительных. Какими средствами достигалось реально единообразие в дальнейшем, мы сказать не можем; названный декрет — последний документ из серии, послужившей материалом для этого очерка.

К. Солнцев.

БИБЛИОГРАФИЯ

ИЗ ИСТОРИИ ПРАВА ПОЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ

(О книге проф. В. Б. Ельяшевича).

В 1948 году русская историческая наука обогатилась изданным в эмиграции чрезвычайно ценным исследованием проф. В. Б. Ельяшевича по истории права поземельной собственности в России *).

Первый том работы охватывает ту эпоху русской истории, когда Русь, пройдя через татарское иго, возвышение Москвы, уничтожение уделов, дошла до единогодержавного московского царства.

Как известно, этот капитальный исторический факт имел разнообразные последствия.

Прежде всего, он поставил перед московскими государями в о е н н у ю задачу: с уничтожением уделов границы между-удельные, всегда русские, заменились границами иноземными и притом весьма протяженными. Встал вопрос об их защите. Отсюда ряд мероприятий военного характера: увеличение численности войска, создание нового класса служилых людей, обеспечение воинов всем необходимым.

Это выдвигало финансово-экономические заботы. Из них родилась в т о р а я задача московского правительства: наилучшее хозяйственное использование государственной территории, а для этого усиленное ее заселение все новыми и новыми земледельцами-пахарями.

Дальнейший рост военных забот правительства привел его, ко времени Ивана Грозного, к идее «служилого землевладения», а эта идея произвела коренной переворот не только в фактическом по-

*) «История права поземельной собственности в России. Том 1: Юридический строй поземельных отношений в XVI-XVII веках». Париж. 1948. 393 стр.

ложении крестьянства, но и в самом его праве. Она вызвала сперва ограничение, а потом и полное прекращение свободного передвижения крестьянства, отмену его извечного права «выхода», являвшегося и свидетельством, и гарантией его личной свободы. Дотоле единая по своему правовому положению крестьянская масса расщепилась на различные категории, права которых стали различаться по-разному.

Эти категории крестьян попрежнему именовались по землям, ими занимаемым, крестьянами государственными (прежде — черными), крестьянами монастырскими и церковными, и крестьянами боярскими, т. е. частновладельческими.

«Крепостная зависимость» коснулась только последних двух групп. Значительные элементы этой крепостной зависимости оказались в мероприятиях Петра 1. Но «крепостная зависимость», как факт, еще не есть «крепостное право». Превращение факта в право есть результат законодательства Екатерины П.

«Введя в наше законодательство римское правовое понятие «собственности», — говорит исследователь, — «равно как и самый этот термин; вложив в это понятие содержание, устраняющее возможность сосуществования двух самостоятельных прав на одну и ту же землю, Екатерина свела на-нет право крестьянина на его «наделную землю». В то же время, создав новую категорию земель — «земли заселенные» — и сделав их объектом специально «дворянского права», она превратила крестьянина из субъекта права в его объект».

Слагавшиеся по земле отношения крестьянина с землевладельцем, отношения, вытекавшие из двух законом признаваемых, самостоятельных Прав на землю, запутались в такой клубок, что и освобождение крестьян в 1861 году его не распутало до конца.

Такова общая схема разбираемого труда.

Материалы, которые в нем собраны и впервые обработаны со всей желательной точностью, представляют обширное поле для историко-софских размышлений.

«Вопросы поземельного права — основные вопросы для познания русской истории», а потому, естественно, они должны были прежде всего остановить внимание историков.

Так оно и было. Но по разным причинам, выводы к которым

пришли наши историки, поражают своей пестротой и, часто, противоречивостью. Чем это объясняется?

Отчасти, вероятно, тем, что вопросы поземельного права сами по себе не стояли в центре внимания историков. Отчасти тем, что эти историки, не будучи юристами, недостаточно осторожно обращались с юридическими понятиями и терминами, почитая ясным и определенным то, что, юридически, таковым не было; а — с другой стороны — слишком легко забывая, что сами правовые понятия суть продукты длительного исторического развития, в течение коего один и тот же термин, у разных народов, в разных странах и в разные времена, заполнялся совершенно различным конкретным содержанием.

Наши историки — и это надлежит подчеркнуть — стояли на точке зрения русской юриспруденции XIX-го века, пропитанной римско-правовыми понятиями, чуждыми древне-русскому правосознанию.

Кроме того, большое и отрицательное значение имело то обстоятельство, что эти историки подходили ко многим вопросам с готовыми, сложившимися уже априорными предпосылками, со своего рода научным *«credo»*, не всегда достаточно объективно обоснованным. Такие формулы, как «родовой быт», «первобытная община», «вотчинный режим», «феодальный строй» и т. п., были приняты просто на веру, иногда в силу общего идеологического предпочтения (напр., у славянофилов «общинное начало»). При этом документами пользовались недостаточно.

И тут невольно приходят на ум несколько строк из одного письма Фюстель-де-Куланжа: «Никаких обобщений, — писал он 25-го сентября 1875 года, — никакой фальшивой философии. Никаких или очень мало «общих взглядов»... Зато небольшое количество — всего несколько — вопросов, проработанных до мельчайших подробностей на основании текстов».

Припоминать ли его знаменитые восклицания: *«des textes rien que des textes!»* и *«pour un jour de synthèse il faut des années d'analyse»*. Профессор Ельяшевич мог бы взять любую из этих фраз эпиграфом к своему труду.

«Вся история крепостного права неразрывно связана с тремя стадиями развития нашего поземельного права», говорится в заключении исследования. Первая стадия — до Ивана IV — составляет содержание первого тома. Вторая и третья войдут в дальнейшие тома.

Свою задачу автор определяет так: «Изучить реальные поземельные отношения в процессе их исторического развития, на основании только документов... характеризовать повседневно-

ные отношения...» Эту задачу автор выполнил превосходно: почувствовалась правда будничной рабочей жизни и получился ценный труд, заполнивший большой пробел в наших историко-юридических представлениях о быте древней Руси.

Так как документы, которыми пока располагает русская наука, начинаются только с XIII в е к а, то и общая картина развития поземельных отношений древней Руси начинается именно с этого времени. О том, что было раньше, позволительно предполагать и умозаключать, но утверждать можно лишь с большой осторожностью. С другой стороны очевидно, что изображая отношения XIII и следующих веков, мы застаем их уже в к а к о й - т о с т а д и н р а з в и т и я, а никак не в их исходных моментах, которые теряются в веках предшествующих.

В первой главе своего труда автор знакомит нас с земледельцем-крестьянином, «отношение которого к земле носит наиболее непосредственный и потому наиболее конкретный характер».

Далее — во второй части — говорится о различных «землях», на которых крестьянин оседал, и о разных типах «землевладельцев», с которыми ему приходилось иметь дело.

Выводы автора, часто идущие вразрез со взглядами, до сих пор господствовавшими в нашей науке, убедительны своей документальной обоснованностью и всегда поучительны тонкостью предварительного анализа.

Вышло очень удачно, что на смену историкам, толковавшим вопросы права, теперь выступил юрист, освещающий вопросы историче-
ских

II.

В первом разделе книги («Крестьянин и его право на землю») автор рисует яркую и подчас неожиданную фигуру свободного пахаря-земледельца. «Неожиданную» для тех, кто невольно переносил в прошедшее свои представления о крестьянине XVII и первой половины XIX веков.

Три черты характеризуют древне-русского крестьянина: он — человек свободный; он — работает на земле; и он — тяглый, тянет государево тягло.

Как свободный, он свободно выбирает себе еще незанятый участок чьей-то земли, иногда спрашивая, а иногда и н е с п р а ш и в а я на то принципиального согласия землевладельца. Да и не всегда физически возможно было в те времена, при полном отсутствии путей сообщения, новому насельнику снестись с ведомым или неведомым владельцем земли, на которой он собирался

осесть. Вспомним, что даже в наше время весть об октябрьской революции 1917 года дошла до некоторых медвежьих уголков Сибири только в 1923 году.

Но тут приходится отметить еще и своеобразную черту древнерусских поземельных отношений.

К ним понятие «оккупации девственной земли», известное всем системам права, неприменимо, ибо в древней Руси не бывало «пичьей земли», «nomad's land's». Все земли кому-то принадлежали: либо частным владельцам, либо митрополиту, монастырям и церковным установлениям. Все же земли, которые не входили в эти два разряда, были государственными и назывались «черными». Этих земель было гораздо больше, чем всех остальных.

Итак, на какую бы девственную почву насельник ни оседал, он всегда оседал на чью-то землю, по которой потом и именовался: крестьянин черный, или монастырский, или митрополичий, или «боярский» (так обозначались все частные землевладельцы).

Спрашивается: по какому же праву оседал крестьянин на приглянувшуюся ему чужую землю?

Русские исследователи разошлись в своих ответах на этот вопрос.

Одни — вернувшись в древнейшее существование земельной общины на Руси, полагали, что право на пользование землей отдельному крестьянину предоставлялось общинной, которая владела какими-то, ей принадлежащими, землями.

Другие (Ключевский, Сергеевич, Мейчик) полагали, что право это вытекало из свободного договора с землевладельцем: по их мнению, крестьянин был «вольным и переходим арендатором чужой земли».

Значит, и те, и другие утверждали, что право крестьянина на землю не есть самостоятельное право, а есть право производное, вытекающее из его договора с истинным землевладельцем.

Проф. Ельяшевич категорически возражает против этого утверждения. «Та несомненная картина, которую нам дают источники, — пишет он, — совершенно не соответствует этому понятию (аренды и договоры)...». «Когда говорят здесь о договоре, — оперируют фикцией». Отношения возникали вне всякого соглашения. И не только в более отдаленную эпоху, но и в изучаемую нами эпоху, и как мы увидим, в XVII-м веке в Зауралье колонизационная крестьянская волна шла сама собою, и государство нестигало ее своим обложением» (стр. 60).

Вопреки всем предшествовавшим историкам, наш автор утвер-

ждает (и это есть его научное открытие), что «право крестьянина на занятый им участок земли есть право совершенно самостоятельное, независимо от кого бы то ни было». Говоря современным юридическим языком, это есть «право вещное», лежащее на самой земле, от нее неотъемлемое.

Но тогда возникает второй вопрос: какой же «правопронзающий факт» лежал в основе крестьянского права на землю?

Этот факт, отвечает исследователь — и это его второе научное открытие — есть крестьянский труд.

Факт приложения крестьянского труда к освоенному земельному участку, дотоле пустовавшему, рождает право крестьянина на этот участок. Но и этого еще мало: крестьянский труд на земле не только давал крестьянину право на нее, но и делал его самого — если только он был человеком тяглым — именно «крестьянином», пахарем, земледельцем.

Оставление им своего участка — явление вполне законное в древней Руси — влекло за собою «полное, бесследное прекращение права крестьянина на землю». И сам он, если только не пересаживался на другой участок, переставал быть крестьянином, оставаясь попрежнему тяглым человеком.

Описанный порядок связан и с тем своеобразным пониманием свободы, какое обнаруживается по тогдашним документам.

Всякая юридическая связь между землевладельцем и земледельцем, сидящим на его земле, почиталась лишением или началом лишения его свободы: наемный договор, денежная ссуда, создающая отношения должника и кредитора, аренда земли — все эти разнообразные договорные отношения казались несовместимыми с положением «крестьянина», т. е. свободного и самостоятельного хлебопашца; поэтому и в документах «серебренники» и «половинники» тщательно отличаются от «свободных людей» — крестьян (стр. 144).

Выбрав участок, крестьянин первым делом ставил свой «двор» или свою «деревню». Оказывается, что в древности эти термины были однозначущи.

«Двор» или «деревня» состояли из «хором», например: «две избы, да клеть на подклети, да мыльня, да сеники на двух хлевах, да сарай» (стр. 29).

Подтверждается, что до середины XVI века русская деревня сплошь и рядом состояла из одного, много двух-трех дворов (стр. 31-32).

«Поставить деревню» — обычная формула документов. Это

«дело топора». Далее начиналась обработка земли, ибо пашия и — покосы неперемнная принадлежность всякого крестьянского хозяйства. Протяженность этих полей и покосов определяется формулой: «куда плуг, и соха, и коса ходили».

Таково то конкретное целое, то хозяйство, которое и было непосредственным объектом крестьянского владения. «Мы особенно настаиваем на этом пункте, — говорит автор, — ибо игнорирование этого фактического положения привело наших историков к совершенно неправильной оценке правового положения крестьянина на земле» (стр. 32). Крестьянин — свободный и самостоятельный хозяин, он свободно, по собственной воле, распоряжается своим хозяйством: он может его продать, заложить, завещать, подарить (стр. 38, 39). Свои права на землю крестьянин может защищать по суду. И, как человек свободный, он может являться на суде и истцом, и ответчиком, и свидетелем.

Его свидетельство в земельных тяжбах даже очень ценно, особенно, если он «старожилец», т. е. сидит на участке, освоенном еще его отцом, дедом или прадедом. Такой, так сказать, «наследственный крестьянин», естественно, лучше других был осведомлен во всех местных делах и отношениях, и потому являлся в некотором роде знатоком их, по тогдашнему «знахорем», и к его свидетельству прибегали и крестьяне, и монастыри, и частные владельцы, и даже князья в своих междукняжеских спорах (стр. 25, 26).

Все права крестьянина обеспечиваются его древнейшим и драгоценнейшим правом, вместе с тем и свидетельствующим о его свободе: правом «крестьянского выхода», правом покинуть свой участок, переменить землевладельца. Крестьянин свободен в своих передвижениях, он еще не прикреплен к земле (стр. 130-134).

Такова фигура свободного самостоятельного крестьянского хозяина: тургеневский Хорь.

Права каждого крестьянина на его крестьянское хозяйство, на его «владенье», одинаковы: бессрочны, неприкосновенны и неотъемлемы. и р и з л о в и и, что он исправно выполняет две, взятые им на себя, обязанности с момента, как он начал крестьянствовать: обязанность по отношению к земле — ее обрабатывать; и обязанность по отношению к государю (государству) — тянуть государево «тягло».

Крестьянин, прежде всего, т я г л ы й человек. На чьих бы землях он ни сидел, — он тянет тягло, т. е. платит дани, поборы и несет всякие повинности.

Крестьянское тягло неразрывно связывалось с землею и определялось ею: размеры тягла соответствовали обрабатываемому крестьянскому участку.

В древней Руси не существовало «сословий» в том юридическом смысле слова, какой им придается теперь. И «крестьянства», как сословия, не существовало.

Но зато тогда существовало резкое социально-экономическое деление на две весьма неравномерные группы: лю д н т я г л ы е и лю д н н е т я г л ы е. Это два несмешивающихся общественных класса, различествующих и по своему политическому значению, и по своему правовому положению (стр. 147).

Когда возникло это различие? Пока еще наукой ответа на этот вопрос не дано.

Крестьянское тягло неразрывно связывалось с землею и определялось ею: размеры тягла соответствовали обрабатываемому крестьянскому участку.

И крестьянское право на участок, и крестьянская обязанность тянуть тягло возникали в один и тот же момент и вытекали из одного и того же факта — из факта освоения крестьянином данного участка. И прекращались оба — и право, и обязанность — в один и тот же момент: в момент прекращения труда на земле.

Если государь жаловал кому-нибудь черную землю с сидящими уже на ней крестьянами, т. е. делал кого-то землевладельцем, то он, вместе с тем, давал этому новому землевладельцу право на некоторую долю тягла. Но право крестьянина на свой участок при этом несколько не менялось и оставалось неприкосновенным.

Выходило, что на одну и ту же землю ложилось два права, но совершенно различных по характеру и совершенно независимых одно от другого, «и н о д н о и з н и х н е я в л я е т с я п р о и з в о д н ы м о т д р у г о г о » (стр.149).

Крестьянство — исконное свободное население Руси. Древняя Русь была действительно серой, сермяжной, христианской — крестьянской Русью. Микула Селянникович ее точный поэтический символ.

По самому роду своих земледельческих занятий крестьянин с трудом расставался с насиженным двором своим, со своей «деревней». Он уходил только, уступая стихийным бедствиям: «великим поветрям», «мору» или вражеским нашествиям; это засвидетельствовано документами (стр. 37, 134). Поэтому надлежит совершен-

но отвергнуть крылатое слово Ключевского, закрепленное его ярким талантом, о, якобы, «текучести крестьянского населения». Крестьянское население было не текучее, а сидячее.

Это не исключает, конечно, того факта, что, при естественном разрастании семьи, взрослые сыновья и племянники уходили и ставили новые деревни и «починки» иногда по соседству, а иногда и вдалеке. Колонизация не только двигалась мощным потоком, но и расплывалась большим масляным пятном.

Таким образом, сводя в одно все намеченные выше характерные особенности древне-русского крестьянина, можно сказать, что он: человек в полне свободный, самостоятельный хозяин и тяглый. Если одна из этих трех характеристик отсутствует, он уже не крестьянин, хотя бы и трудился на земле: он — «наймит», он — «бобыль», он — «половник», он — «серебренник», но не крестьянин.

Справедливая разверстка тягла, с соблюдением интересов государственных, владельческих и крестьянских, была делом тонким, требовавшим хозяйственного разума и государственной мудрости. Эта разверстка искони являлась первой финансово-экономической заботой князей: вспомним кн. Олгу, с ее «уроками» и «погостами».

«Тягло», его размеры устанавливались двусторонним соглашением, а в исследуемую эпоху и сообразуясь с стародавними обычаями, со «старинной и пошлиной».

Никакой землевладелец не мог односторонне и произвольно увеличить тягла. Если бы он это, тем не менее, сделал, крестьянин волен был воспользоваться своим правом «выхода», что грозило бы запустением земель.

Определение размеров тягла и способов его собирания было сравнительно просто для государственных, по тогдашнему «черных» земель: там все тягло через государственных сборщиков поступало в государственную казну.

Но вопрос усложнялся, когда крестьянин сидел на монастырской или частно-владельческой земле. В этом случае тягло приходилось делить между государевой казной и землевладельцем.

Вот эта-то забота о справедливой разверстке тягла и породила так называемую «крестьянскую волость».

На этом вопросе, по-новому истолкованном автором, следует остановиться.

III.

«Роль волости в крестьянской жизни той эпохи заслуживает тем большего внимания, — говорит автор, — что неправильная оценка ее известным направлением русской исторической мысли привела к искаженному представлению о праве крестьянина на землю» (стр. 47).

С XV века древнее слово «волость», обозначавшее сперва только территорию, состоявшую под одной властью, стало употребляться и в более узком, технически-юридическом, значении территориально-административной единицы, небольшой по размерам и имевшей своим назначением упорядочить соби́рание податей с крестьян.

Из документов явствует, что волость являлась как бы хранилищем фонда земель, предназначенных для занятия их крестьянами, и ее судебные функции распространялись только на земли, не входящие в состав отдельных, уже налаженных, крестьянских хозяйств; волость заботилась о заселении опустевших участков. И все это ради того, чтобы тяглые земли не пустовали, чтобы тягло регулярно поступало в государеву казну (стр. 49-52).

В качестве административно-податной единицы волость не была продуктом законодательного творчества, а возникла в обычном-правовом порядке, т. е. была создана самой жизнью.

Позднее, в конце XVI века, появляется еще и новый термин: «мир».

«...Является непонятным, — пишет проф. Ельшевич, — как историки-юристы могли говорить о волости, как земельной общине, о «праве собственности», принадлежащем волости на волостные земли». Волостные земли не собственность волости — мира, а суть те земли, которые «тянут» к этой волости своим тяглом, т. е. уплачивают в этот центр свои подати, как прежде они тянули к определенному «погосту» или «стану» (стр. 54-56).

Никаких волостных земель, как собственности некоего коллектива-«волостной общины» не существовало, и таким образом все теории историков-общинников, утверждавших, что крестьянин лишь пользовался общинной землей, а собственником ее был не он, а община, совершенно падают.

IV.

Не меньше ценных поправок и уточнений вносится в наши представления и о частном землевладельце, с которым связан по земле крестьянин.

До сих пор все историки сходились довольно единодушно на

изображении «вотчинника», как единственного в древней Руси личного земельного собственника, понимая право собственности в духе господствовавшей в XIX веке юриспруденции. Для всех нас тогда слово «вотчина» было равносильно выражению «полная частная собственность». Тогда и вошли в наш научно-исторический оборот термины: «вотчинное право», «вотчинный период» и проч., причем выдвигалось, как характернейшая черта вотчинного порядка, преобладание частного права над публичным.

В ряде тонких замечаний, автор последовательно и убедительно либо исправляет, либо опровергает эти установившиеся представления. Весь этот блестящий экскурс заслуживает самого внимательного и вдумчивого отношения. По недостатку места, ограничимся указанием лишь на некоторые из заключений автора.

1. Понятие «вотчинного права» в смысле полной частной собственности, понятие «вотчины», как объекта права, противоречит тому, что говорят источники (стр. 159). Основным смыслом слова «отчина» = «вотчина» — княжение отца, переходящее по наследству к сыну. Позднее московские князья не раз повторяли стереотипную фразу: «наша отчина — великое княжение» (вместо «княжества», слова, впервые употребленного только в духовной Ивана III, в 1504 году). Для древне-русского князя все, что было под его властью, было его отчиной. В пределах его отчины — вотчины, находились и земли, принадлежавшие, как собственности, различным людям. Слово «вотчина» в смысле «княжения» было еще в XVI веке и даже позднее.

2. Очень ошибочно утверждение сторонников «вотчинного периода», будто тогда доминировал принцип частного права над публичным. «Можно с большим основанием утверждать обратное», читаем мы на стр. 165-166. И автор объясняет, каким образом могло родиться это заблуждение. Эти страницы превосходны по своей убедительности.

Переходя затем к употреблению слова «вотчина» в сфере землевладения, автор устанавливает следующие положения:

1. До эпохи Василия III (1505-1533) никакого юридического содержания со словом «вотчина» не связывалось и ни к какой юридической определенной категории земель этот термин не применялся.

Словом «вотчина» просто обозначалась собственность, переходящая к ее нынешнему обладателю по наследству от отца (да и это не всегда точно соблюдалось, ибо бывали вотчины и «жалованные»).

2. Различение двух типов землевладения, «вотчин» и «поме-

БИБЛИОГРАФИЯ

стей», впервые появляется в приговорах церковных соборов 1580 и 1584 годов, и затем в «Указе 1589 года о беглых крестьянах». Только через столетия после того, в Уложении Царя Алексея Михайловича, 1649 года, эти две формы землевладения уже охарактеризованы в отдельности.

3. Именно появление новой формы сперва землепользования, а потом и землевладения — «поместья» и превратило слово «вотчина» в юридический термин.

V.

Этой новой форме землевладения посвящены интереснейшие страницы (320-325; 367-377).

«Поместье» родилось впервые на митрополичьих землях в середине XV века.

Это было выходом из затруднения, в которое попали митрополиты, бывшие до XIV века почти всегда греками и старательно пытавшиеся привить на Руси принцип византийского церковного права. Принцип этот заключался в том, что земли церковных установлений никогда не должны были быть отчуждаемы, ибо земли, принадлежащие церкви, принадлежат, в сущности, не ей, а самой Пречистой Богородице или тем или иным святым.

Между тем, в силу естественного хода вещей, митрополит, как и князь, нуждался все в больших и больших средствах для покрытия разнообразных расходов, растущих вместе с ростом государства и Церкви. Другой же формы капитала, кроме земель, тогда не было. Как быть?

При недопустимости отчуждать митрополичьи земли, оставался единственный выход: введение пожизненного «землепользования», — «испомещения земель».

При этом, в соответствующем документе, строго оговаривалось, что земля, которая дается в пользование, никем образом не может быть отчуждена: «никоторою хитростью», и по смерти пользователя возвращается целиком к своему обладателю — митрополиту.

Из области церковных отношений практика «испомещения земель» перешла при Иване III в светско-государственные отношения.

Но надо старательно подчеркнуть, что ни при нем, ни при его сыне, Василии III, факт дачи «поместья» не накладывал обязанности служить. Идея «служебного» поместья явилась позднее, при Иване IV, который и стал начинателем «крепостной зависимости» (стр. 376-377).

VI.

Источники говорят нам о землях не только княжеских, монастырских, митрополичьих но еще и о «боярских».

Но вот что любопытно: «земля боярская» вовсе не означала землю, непременно принадлежащую «боярину». Это значило просто, что земля — *частновладельческая*. Класс свободных частных землевладельцев состоял из очень различных элементов. На самом верху стояли действительно бояре, «лучшие люди», аристократия; дальше шли «дети боярские», слуги княжеские, т. е. «служилые люди», и наконец — и это является открытием проф. Ельяшевича — в самом низу этой лестницы стояли мелкие землевладельцы, такие мелкие и экономически слабые, лично работающие на своей земле, как простые крестьяне, что по первому взгляду их никак нельзя было и отличить от крестьян. Это так называемые «своеземцы».

Они впервые встречаются в новгородских писцовых книгах, но автор думает, что они существовали в России повсеместно.

Вот эти «своеземцы» и составляли в списке владельцев «боярских земель» последнюю категорию. Но, будучи равными крестьянам по своему экономическому положению и по степени культуры, они глубоко отличались от них *пронесением* своего права на обрабатываемую ими землю: их право основано на том титуле, в силу которого они это право приобрели, совершенно так же, как право любого землевладельца; право же крестьянина, как было сказано, основано только на его труде, приложенном к земле.

Столь разнообразный и — нужно сказать — неожиданный состав людей, входящих в разряд владельцев «боярских земель», представляет крупное затруднение для схематических построений наших феодалистов.

Если вотчинный режим подобен сеньеральному, если еще можно уподобить какого-нибудь Шуйского или Воротынского западно-европейскому феодалу, то представить себе в этой роли мелкого, крестьянивающего на своей земле «своеземца» — далекого предка «одноподворца Овсянникова», — трудновато.

VII.

В заключение несколько замечаний относительно «жалованных грамот».

На них, главным образом, строились представления наших феодалов о сеньориальных правах русских вотчинников.

Между тем, более вдумчивое обследование этих грамот указывает следующие их черты, с которыми впредь необходимо будет считаться.

1. Наибольшая часть «жалованных грамот» относится к монастырям, а вовсе не к боярам.

2. Монастырские грамоты больше чем на сто лет древнее боярских (монастырские с XIII в., боярские с первой четверти XV в.).

3. Титулованные бояре, которых было большинство (до 65%), жалованных грамот не получали н и к о г д а . Это потому что и служебные князья с вотчинами, и потомки удельных князей, утратившие свою политическую независимость, но удержавшие свои вотчины, продолжали сохранять по отношению к этим вотчинам свои прирожденные суверенные права, далеко превышавшие льготы, предоставляемые жалованными грамотами.

4. Никогда не бывало жалованных грамот митрополиту.

5. Таким образом, ясно, что практика жалованных грамот служила не высшему слою землевладельцев, а среднему и даже низшему, вплоть до «своеземцев» (стр. 386).

Следует отметить еще, что и облекались эти грамоты обыкновенно в форму «*л ь г о т ы д л я к р е с ь т ь я н и н а*», а вовсе не какой-то милости землевладельцу: «пожаловал есми тех с и р о т...» «...а наместники мои и волостели и их тиуны на тех крестьянех кормов своих не емлют и не всылают к ним ни почто»...

Из всего этого видно, что нельзя рассматривать льготные и несудимые грамоты, как предоставление каких-то особых привилегий какой-то выделенной группе землевладельцев. Никаких элементов верховной власти московский государь не отчуждал. Подобная точка зрения совершенно не вмещалась в тогдашнее правосознание. «Это была эпоха, когда князья не поступались своей государственной властью, а расширяли и консолидировали ее» (стр. 301).

«Цель, которую они преследовали в э т и х г р а м о т а х , была совсем иного порядка. Снимая с крестьян в возможно большей степени экономическое бремя, ... князья хотели создать возможно более благоприятные условия для хозяйственного преуспевания сельского населения» (стр. 301). «Льготные податные грамоты были для князей орудием их земельной колониальной политики» (стр. 298). Эти грамоты выполнили большую историческую работу в организации государственного строя, в частности в фи-

нансовой его организации: при их помощи были разграничены сферы княжеского тягла и землевладельческого обложения.

Исторически, группа некоторых судебных и административных функций передавалась землевладельцам именно и только потому, что эти функции были тесно связаны с податным обложением. И этот порядок вещей не только не утешал крестьянина, а скорее был ему удобен. От произвола же землевладельца свободный крестьянин был достаточно огражден своим исконным правом выхода. При тогдашнем обилии земель это было не пустым словом, а практической возможностью.

Но прошли года, и эти же самые судебно-административные полномочия землевладельцев превратились в существенные элементы будущей крепостной зависимости.

Останавливаемся, далеко не исчерпав богатого содержания книги.

Как уже сказано, новизна выводов ее сперва смущает, но потом тонкость анализа и убедительность аргументации покоряют читателя.

Материалы, обработанные проф. Ельзашевичем, так обильны и интересны, что краткий пересказ книги не может дать ничего, кроме сознания, что ее следует прочесть каждому, кто серьезно интересуется русской историей.

Александра Петрукевич.

TAMARA KARSAVINA. The Theatre Street. The Reminiscences of Tamara Karsavina. XI 502 p. p. with a frontispiece and 16 illustrations. Constable Co., Ltd. London 1948

Недавно вышла вторым изданием книга воспоминаний балерины Т. П. Карсавиной (первое издание появилось в 1930 г.).

Это исключительная книга волнует читателя. Впечатление от нее, как от пробившегося через нависшие тяжелые тучи тонкого луча солнца, осветившего на мгновение затемненную землю. Когда все мысли направлены сейчас к тому, как удержаться на поверхности бующего потока современности, куда он вынесет и вынесет ли, или суждено захлебнуться в его мутн и грязи, вдруг

БИБЛИОГРАФИЯ

перед читателем открывается картина истинного, одухотворенного творчества, положительное вместо отрицательного, создание вместо разрушения, то, что останется навсегда.

Театральное искусство в его различных сферах было, повидимому, последним достижением поразительного культурного развития России XIX и начала XX столетий. На этом русская культура была грубо оборвана и заменена лакейски-послушным поклонением односторонней доктрине и еще в большей мере угождением ее малограмотным служителям. Имена Немировича-Данченко и Станиславского, Дягилева, Шаляпина, Фокина, Бенуа, Бакста, Добужинского и др. останутся навсегда в истории не только русского, но и всемирного театрального искусства. Балет был последним цветком, впитанным в венчик русской культуры, а Карсавина одним из самых прелестных и нежных лепестков этого цветка.

«Театральная Улица» (на этой улице помещалось Императорское Театральное Училище), это — история большой артистки, начиная с ее детства и до полного развития ее таланта. Почти сорок лет личной и театральной жизни проходят перед глазами читателя.

Всякий, кто хочет посвятить себя искусству, должен прочесть эту книгу. Он поймет тогда, что для достижения успеха в искусстве, кроме способностей или просто склонностей в том или ином направлении, нужны еще два двигателя: безответная преданность своему делу, т. е. «служение» ему, и постоянная, никогда не прерывающаяся работа.

Еще будучи ученицей Театрального Училища, Карсавина выработала план своей жизни: «*I was to be a priestess of my art, uncompromising, spurning wordliness*». Конечно, эта формула, во всей ее полноте, к счастью, не была выполнена, так как у Карсавиной была и личная жизнь. Но, повидимому, искусство было у нее всегда на первом плане. Что касается непрерывной работы, то уже в Театральном Училище Карсавина «работала фанатически» и не только в классе танцев, но и в свободное от занятий время, когда другие девочки шалили или болтали. За это ее прозвали «*self-torturing fakir*». Это бесконечное совершенствование продолжалось всю жизнь. Карсавина была уже выдающейся танцовщицей на Марининской сцене, потом прима-балериной, а в Дягилевском балете настоящей «звездой», и тем не менее непрерывно училась у *Signora Beretta* (театр *Scala* в Милане), у балерины Соколовой, у Иогансена, у Чекетти.

Особого внимания заслуживают замечания Карсавиной о значении техники в балетном искусстве (да и не только в нем). Гово-

ря об Исадоре Дункан, Карсавина в общем относится с симпатией к ее новаторским стремлениям, но отмечает ограниченность ее художественных достижений, вследствие недостатка техники в ее танцах: Когда Фокин, под впечатлением визита Дункан в Петербург, поставил свой балет "Euphrosyne", пользуясь техникой балетной формы, он достиг несравненно больших результатов. "Нам было возможно, - пишет Карсавина (стр.171), - с нашей техникой танцевать так, как она, а она с ее ограниченными техническими средствами не имела возможности соперничать с нами". Нового искусства Дункан не создала. "Дунканизм был только его частью, у нее не было ключа".

Это не значит, что Карсавина застыла в классической балетной форме и не двигалась вперед. Наоборот, владея вполне этой формой, она еще совсем молоденькой девушкой примкнула к почти революционному движению Фокина, а позднее сочувственно относилась ко многим новшествам Дягилева и создавала роли в его новых балетах. Место, которое Карсавина заняла в балетном искусстве, совершенно исключительное. В чисто хореографическом отношении необычайный успех балета Дягилева в Европе обязан, кроме Фокина, главным образом Карсавиной и Нижинскому. В истории балета ее имя будет стоять рядом с именами Тальони, Эльслер, Цукки, Ceritta, Legnani, Кшесинской, Преображенской, Павловой. Мы вправе гордиться тем, что Россия дала миру такую артистку.

Воспоминания Карсавиной очень красочны, дают живые характеристики людей и яркие описания событий, и в то же время выражают очаровательную, хотя и очень эмоциональную личность автора.

Тамара Карсавина родилась в конце XIX столетия и жила в том самом Петербурге, замечательное описание которого дал в 21-ой книжке "Нового Журнала" М. В. Добужинский. Ни один петербуржец той эпохи не забудет этого, совершенно особенного и прекрасного города.

Семья Карсавиных, состоявшая из отца - артиста Императорской балетной труппы, матери, брата, который был на два года старше Тамары, и самой Тамары, была крайне стеснена в средствах. По временам приходилось очень туго, тогда закладывались вещи или занимали деньги, чтобы выкарабкаться из трудного положения. Маленькая Тата, как ее звали дома, не была избалована и довольствовалась малым.

Карсавин, бывший первым танцором и мимом на Мариинской сцене, повидимому, из-за каких-то театральных интриг, должен был оставить службу очень рано, что еще больше ухудшило

БИБЛИОГРАФИЯ

материальное положение семьи. Это был очень добрый и мягкий человек, но крайне непрактичный.

Совершенно другой характер был у матери Карсавиной. Женщина несомненно умная и властная, по существу хорошая, она была действительной главой семьи. На ней лежали все домашние заботы, она руководила образованием детей и она же в тяжелые минуты как-то умела доставать деньги, чтобы протянуть до следующей получки.

Не Тамара, а ее брат Лев (будущий философ) был любимцем матери и ее надеждою. Она часто говорила, что любит своих детей «рационально». Поэтому она обычно была строга с ними, но временам сурова и никогда не была нежна. Ласку, в которой нуждалась маленькая Тата, она в изобилии получала от своей няни Дуниши. У Дуниши была неограниченная жалость ко всякому существу, находящемуся в беде, и Тата многому от нее научилась в этом отношении. Дуниша осталась на всю жизнь с Тамарой. В год революции (1917 г.), состарившаяся и уже плохо видевшая, Дуниша была случайно убита на улице автомобилем, к великому горю Карсавиной.

Тамара была большая «плакса» в детстве (и такой осталась на всю жизнь). Мать подавлявшая строгостью эти взрывы детского горя, сделала из застенчивого и кроткого ребенка натуру замкнутую. Тамара не умела бороться. Она по временам бунтовала, говорила неприятные и даже злые вещи, в которые сама не верила, но отстоять себя не была в состоянии. В детстве она пыталась бороться с матерью, позднее с Дягилевым, который, ради своих артистических целей, по временам бывал крайне жесток с нею, но в конце концов, заливаясь слезами, в бессилии, она подчинялась.

Но эта же замкнутость, при редкой умственной одаренности, способствовала созданию внутреннего идейного мира, из которого у 17-тилетней девочки выросла непоколебимая вера в искусство. Тамара могла уступать во многом, но ничто не могло заставить ее пойти на компромисс со своими артистическими убеждениями. Она сама пишет: «У меня было одно единственное всепоглощающее стремление» — достигнуть совершенства в своем искусстве.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло». Если бы материальное положение семьи Карсавиных было лучше, мир никогда бы не получил Тамары Карсавиной. Когда подошло время отдавать Тамару в среднюю школу, практичная мать решила сделать ее балетной танцовщицей. Лев должен был получить среднее и высшее образование, а Тамара, если бы попала в Театральное училище, где учили и содержали учениц бесплатно, и вышла бы даже

в кордебалет, все-таки могла бы содержать себя. Таким образом, тяжелое материальное положение семьи облегчилось бы (в действительности, когда Тамара окончила Театральное Училище и поступила на Марининскую сцену, она отдавала матери все свое жалование, получая только мелочь на самое необходимое).

Отец, сам пострадавший от театральных интриг, был против балетной карьеры для своей дочери. Но мать устроила для Тамары тайные уроки у бывшей балетной танцовщицы Жуковой, и когда выяснилось, что девочка проявляет исключительные способности, отец был поставлен перед «*fait accompli*». Он слабо протестовал, быстро согласился с доводами жены и стал сам учить Тамару.

Нельзя в кратком обзоре пересказать всю книгу. Нужно самому прочитать описание жизни в Театральном Училище, порядков в Марининском театре, где Карсавина, благодаря ее исключительному таланту, добросовестности и работе, быстро подымалась по балетной иерархической лестнице, и в особенности ее многолетнего сотрудничества с Дягилевым, перед которым она благоговела (ему посвящена во 2-ом издании специальная глава).

Читатель не найдет в этой книге ни одного слова осуждения, ни одной злой характеристики. Конечно, были неприятности, столкновения, обиды, не все люди были друзьями или доброжелателями, но во всех случаях Карсавина дает объективную оценку событий и людских действий.

Вот это доброжелательное отношение к другим, отсутствие карьеризма, преданность своему делу, верность товарищам и полная беспомощность в житейских делах сделали то, что Карсавина была всеобщей любимицей. Старшие балерины — Кшесинская, Преображенская и др. — покровительствовали очаровательной Тате. Сам директор Императорских Театров Теляковский заботился об ее интересах (в общем, отношение дирекции к артистам было хорошее). Будучи исключительно застенчивой и «*pride and prig*», Карсавина избегала всяких собраний и пирушек, считала все рестораны без исключения «неприличными местами», и, пока не вышла замуж, что, повидимому, случилось незадолго до начала войны 1914 года, довольствовалась репетициями, сценой и скромной жизнью со своими родителями.

Теперь о недостатках книги. Конечно, они есть. Прежде всего, об описках. Варава не был разбойником, распятым вместе со Христом и сказавшим Ему: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем» (стр. 39). Варава был тот разбойник, которого Пилат помитовал вместо Христа. Ни в одном из Евангелий имя «разбойника благоразумного» не упоминается.

БИБЛИОГРАФИЯ

Никак нельзя плыть вниз по течению из Петербурга в Ладожское озеро (стр. 270).

В писании Карсавиной почти совершенно отсутствует юмор. Ведь не может же быть, чтобы в течение 30-35 лет не случилось в театрах, где выступала Карсавина, чего-нибудь смешного или просто забавного и ни для кого не обидного. Но Карсавина не смеется. Только на одной фотогравюре в книге она улыбается, на всех остальных лицо серьезное, а чаще печальное. Вероятно, в жизни она плакала больше, чем смеялась.

Читая книги воспоминаний, естественно, хочется больше знать об их авторе, в особенности, когда он становится так близок читателю. Но, конечно, автор в праве говорить о своей личной жизни, столько, сколько он считает это возможным. Было бы неэтикетно добиваться дальнейшей откровенности. Однако, некоторые вопросы, не имеющие характера интимности, напрашиваются сами собою. Мы, например, совершенно не знаем, что случилось с родителями Карсавиной, которые играли такую важную роль в ее жизни.

Эти небольшие недочеты, конечно, не могут уменьшить огромного значения прекрасной книги Карсавиной. Эта книга останется навсегда памятником безвозвратно погибшей культуры и свидетельством тех высоких идеалов, которые двигали людьми, создававшими эту культуру.

Б. П. Бабкин.

К. МОЧУЛЬСКИЙ. Достоевский, жизнь и творчество.
YMCA-PRESS, Париж, 1948

Художественное изображение мира, действительного или воображаемого, стоит ближе к божественной правде, чем философское, потому что оно имеет конкретный характер. Все мировое бытие, действительное и возможное, предстает пред разумом Божиим во всей конкретной полноте, как осознанное и опознанное Им в подлиннике. Такое знание есть доведенная до абсолютного совершенства «разумная интуиция», сочетающая в себе, по определению отца Павла Флоренского, дискурсивную дифференцированность (расчетленность) до бесконечности с интуитивную интегрированность до единства.

В божественно совершенной разумной интуиции конкретно-

художественное созерцание мира сочетается с дискурсивно-философским пониманием его. В земном человеческом уме две эти стороны целостной истины в значительной мере обособлены друг от друга и, к тому же, каждая из них несовершенна, далека от подлинности: художник осуществляет конкретное созерцание тех или других значительных частей мира, без достаточно глубокого анализа; философ глубоко анализирует некоторые стороны мира, но дает лишь систему отвлеченных истин о нем.

Такой гениальный художник, как Достоевский, самым выбором тем своего творчества и выпуклостью изображения сторон жизни, которые он считает значительными, намечает основы своего миропонимания. Однако, на долю историка литературы и философа остается еще не малая работа анализа творчества и исследования жизни художника, чтобы выразить усмотренный им смысл мира в форме абстрактных идей. В конкретности подлинно художественного произведения, как и в самой жизни, таится столько абстрактных идей, что исчерпать их невозможно. Неудивительно поэтому, что о смысле творений Достоевского написано уже множество книг и будет написано еще больше.

Книга недавно скончавшегося Константина Васильевича Мочульского (1892-1948) много дает для понимания творчества Достоевского, но, конечно, и она не исчерпывает темы. В своем замечательном исследовании «Духовный путь Гоголя» Мочульский показал, что жизнь Гоголя на всем ее протяжении была мучительною религиозною драмою. В этой книге он обнаружил свой талант историка литературы и вместе с тем философа. В еще большей мере требуется это сочетание двух талантов для изучения жизни и произведений Достоевского. В своем исследовании Мочульский, как историк литературы, уделяет много места изучению стиля Достоевского и процессу развития его творений, но использует результаты этого труда для более глубокого проникновения в идейную сторону его творчества. Символисты (Мережковский, Вячеслав Иванов и др.), говорит он, открыли философскую диалектику Достоевского, а современные исследователи разрушили окончательно «миф об эстетической бесформенности и стилистической небрежности автора «Братьев Карамазовых» (стр. 8).

Гений Достоевского, действительно, «нечеловеческий» (112). Поэтому многие люди неспособны воспринимать эстетические достоинства его творений. Нужно много раз читать романы Достоевского, чтобы научиться при чтении мучительных драм, изображаемых им, сохранять то самообладание, которое необходимо для эсте-

БИБЛИОГРАФИЯ

тического восприятия их. Они стоят на границе того, что человек способен воспринимать.

Пользуясь изданными в Советской России записными тетрадями Достоевского и уже произведенными в России исследованиями, Мочульский показывает, что «десятки вариантов фабул, сотни ситуаций и образов пронеслись в его голове; у него не хватало сил закрепить их на бумаге, он изнемогал от этих вихрей воображения. Как бы ни были перегружены его романы, все же они только ничтожная часть первоначальных замыслов» (112). Увлекаясь проповедью своих любимых идей, но в то же время заботясь и о занимательности, Достоевский выработал «новый повествовательный стиль»: пользуясь авантюрной бульварной литературой, романом приключений и уголовным романом, он возвел эти «вульгарные и второсортные литературные формы на вершину высокого искусства», создал роман-трагедию (173). Л. Гроссман исследовал чтение Достоевского и ищет им увлекательной формы и показал, как возник этот своеобразный стиль его романов.

Не картинность Тургенева или Льва Толстого, а динамичность характерна в творчестве Достоевского (355). «За много лет до Пруста, Джойса, символистов и экспрессионистов Достоевский разбивает условность логической литературной речи и пытается воспроизвести поток мыслей и образов в их непосредственном ассоциативном движении» (451). «Каждое действующее лицо погружено в свою словесную стихию», говорит Мочульский и на примерах из романа «Бесы» показывает это мастерство Достоевского (383).

Центральное место в романах Достоевского занимает «борьба Бога с дьяволом в сердцах людей». Крайнее напряжение ее изображено в главе «У Тихона» (исповедь Ставрогина), которую Катков отказался напечатать, хотя она, как показывает Мочульский, есть необходимое звено в художественном целом романа «Бесы». Безбожный гуманизм в своем логически-необходимом развитии кончается богоборчеством. У мощных натур оно сочетается с «гордым уединением» и безграничной свободой, которую они считают себя в праве присвоить себе, но в социальной жизни безграничная свобода «богооставленного человечества» заканчивается безграничным деспотизмом и стремлением построить «муравейник» (536). Понимая неизбежность такого процесса, Достоевский предвидел страшные социальные катастрофы и ожидал борьбы европейского Антихриста с русским Христом. Он надеялся, что Святая Русь, благодаря своей свободе от «мещанства» и благодаря своему православию, сущность которого есть человеколюбие во Христе,

спасет Европу. В своей пушкинской речи он изображает миссию России, как «всепримирение идей».

Предвиденные Достоевским социальные катастрофы осуществились на наших глазах, но самая страшная из них происходит в России. Вместо всепримирения идей Советская Россия стремится насадить во всем мире самую мелкую, наиболее бедную содержанием идеологию исторического материализма. Дух мещанства, которого не было в России, теперь воспитывается советским режимом в русском народе. Зошенко обличал в советском человеке мещанские идеалы и, вероятно, поэтому ему запрещено писать.

Мочульский, повидимому, сочувственно относится к софиологии, характерному учению русской религиозной философии, согласно которой высшее существо тварного мира есть святая София, действующая мировой гармонии согласно воле Божией и вступившая в исторический процесс, как Матерь Божия. Поэтому он охотно подчеркивает «софийный опыт» Достоевского и особенно те места, где Достоевский говорит о Матери Богородице и Матери-Земле (381, 460). Его почвенничество связано с этими мыслями о Земле.

К числу замечательных открытий Достоевского принадлежит видение им «метаспсихического общения человеческих сознаний» и дополнения одного человека другим, напр., Ставрогина Петром Верховенским, Ивана Карамазова Смердяковым (318-320). В наше время наука начинает постепенно подходить к этим таинственным связям и влияниям существ друг на друга.

В начале своей книги Мочульский говорит, что «в XVII веке одна из ветвей древнего литовского рода Достоевских переселилась на Украину (9). Удивительно, как многие люди поверили дочери Достоевского Любви, будто отец ее — полу-литовец. В настоящее время этого уже нельзя сказать благодаря исследованию М. В. Волоцкого «Хроника рода Достоевских» (Москва, 1933). Документальные сведения о роде Достоевских имеются начиная с 1506 г. В этом году пинский князь Федор Иванович Ярославич выдал своему боярину Даниле Иртищевичу грамоту на владение частью села Достоево (в Пинском уезде Минской губернии). После этого потомки боярина Иртищевича (по другим документам Иртища) стали называться Достоевскими. Князь Федор Иванович Ярославич «принадлежал к московской ветви Рюриковичей; отец его, князь Иван Васильевич «бежал в Литву в княжение Василия Темного в 1456 г. Боярин Данило Иванович Иртищ мог быть или из местных уроженцев, или, не исключена возможность, что он или его отец эмигрировали в Литву из Московского государства, может быть, в свите

БИБЛИОГРАФИЯ

своего князя». Прозвище родоначальника Достоевских — Иртиц напоминает великорусский род Ртищевых (24). Итак, родоначальник Достоевских — или великоросс или белорусс. Вероятнее всего, что в Достоевском сочеталась кровь всех трех ветвей русского народа — великороссов, белоруссов и украинцев, с преобладанием великорусского элемента.

Вопрос о религиозной жизни Достоевского в книге Мочульского недостаточно разработан. Он говорит, что, познакомившись с Белинским, Достоевский «принял весь его атеистический коммунизм». «И это не мимолетное заблуждение, а долгая душевная трагедия. Через восемь лет после обращения в атеистическую веру Белинского, Достоевский писал из Омска жене декабриста Фонвизина: «Я дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки». Человек, создавший самую гениальную в мире атеистическую аргументацию (Иван Карамзин), человек, которого всю жизнь Бог мучил, совмещал в своем сердце пламеннейшую веру с величайшим неверием» (99). Религиозная жизнь Достоевского подвергнута мною детальному исследованию в книге «Достоевский и его христианское миропонимание», написанной мною десять лет тому назад и напечатанной в 1944 г. по-словацки (русский текст и английский перевод его до сих пор еще не напечатаны). Достоевский говорит, что он «утратил было Христа». Но пламенная любовь ко Христу сохранялась у него и при общении с Белинским, и в кружке Петрашевского; очевидно, он утратил только веру в Богочеловечество Христа. В 1847 г. он вместе с доктором Яновским пошел к причастию, следовательно, вернулся к Христу, как Богочеловеку. Его атеизм и отпадение от христианства длились не более, чем полтора года. Говоря о своем неверии и сомнении «до гробовой крышки», он имеет в виду не бытие Бога и Богочеловечество Христа, а некоторые проблемы теодицеи и традиционной церковной веры.

Н. Лосский.

Прот. В. В. ЗЕНЬКОВСКИЙ. История русской философии.
Том I. YMCA-PRESS. Париж. Стр. 469.

«История русской философии» о. В. Зеньковского, первый том которой вышел в свет, есть произведение весьма значительное, не только как образцовое по полноте, точности и объективности на-

учное исследование, но и по живости и талантливости трактования темы, в силу чего книга читается с захватывающим интересом. Будучи неким исповеданием веры автора, она есть сама ценный вклад в разрешение проблемы русского духовного самосознания. К оценке научных достоинств книги я вернусь ниже. Но именно потому, что она так интересна, она возбуждает ряд общих вопросов и сомнений.

Что нужно вообще разумеать под философией? Имеем ли мы основание признать существование оригинальной русской философии за период, которому посвящен рассматриваемый первый том, т. е. до Владимира Соловьева? Сам Соловьев, в споре со славянофилами о самобытности русского духа, говоря о русской — предшествовавшей и современной ему — философии, коротко определял ее состояние, как «небытие»; он пояснял свою оценку словами: «Не то, чтобы в ней не было ничего оригинального, но то, что в ней оригинально, совсем не похоже на философию, а иногда и вообще ни на что не похоже». Конечно, в этом суждении была доля полемического преувеличения. Но я думаю, что обратное и, быть может, более рискованное преувеличение, содержится в замысле о. Зеньковского представить в качестве «философов» всех представителей русской мысли, и притом не только религиозных мыслителей, как Чаадаев, Хомяков, К. Леонтьев, Толстой и Розанов, но и публицистов, моралистов, социологов и даже литературных критиков (Белинский, Чернышевский, Писарев, Лавров, Михайловский — вплоть до Аполлона Григорьева на одном конце этого ряда и Кареева — на другом). Возьмем хотя бы Розанова — писателя, несомненно, при всех его дефектах, в своем роде гениального. Можно ли называть философом человека, который по самой своей натуре не мог и не хотел логически связать и оформить свои мысли, — который мыслил вообще не умом, а какими-то произвольными реакциями своего духовного нутра, и гениальность которого состоит именно в неподобной непосредственности литературного выражения эмоций и оценок в виде как бы чистых возгласов? Можно ли вообразить, скажем, историю немецкой философии, в состав которой были бы включены не только богословы и религиозные мыслители, но и писания эстетического, историософского, морального и политического характера, вплоть до «Мифа двадцатого века» Розенберга? Конечно нет, — и по той простой причине, что историк имел бы достаточно материала в лице представителей подлинно философской мысли.

Фактически книга о. Зеньковского есть необычайно интересная — может быть, первая, достойная своего предмета — история

русской мысли, но не история русской философии. Это есть спор, конечно, не о словах. Прежде всего, избранное о. Зеньковским обозначение темы его книги вынудило его загромождать ее изложением идей второстепенных и даже ничтожных профессиональных русских философов первой половины 19-го века, упоминание которых было бы необходимо в истории русской философии, но излишне и вредит композиционной цельности в истории русской мысли. Важнее, однако, другое. Исследование существа и своеобразия русской мысли 19-го века требовало бы объяснения, почему, при всей ее бесспорной значительности, при наличии в ней ряда гениев, ей вплоть до Вл. Соловьева не удавалось подлинно философское (в более точном смысле слова) построение. Сам Соловьев объяснял это склонностью русского ума к крайнему мистицизму и к скептицизму, т. е. недоверием к автономной деятельности разума. Что это объяснение в такой категорической форме бьет через край — об этом свидетельствует факт позднейшего расцвета русской философии, начиная с самого Соловьева. Правильнее здесь чисто историческое констатирование, что русская мысль, уже с 30-х годов 19-го века и отчасти даже еще раньше, оригинальная и талантливая в области религиозной и моральной, — в области философии (так же, как и в положительной науке) достигла самостоятельности и зрелости лишь в последние десятилетия века. Понятие философии, конечно, растяжимо, и определение ее границ — дело спорное. Но какое-то вообще отграничение ее от религиозной мысли (а тем более от мысли моральной и общественной) остается необходимым; но именно от этого о. Зеньковский, повидимому, совершенно отказывается. При таком разграничении, и исходя из наиболее распространенного и достаточно широкого понимания философии, нужно будет признать, что до Соловьева Россия имела только трех оригинальных философских мыслителей: Сковороду (такого же одиночку в 18-ом веке, каким был Ломоносов в русской науке того же времени), Ив. Киреевского и Пирогова (причем последний был в области философии чистым дилетантом-самоучкой); и характерно, что все они — каждый по своему — дали как бы только программы и наброски философского мировоззрения (хотя и весьма значительные). Гениальные отдельные философские прозрения содержатся, конечно, в религиозных борениях Достоевского, и значительные философские мысли — в морально-общественных исканиях Герцена. Напротив, ни Гоголь, ни Чаадаев, ни Хомяков, ни Толстой, ни К. Леонтьев, при всей значительности их, как религиозных мыслителей, не были философами; о других, издаваемых о. Зеньковским писателях, и говорить нечего.

Обратимся теперь к общему замыслу и основной идее книги о. Зеньковского, именно как истории русской мысли. Она имеет целью показать, что подлинная основа и как бы невидимая творческая сила русской мысли есть вера православной церкви; оторвавшись в описываемый исторический период от этого своего истинного существа, русский дух мечется, тщетно ища в секуляризованных формах мысли разрешения чисто религиозных вопросов, рождающихся в нем из его бессознательного православно-христианского существа. С этой точки зрения вся русская мысль, даже в лице убежденно неверующих ее представителей, чистых моралистов и публицистов, — вплоть до Чернышевского и даже Писарева — оказывается тайно движимой религиозным исканием. Как следует оценить такую концепцию?

Я думаю, ее нужно признать верной — но при условии, если взять ее в общей форме, в которой она распространялась бы на все общеевропейское духовное развитие последних веков, существо которого состоит в секуляризованном, безрелигиозном гуманизме. Вся драматическая история европейской мысли — с эпохи Ренессанса, и в еще большей мере с эпохи просветительства 18-го века, — сводится к тому, что вера в человека, его достоинство, права и великое призвание, возникла и развивалась, как восстание против традиции христианской церкви и даже в прямой борьбе против веры в Бога. Однако, по существу, эта вера в человека имеет своим источником и основанием христианское откровение, христианское учение о человеке, не только как «образе», но и как «чаде» Божию; и, напротив, она теряет всякий смысл, если человек есть — употребляя прописку формулу Соловьева — «плешивая обезьяна». Трагические искания секулярной и даже антирелигиозной европейской мысли суть искания большей полноты и ответственности в осуществлении христианского идеала жизни; безрелигиозный гуманизм есть некая христианская ересь. Что это духовное движение нашло такой сильный и живой отклик в русской мысли 19-го века — есть лишь свидетельство, что русский дух есть соучастник судьбы общеевропейского христианского человечества. Руссо, Фейербах, Маркс, Ницше — чтобы назвать только наиболее влиятельных зачинателей новейших европейских духовных течений — суть умы, в этом условном смысле не менее, а скорее даже более напряженно религиозные, чем Белинский, Герцен и Чернышевский.

Но именно поэтому концепция о. Зеньковского становится односторонней и ложной, поскольку она берется, как объяснение специфического разнообразия именно русской мысли. Она является

тогда вариантом старой славянофильской доктрины об особом-привилегированном христианском духе России, превознесенном особых глубин «русской души» — коротко говоря — бессознательным проявлением порока национальной самовлюбленности. Конечно, о. Зеньковский чужд при этом всякого фанатизма, всякой духовной узости; широта его общих взглядов, сочувственная осведомленность в европейской мысли чувствуется на каждой странице его книги. И тем не менее, его концепция имеет указанную тенденцию — особенно опасную в эпоху, когда главная нужда русского духа состоит в национальном самопокаянии — беспощадно-ясное осознание тех тенденций, которые ввергли его в бездну современного аморализма и нигилизма.

Ст этих сомнений я возвращаюсь к достоинствам книги. Помимо полноты и точности научной осведомленности, о. Зеньковский обладает замечательным даром интуитивно уловить общий дух и центральный мотив мировоззрения излагаемых мыслителей и, исходя из него, как бы изнутри воспроизвести и систематизировать его содержание. Я не имею места остановиться на деталях. Только для примера скажу, что учение Сковороды (о котором было писано уже довольно много) впервые в изложении о. Зеньковского приобретает отчетливую форму и раскрыто во всей его значительности. Столь же интересно, тонко и метко изложение идей Герцена (доселе недостаточно оцененных).

Жаль только, что при этом осталась незатронутой тема сродства идей Герцена с ранним мировоззрением Ницше (я не сомневаюсь, что было прямое влияние Герцена на Ницше — через Мальвида Мейзенбург); впрочем, эта интересная тема, очевидно, выходила за пределы задачи автора. Превосходна также критика путаницы философских понятий у Хомякова. Очень метко обозначение типа мысли Кавелина, Лаврова, Михайловского, как «полупозицивизма».

Книга о. Зеньковского отныне становится основоположным пособием при изучении русской мысли и русской философии. По сравнению с ней все, доселе написанное на обе эти темы, или ничтожно, или тенденциозно — во всяком случае несравнимо менее удовлетворительно. Будем с нетерпением ждать выхода второго тома, который, судя по опубликованному его содержанию, будет уже настоящей историей русской философии — очевидно, просто потому, что он посвящен эпохе, когда самостоятельная русская философия действительно начала существовать.

С. Франк.

FEDOR STEPUN *Vergangenes und Unvergaengliches:
Aus meinem Leben. Erster Teil 1884—1914. Muenchen.
1947.*—373 стр.

Воспоминания Ф. А. Степуна («Прошедшее и непреходящее») написаны в б о л ь ш о м с т и л е : художественно выполненные, они и задуманы на большой глубине. Автор передает не только «голые» факты, но и запах, и вкус эпохи. Он рисует обстановку: где, когда и как событие произошло, и в каких условиях мемуарист был тому свидетелем. Это увлекательная книга.

Она вышла по-немецки — в авторизованном переводе с русского оригинала. Был ли переводчиком сам автор, — неизвестно. Во всяком случае, и немецкий текст отлично передает «переливчатый смысл и многомыслие живого слова» Ф. А. Степуна. Не причисляя себя к номиналистам, автор все же считает, что «*жизнь* неотделимо от нарекаемой им реальности, составляет одну из наиболее существенных частей ее». При такой оценке словесной ткани последнее суждение о ней приходится отложить до появления книги в оригинале.

Другое дело — содержание. По своему предмету воспоминания чрезвычайно многосторонни и значительны. Выделяя из перелетного «непреходящее», автор, по своему обыкновению, выделенные факты и происшествия «осмысливает, обессмысливает и пересмысливает». Тому же процессу подвергается попутно и современная эпоха, в известном смысле — вся история человечества и самое мироздание. Посему, если воспоминаниям Степуна суждено о с т а т ь с я, — а я в этом уверен, — они останутся не только как свидетельство о прошлом и памятник ему, но и как знамение нашего времени.

О книге Степуна вряд ли удосужатся написать в советской России. Если бы это все же случилось, вероятно, привели бы отзыв Маркса о Шатобриане в письме к Энгельсу. «Этот человек являет собою самое классическое воплощение французской *vanité*, притом *vanité* не в легком одеянии 18-го века, а романтически замаскированной и важничающей новопеченными выражениями: фальшивая глубина, византийские преувеличения, кокетничанье чувств, пестрое хамелеонство, *word painting*, театральность, *sublime*» и т. д. Откиньте pejоративные прилагательные в этой характеристике, и она приложима к книге Степуна.

Книга следует высшим образцам французских и немецких романтиков первой половины прошлого столетия. В ней романтика возраста (молодые годы), эпохи (до и после революции), отноше-

ния к природе, философской настроенности. При чтении Степуна приходят на память Шатобриан и Новалис, братья Шлегель и Шеллинг. Здесь, как и там, — отрицание рационализма и просветительства, реакция против революции — французской там, русской у Степуна, — возвращение к религиозной мистике в философии и в искусстве, в быту и в историософии, своеобразный русский мессианиззм.

«Прошедшее и непреходящее» вызывает в памяти не только «Замогильные записки» Шатобриана, но кое-чем и — «Былое и думы» Герцена. Что можно сказать более лестного для любого мемуариста?

Всю книгу пронизывает страстная л ю б о в ь к России, — именно к России, а не к русскому народу или народам России, — в л ю б л е н н о с т ь в ее судьбоносное прошлое, в ее природу, культуру, искусство, в русскую жизнь tout court.

В Федоре Степуне удачно скрестилось несколько культур. Предки по отцовской линии Steppuhns, — остзейцы литовского и прусского корня. Автор подчеркивает, что отец его не был «пруссакком» в фридрихо-бисмарковском стиле. Мать, урожденная Аргеландер, — шведо-финского происхождения с примесью французской крови — гугенотов, покинувших Францию. В ряду своих предков Степун считает Белье де Лонси и Курвуазье. Он оговаривается при этом, что, вероятно, никогда бы всем этим не интересовался, если бы не Третий Райх, который заставил его, профессора высшей немецкой школы в Дрездене, проследить корни его происхождения, — о чем он, впрочем, не жалеет, так как не вполне разделяет русско-интеллигентское пренебрежение к вопросам крови и генеалогии.

Воспитанием и духовным формированием Ф. А. занималась по преимуществу мать — «доминанта» в семье. Он был воспитан в протестантской вере, учился в немецкой школе — в средней в Москве и в университете в Гейдельберге — и преподавать ему довелось тоже в Германии: в Дрездене, а теперь — в Мюнхене. В разных степенях литовец, пруссак, швед, финн и француз, Федор Степун считает себя р у с с к и м по внутреннему с а м о ч у в с т в и ю и по философскому и эстетическому у б е ж д е н и ю, по всей своей духовной у с т р е м л е н н о с т и.

Он начал свое учительство с проповеди немецкого идеализма и насаждения нео-кантианства в России, как один из основателей и руководителей журнала «Логос». Позднее, как и многие другие кантианцы до него, он пришел к изобличению ограниченности фи-

лософского идеализма и метафизики и к прославлению мистики, положительной религии и Церкви в ее православном аспекте.

Мемуары Ф. А. Степуна — о многом и разном: о личном и общем, житейском и вечном, местном и универсальном. Он описывает московские театры, заседания религиозно-философского общества, салон Маргариты Морозовой, лекционные свои туры по русской провинции, встречи и беседы с философами, писателями, художниками, артистами, простыми людьми, родными в Москве, Коломне, Нижнем Новгороде, Гейдельберге, в литовском поместье, при трагической гибели первой жены, во время отбывания воинской повинности и т. д., и т. д.

У Степуна оказалась потрясающая память. Какие только мелочи он не запомнил на протяжении многих десятилетий: пейзаж, эмоции, слова — автор цитирует сказанное им или другими сорок и больше лет тому назад. Он и сейчас видит «четырехугольную лысину, широкие плечи и красные пальцы на скатерти» командира артиллерийской бригады, произносящего застольную речь, ни в какой мере не соответствовавшую действительности.

Ф. А. Степун говорит о материальной и духовной культуре, об искусстве, философии и — сравнительно немного и лишь попутно, как бы нехотя, — о политике. И тут, в предупреждение будущему историку — и читателю, — надо подчеркнуть, что автор вовсе не задавался целью дать точный снимок или фотографию того, что видел и наблюдал. Его задачей было дать *х у д о ж е с т в е н н о е и з о б р а ж е н и е*, или портрет. И «портретируя» прошлое, мемуары Степуна отмечены, по его же выражению, двойным сходством — не только, и часто не столько, с предметом, который изображается, но и с «изображающим лицом», то-есть с мыслями и оценками самого Степуна.

В воспоминаниях Степун-художник, и художник-импрессионист, борется со Степуном-историком, бытописателем, философом и политиком, и первый нередко одерживает верх над последними: изображаемое часто соответствует больше думам Степуна, нежели подлинной реальности. Мемуарист слишком свободно владеет даром речи и пером. Отличный рассказчик и *causâir*, он пишет слишком остроумно и, я бы сказал, пышно.

Вспоминается отзыв Льва Толстого о писаниях Горького, которого он оценил и которому вместе с тем пенял, что у него «в каждом рассказе какой-то вселенский собор умников. И все афоризмами говорят, это тоже неверно, — афоризм русскому языку не сроден... Потом вы прикрашиваете все: и людей, и природу, осо-

бенно людей... Везде у вас заметен петушинный наскок на все. И еще — вы все хотите закрасить все пазы и трещины своей краской... язык очень бойкий, с фокусами». (Так же приблизительно оценивал многие писания Горького и Чехов, с ним друживший. «Две последние строчки — не надо, это озорство. Лишнее»).

И в мемуарах Степуна, наряду с неверным, имеется кое-что и лишнее. Слово нередко обгоняет мысль. Иногда же ради красивого словца мемуарист не жалеет, если не отца, то родную кузину или близкого ему единомышленника.

Говоря о многом, Степун говорит и о политике. — в частности, 1917-го года, когда он состоял в политическом кабинете военного министра. То, что Ф. А. Степун пишет о политике, представляется мне наименее ярким и наиболее спорным.

Жизнь, видимо, Ф. А. умудрила. Свои бывшие политические соображения он как будто изжил. По крайней мере, сейчас он уже не вопрошает риторически: «А что же, хорошо, что большевики были, или лучше, если бы их не было?». Ответ (на этот вопрос) будет зависеть от того, во что переродится большевизм в России. Если все кончится только порядком, мерой, законом, — то большевизм придется признать только злом, тем, чего лучше бы не было. Но если Россия в будущем, в своем национальном и социальном строительстве, вознесется на те положительные религиозные, этические и социальные высоты, о которых пророчествовали Толстой и Достоевский, которых она сорвалась в большевизм, которые она изказила в революции, то Октябрь будет оправдан.

От ряда одолевавших его сомнений Степун несомненно освободился. Явно изменилось его отрицательное отношение к «порядку, мере, закону». Теперь он почти с восторгом утверждает: «Да здравствует «задняя линейка» лагеря, счастье и мудрость повседневности — единственного, может быть, что и сегодня еще заслуживает охраны пушками». Весьма далек автор и от условного осуждения большевизма — он осуждает его категорически, но я не сказал бы — абсолютно.

Так, Степун пророчествует, что не кто-либо иной, а Ленин «войдет в историю» в качестве подлинного осуществителя манифеста об освобождении (крестьян) 19 февраля 1861 г. Автор и сам ощущает сомнительность своего утверждения. «Знаю, нелегко признать правильность этой мысли. Когда я пишу это, еще кончиком своего пера я ощущаю, как сердце мое против этого протестует. Все же я остаюсь при твердом убеждении, что невозможно, хотя бы приблизительно, представить себе облик будущей России без

того, чтобы не примириться с правдой защищаемого мною парадокса» *).

Этим, конечно, не исчерпываются все неуязвки и сомнительные утверждения автора. Приведу еще одну иллюстрацию.

Так, Ф. А. Степун почему-то считает, что своеобразные черты русского «серого» купечества с его неустойчивыми страстями и вместе с тем, с тягой к культуре, меценатству и освободительному движению, являются одной из причин, обусловивших «неудачу либерально-демократического правительства Керенского».

В заключение остановлюсь на эпизоде, связанном с неким социалистом из «Современных Записок». Остановлюсь на этом эпизоде не только как рецензент, но и как непосредственный свидетель.

● описывая свое знакомство с Алексеем Толстым еще в дореволюционное время, автор перекинулся мыслью к последней своей встрече с ним в Париже летом 1938 г. К тому времени Толстой давно уже сменил вехи и стал не только одним из наиболее знатных людей в советском союзе, но и одним из наиболее авторитетных прославителей советского строя и советского «гуманизма».

Степун вспоминает, как на представлении «Анны Карениной» в Париже, во время антракта, он встретился с Толстым и обменялся с ним рукопожатием. «Это вызвало бурный протест со стороны одного убежденного и верного парижского социалиста, даже слезы выступили у него на глазах. Если оправдывать Толстого, который в России требует смертной казни, а в Англии заступает за свободу печати, — сказал он мне в редакции «Современных Записок» несколько дней спустя, — кого в таком случае вообще можно привлекать к ответственности?»

Ф. А. Степун и сейчас доказывает, что поступил тогда правильно — отказ от привлечения к ответственности не имеет решительно ничего общего с моральным оправданием деяния. «Скорее наоборот: зверей и вещи мы ведь тоже не привлекаем к ответственности». Не знаю, кого имел в виду автор, отмечая не без иронии, что «строгий судья» при прощании не без внутреннего насилия протянул ему «свою честную демократическую руку». Скажу

*) Парадокс Ф. А. Степуна совпадает с обязательной большевистской политграмотой. Постановлением комиссариата просвещения признано акт 19 февраля 1861 г. считать вовсе не реформой, а актом, сохранившим крепостное право в скрытой форме и положившим начало буржуазной России.

только, что уподобление рукопожатия с защитником советского террора обращению с зверьми или с вещами свидетельствует скорее об остроумии или находчивости, чем о морально-политической выдержанности.

Подобные «парадоксы», на мой взгляд, только умаляют значение чрезвычайно содержательных, интересных и в известном смысле замечательных воспоминаний Ф. А. Степуна.

Марк Вишняк.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Периодическое литературно-политическое издание

●

Цена одной книги 2 доллара 75 центов.

Цена трех книг 6 долларов 50 центов.

●

Адрес редакции и конторы:

Mrs. M. E. ZETLIN, 112 West 72nd Street,
New York 23, N. Y.

Telephone: ENdicott 2-9893
ENdicott 2-4800

Там же принимается подписка
